

РОБЕСПЬЕР



Елена
Морозова



ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

Annotation

Робеспьер, чье имя прочно связано с Великой французской революцией, всегда был и остается человеком-загадкой. Посвятив всего себя защите интересов народа, он в результате превратился в палача этого народа. Начав свою политическую карьеру с требований равноправия граждан и отмены смертной казни, завершил ее делением граждан на «добродетельных» и «злых» и введением массового террора. Его обожали и ненавидели, его жизнь превратили в легенду: одни — в «золотую», о великом борце за свободу и счастье народа; другие — в «черную», о диктаторе, рвущемся к власти буквально по головам своих соратников. Однозначного ответа нет и, видимо, уже никогда не будет. Останутся только попытки понять, о чем предостерегает История в лице своего избранника Робеспьера.

[Адаптировано для AIReader]



FB2 книгу сделал mefysto

-
- [Елена Морозова](#)
 -
 - [ЧАСТЬ I](#)
 - [ЧАСТЬ II](#)
 - [ЧАСТЬ III](#)
 - [ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ](#)
 - [ИЛЛЮСТРАЦИИ](#)
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -



ЖИЗНЬ[®]
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ
ЛЮДЕЙ

Серия биографий

Основана в 1890 году
Ф. Павленковым
и продолжена в 1933 году
М. Горьким



ВЫПУСК

1802

(1602)

Елена Морозова

РОБЕСПЬЕР



МОСКВА
МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ

*

© Морозова Е. В., 2016
© Издательство АО «Молодая гвардия»,
художественное оформление, 2016

ЧАСТЬ I

АРРАССКАЯ СВЕЧА

Болезненное самолюбие породило пылких революционеров.

Шатобриан

Версаль, 18 мая 1789 года. В этот день на трибуну Генеральных штатов впервые поднялся небольшого роста депутат в оливковом фраке и тщательно напудренном парике, придававшем объем его маленькой, словно птичья, голове, сидевшей на непропорционально широких для его щуплой фигуры плечах. Бледный, с нездоровым цветом лица, он от волнения покрылся красными пятнами и, вынув из кармана написанную заранее речь, принялся, запинаясь, читать ее... Содержание речи было, кажется, дельным, но на фоне множества блестящих ораторов кто будет слушать какого-то запинающегося Деробеспьера? Или Роберта Пьера? Этот депутат из Арраса имел весьма труднопроизносимую фамилию. Словом, под свист и хохот окончательно смутившийся человек в старомодном опрятном фраке буквально убежал с трибуны. Но неудача и полученное им насмешливое прозвище «Аррасская свеча» депутата не смутили, и он продолжал выступать по всем животрепещущим вопросам. Его скрипучий голос окреп, содержание его листочков (речи свои он писал заранее) оказалось весьма актуальным, стиль возвышен, а местами и язвителен. К его словам начали прислушиваться, и газетчики, прежде не обращавшие внимания на его выступления, стали охотно помещать их в свои отчеты. Даже «факел Прованса», блестящий оратор Мирабо заметил, что «этот человек далеко пойдет, так как верит тому, что говорит». Депутата звали Максимилиан Робеспьер.

Его имя неразрывно связано с Французской революцией конца XVIII столетия, а сам он сливается с революционным вихрем, взметнувшим его на самый верх самого радикального революционного правительства той эпохи. О нем написаны горы литературы, однако ответа на вопрос: кто он — пассионарная личность или бесстрастный политикан, освещенный пламенем революционного пожара? — до сих пор нет. Он по-прежнему вызывает споры и политические баталии: одни защищают «золотую»

легенду о великом борце за свободу и счастье народа, а другие — «черную» легенду о диктаторе, рвавшемся к власти буквально по головам своих соратников. Хотя, как показывает недавнее исследование М. Белиссы и И. Боска (2013), те, кто ставит себе задачу беспристрастно разобраться в характере Робеспьера, также не дают однозначного ответа.

Чем дальше в прошлое уходит яркое трагическое время Французской революции, тем больше толкований, клише, сравнений и сопоставлений заслоняют от нас подлинный образ вождя этой революции, оставившего после себя более полутора тысяч политических речей и набросков и только тощую пачку личных писем. Жизнеописание Робеспьера зачастую превращается в историю революции, что имеет свои резоны: без революции не было бы Робеспьера — главы правительства якобинской диктатуры, добродетельного тирана, принесшего в жертву сотни чужих жизней и свою собственную ради установления призрачного царства добродетели.

Каков был он, подлинный Робеспьер, со своими тревогами, страхами, душевными переживаниями? Какие таланты были отпущены ему в избытке, а каких не было дано вовсе? Разноголосица воспоминаний и документов позволяет лишь приблизиться к личности Робеспьера, ибо воспоминания современников зачастую имеют тенденциозную окраску, зависящую от отношения их автора к революционным событиям, к партиям и их участникам, от желания увидеть в детстве зародыши поступков, совершенных в зрелые годы. Но, заведомо обреченные на субъективность, попытки разобраться в человеке, чьи благие слова и намерения мостили дорогу в ад, продолжают, ибо нам по-прежнему кажется, что из прошлого можно извлекать уроки...

Максимилиан Мари Изидор де Робеспьер родился 6 мая 1758 года в Аррасе, в семье потомственного адвоката, 26-летнего Максимилиана Бартеlemi Франсуа де Робеспьера (вернее, Деробеспьера, ибо право на дворянскую частицу «де» имел только его дядя, получивший личное дворянство, но искушение — строго говоря, законное — было велико), и его супруги Маргариты Жаклин Карро, дочери пивовара. Появление младенца через четыре месяца после свадьбы родителей вызвало волну пересудов в провинциальном обществе; многие решили, что Максимилиан, в сущности, внебрачный ребенок и отец его женился на его матери «по обстоятельствам». Дед с материнской стороны, состоятельный пивовар Жак Карро, не счел нужным прийти на крестины внука; крестным отцом младенца с отцовской стороны стал дед, мэтр Максимилиан Робеспьер

(старшие сыновья в семье Робеспьер уже несколько поколений носили имя Максимилиан). Предполагают, что, вынужденный согласиться на брак дочери, пивовар не жаловал своего беспокойного зятя. А тот действительно был личностью какой-то незавершенной, неуравновешенной: став адвокатом, вдруг захотел уйти в монастырь и даже пробыл некоторое время послушником; потом передумал, вернулся к адвокатской практике, но успехов на этом поприще, похоже, не добился; постоянно занимал и перезанимал деньги. В связи с шатким материальным положением семья за шесть лет своего существования сменила четыре квартиры, и все неказистые, что в степенном кругу магистратов считалось совершенно недопустимым.

Во время революции родилась легенда, что Робеспьер — племянник цареубийцы Дамьена, казненного в 1757 году за покушение на короля Людовика XV. Дом Дамьена разрушили, а родственникам предписали покинуть королевство. Скрываясь от полиции, братья Дамьена, Робер и Пьер, якобы соединили свои имена и, изменив срединную букву, получили фамилию Робеспьер, под которой и покинули родные места. А один из братьев поселился в Аррасе. По словам роялиста Галарта де Монжуа, «это сказка, не заслуживающая никакого доверия», хотя приводят ее достаточно часто — вероятно, потому, что в свое время она звучала вполне убедительно. Э. Амель, автор первого всеохватного жизнеописания Робеспьера, полагает, что корни семьи его героя следует искать в Ирландии, откуда, спасаясь от преследований, в XVII веке во Францию перебралось немало католиков; фамилия же, чуждая уху северных французов, возможно, произошла от имени Роберт Спир.

Фактически вынужденная свадьба родителей Робеспьера позволяет предположить, что Максимилиан оказался не слишком желанным ребенком. Впрочем, он недолго оставался в одиночестве: в 1760 году родилась Шарлотта, в 1762-м — Анриетта, в 1763-м — Огюстен. Впоследствии, через 20 лет после гибели Максимилиана, Шарлотта напишет воспоминания, которые издадут незадолго до ее смерти (она скончалась в 1834 году) и которые станут основным источником сведений о детстве великого человека. Однако историки не без основания полагают, что в своих воспоминаниях сестра, забыв про былые ссоры, идеализировала брата.

В 1764 году, когда Максимилиану исполнилось шесть лет, мать скончалась, дав жизнь пятому ребенку, умершему вскоре после появления на свет. Причиной смерти Жаклин Карро стала обострившаяся в результате трудных родов грудная болезнь, как называли тогда туберкулез.

Заболевание это считалось в семье Карро наследственным. После смерти Жаклин, «прекрасной супруги и нежной матери», как пишет о ней Шарлотта, Максимилиан-отец поручил детей родственникам и исчез из их жизни, уехав в Германию, где, по слухам, зарабатывал тем, что учил детей французскому языку; позднее стало известно, что он скончался в 1777 году в Мюнхене. Тем не менее Шарлотта отзывалась о нем достаточно лестно, утверждая, что «он был любим и уважаем всеми в городе». Психиатр Ж. Артари уверен, что маленький Максимилиан считал отца виновником смерти матери и из-за этого навсегда проникся инстинктивным страхом к интимным отношениям с женщинами, полагая, что именно из-за них у матери развилась болезнь. Это неудивительно: в те времена причиной возникновения туберкулеза полагали чрезмерно активную половую жизнь. Сам ли Максимилиан невзлюбил отца или же, проживая после его бегства в доме деда, неосознанно впитал неприязнь почтенного пивовара к зятю, которого тот считал виновником смерти дочери? Многие полагают, что чрезвычайно привязанный к матери Максимилиан делал все, чтобы не быть похожим на отца, а потому взял на вооружение принципы пуританской морали, собранность и целеустремленность. Любопытный факт: мать научила маленького Максимилиана плести кружева, и, как пишут, он с удовольствием предавался этому занятию.

Смерть матери и, в сущности, беспричинное исчезновение отца удручающе подействовали на Максимилиана, остро ощутившего свою ответственность за младших сестер и брата. Многие считают, что мрачный характер Робеспьера сложился именно из-за его раннего сиротства. Но детей не собирались бросать: заботу о мальчиках взял на себя дед со стороны матери, а две незамужние сестры отца согласились заняться воспитанием племянниц. Позднее епископ Арраса де Конзье, проникшийся расположением к оставшимся практически без средств детям, помог устроить обеих девочек в монастырь в Турнэ, где они получили достойное по тем временам воспитание и образование, приставшее провинциальным дворянским барышням. Но материнской заботы Максимилиану, очевидно, не хватало, и, как пишет Шарлотта, когда разговор заходил о покойной матери, у старшего брата всегда на глазах появлялись слезы. По ее словам, после смерти матери он разительно изменился: перестал играть и смеяться, сделался угрюмым, строгим и рассудительным. Вероятно, он и в самом деле резко повзрослел, и, возможно, именно тогда у него появилось острое чувство ущербности, несправедливой обиды, нанесенной ему окружающим миром, от «тягостного рабства» благотворительности которого он теперь зависел. И хотя, как подчеркивают, дед «трогательно заботился» о внуках, у

Максимилиана возникло отчетливое желание избавиться от вынужденной зависимости, доказав всем свое превосходство. В таком случае непомерное честолюбие и мизантропия, которыми, по мнению многих современников, отличался Робеспьер, уходят корнями в его детские годы.

В шесть лет дед отдал Максимилиана в школу ораторианцев, где тот благодаря упорству и усидчивости быстро стал первым учеником. По словам Амеля, встречавшегося со стариками, помнившими маленького Робеспьера, мальчик отличался кротким и робким характером, был вежлив с учителями и услужлив с товарищами, а в свободное время строил маленькие часовенки. О пугливости и робости Робеспьера скажет в своем докладе и термидорианец Куртуа, член Конвента, возглавивший комиссию, которой поручат конфисковать и опечатать бумаги Робеспьера после его казни.

Тем не менее из воспоминаний Шарлотты следует, что ее старшему брату не были чужды детские развлечения и от своих сверстников он отличался лишь тем, что, говоря языком современности, был круглым отличником. Маленький Максимилиан до самозабвения любил птиц; в доме деда в вольерах жили голуби, воробьи и щеглы, за которыми он преданно ухаживал. Птиц мальчик ловил на заднем дворе пивоварни, куда выбрасывали жмых, на который слетались самые разные пернатые. А Жак Карро, видя, как внук крутится вокруг пивоварни, надеялся, что со временем сможет передать ему свое дело. В воспоминаниях современников мелькает утверждение, что юный Робеспьер забавлялся тем, что рубил птичкам головы маленькой гильотинкой. Но так как пишут об этом после революции, достоверность сего факта вызывает сомнение — очень уж он одиозен. К тому же большинство сходится во мнении, что Робеспьер любил животных и сохранил эту любовь на всю жизнь; огромный датский дог Брунт, спутник революционных лет Робеспьера, до конца остался предан своему хозяину. Пока Максимилиан учился в Аррасе, дети раз в неделю встречались в просторном доме деда Карро, и старший брат, радуясь этим встречам, охотно показывал младшим свои коллекции картинок и гравюр, а однажды даже позволил сестрам взять на время своего любимого голубя. К сожалению, девочки не уследили за птицей, и голубь погиб, за что Максимилиан, по словам Шарлотты, обливаясь слезами, «осыпал сестер упреками».

Отцы-ораторианцы отметили способности Максимилиана и в 1769 году с подачи все того же епископа Конзье мальчику выделили стипендию для дальнейшего обучения в знаменитом парижском коллеже Людовика Великого; до 1762 года коллеж находился под эгидой иезуитов, а потом

перешел под крыло короля. Выпускниками коллежа были как отпрыски знатнейших семейств Франции, так и ставшие всемирно известными разночинцы — Мольер, Дидро, Вольтер. Какие чувства обуревали мальчика, покидавшего родной город с сознанием того, что будущее его зависит только от его успехов в учении? Наверняка не слишком веселые, ибо, по словам Амеля, он горько плакал, расставаясь с родными.

В столичном коллеже Максимилиан впервые всерьез столкнулся с суровой дисциплиной, обязательной для всех учеников, и, если верить аббату Пруару, подобное равенство пришлось ему не по вкусу. Аббат Пруар, префект в коллеже Людовика Великого, отвечавший за стипендии, оставил воспоминания о знаменитом ученике, но они также не могут претендовать на объективность; написанные в Германии, куда аббат эмигрировал, спасаясь от революции, которую он от всей души ненавидел, они льют воду на мельницу «черной» легенды вождя революции. В них юный Робеспьер скорее воплощает в себе тогдашние представления о революционерах: личность мрачная, озлобленная, дурного нрава и не признающая Бога. Однако, как впоследствии доказали, Пруар ничего не придумывал, а лишь давал фактам свою трактовку. Воспоминания Шарлотты Робеспьер и аббата Пруара являются основными свидетельствами взросления Робеспьера, ибо написаны людьми, знавшими Максимилиана лично.

По словам Пруара, юный Робеспьер «обожествлял учебу» в ущерб «чувствительности, этого чудесного свойства юности, кое, казалось, не было ему присуще вовсе»; «упорно оттачивая свой ум», он ненавидел тех, кто пользовался большим уважением товарищей и учителей, а с младшими братьями и сестрами и вовсе вел себя как тиран. Пруару вторит Галарт де Монжуа, вряд ли знавший Робеспьера лично, однако имевший обширные знакомства среди депутатов и членов революционных клубов: «Подобно деревьям, что, начав плодоносить слишком рано, вскоре делаются бесплодными, Робеспьер, в детстве отличавшийся изрядными способностями, в дальнейшем сохранил лишь детские недостатки: тщеславие, ревность, своенравие и упрямство». Товарищи побаивались мстительного и вечно жаждущего похвал Робеспьера, а он с удовольствием проводил перемены в полном одиночестве, предаваясь собственным мыслям. Аналогичные суждения высказывает в своем докладе и Куртуа, утверждая, что в коллеже Максимилиан был таким же, каким предстал в Конвенте: «Он никогда не видел в своих соперниках своих ближних», Неужели и Пруар, первое издание мемуаров которого вышло в 1795 году, и Галарт де Монжуа, чья книга вышла в 1796-м, пользовались докладом

Куртуа, изданным в феврале 1795 года? Сомнительно... Иным предстает Робеспьер на страницах мемуаров своей сестры, утверждающей, что за время его обучения в коллеже Людовика Великого он ни разу не поссорился с товарищами, всегда заступался за младших и даже мог вступить в драку, защищая справедливость. Кто из них прав? Ясно одно: Максимилиан был замкнутым, недоверчивым, погруженным в себя и трудно сходилась со сверстниками, которые, как ему — вполне вероятно — казалось, недооценивали и не понимали его. И от этих мыслей он еще больше страдал от одиночества.

Чтобы в большом, чужом для него городе Максимилиан не чувствовал себя слишком одиноко, семья поручила его заботам Делароша, каноника собора Нотр-Дам, который, по словам Шарлотты, полюбил ее брата; когда через два года каноник скончался, Максимилиан тяжело пережил эту потерю. За время учебы Робеспьера постигли еще две утраты: в 1778 году скончался его дед, Жак Карро, а в 1780-м неожиданно умерла его восемнадцатилетняя сестра Анриетта. «...наше детство было омыто слезами, ибо едва ли не каждый год мы теряли дорогого нам человека. Трудно даже представить себе, сколь глубокое воздействие оказало это роковое стечение обстоятельств на характер Максимилиана; он стал задумчив и печален», — пишет Шарлотта. Ей вторят и Пруар, и Галарт де Монжуа, подчеркивающие, что Максимилиан жил словно в раковине, проводил все время за книгами и не стремился общаться ни с товарищами, ни с преподавателями.

Вместе с Максимилианом учились те, кто впоследствии сыграет заметную роль в революции: Франсуа Луи Сюло, редактор роялистского листка (убит во время народного восстания 10 августа); Дюпор дю Тертр и Пьер Анри Лебрэн, министры-жирондисты (обвиненные в заговоре, сложат головы на гильотине); друг Робеспьера журналист и депутат Конвента Камилл Демулен, депутат Конвента Станислас Фрерон, монтаньяр, взяточник, термидорианец, политический хамелеон. Впоследствии Фрерон даст своему бывшему соученику вот такую характеристику: «Он был таков, каким мы знали его в коллеже: печальным, желчным, мрачным, ревниво относившимся к успехам своих товарищей. Он никогда не участвовал в их играх; всегда ходил один, задумчивый, с болезненным видом. Он не был похож на своих сверстников... Никакой искренности, никакой самоотверженности, только упорство, переходящее в упрямство и невероятное самолюбие. Не помню, чтобы когда-либо видел его смеющимся. Он долго помнил обиды. Он был мстителен и готов на предательство, но умело скрывал свои чувства». Однако насколько можно

верить Фрерону?

Возможно, в одиночку Максимилиан легче переживал утраты близких, равно как и свое зависимое от благотворительности положение, которое его наверняка не удовлетворяло; но что он мог сделать, кроме как учиться еще лучше? В коллеже скоро привыкли, что этот не в меру серьезный отрок каждый год получал награды за высокие показатели в учебе, и никто из соучеников даже не пытался растормошить его, оторвать от книг. Разве что «пылкий, храбрый, безрассудный и нескромный» Демулен, единственный из учеников коллежа, к которому Максимилиан испытывал дружескую симпатию. Однако, по мнению многих, Максимилиан считал, что его младший друг, «уродливый заика» Камилл наделен избытком непосредственности, а потому «нуждается в разумном руководстве», дабы «сокровища его души не растрчивались попусту». Возможно, аббат Пруар действительно был прав, когда писал об ученике коллежа Робеспьере: «Неспособный поддерживать дружбу, он так и не завел себе друга, у него всегда были только сообщники... Мало кто мог выносить его общество».

Похвалы преподавателей, подпитывавшие честолюбие Робеспьера, одновременно взращивали в нем смешной и в то же время опасный порок — тщеславие. Поэтому, когда ему как лучшему ученику поручили приветствовать короля, он, скорее всего, возгордился оказанной ему честью. Хотя большую часть биографий Робеспьера обошел рассказ о том, как щуплый мальчик с холодным пронизательным взглядом, стоя на коленях под проливным дождем, обращался с латинскими виршами к Людовику XVI, а тот, сидя в карете вместе с Марией Антуанеттой, даже не удосужился открыть окошко. А так как впоследствии именно этот мальчик решил судьбу злосчастных короля и королевы, многие считали своим долгом усиливать драматический накал сцены. Но когда предание, основанное только на словах аббата Пруара, привлекло пристальное внимание историков, возникли определенные сомнения. Согласно Пруару, королевская чета сделала остановку возле коллежа Людовика Великого, проезжая через Париж после коронации в Реймсе, состоявшейся в июне 1775 года. Но после коронации королева и король порознь отправились в Версаль, без заезда в столицу. Так когда же произошла знаменитая встреча? Как показали недавние разыскания Э. Лёверса, скорее всего, это случилось 8 февраля 1779 года, когда королевская чета приехала в Париж возблагодарить Господа за рождение дочери Марии Терезы. Правда, погода в тот день была хорошая: теплая и безветренная. Впрочем, не исключено, что встреча состоялась еще раньше — 8 июня 1773 года, когда кортеж дофина и дофины, впервые после свадьбы приехавших в Париж, следовал

по улице Сен-Жак к церкви Святой Женевиевы. А в тот день погода и вовсе баловала парижан. И хотя Амель пишет, что речь Робеспьера была исполнена нелицеприятных намеков на злоупотребления королевского кабинета, в этом случае скорее прав Пруар, утверждавший, что приветствие составил один из профессоров коллежа. А так как Людовик XVI являлся главным благотворителем учебного заведения, то произнесенная юным Робеспьером речь явно состояла в основном из слов благодарности.

Отметим, что в январе 1776 года Робеспьер обращался к известному адвокату Тарже с просьбой позволить ему ознакомиться с речью, произнесенной на заседании Французской академии, ибо автор речи стремился показать, «в каком духе — с точки зрения академии — должно быть составлено похвальное слово королю Людовику». Такого рода интерес у Робеспьера, возможно, не случаен: в речах адвоката Робеспьера будут часто звучать хвалы Людовику XVI.

Также не исключено, что интерес к «правильному» восхвалению короля связан со сменой монарха: в 1774 году скончался любвеобильный Людовик XV и корона перешла к его внуку, Людовику XVI. За время правления Людовика XV Франция заключила союзнический договор со своей давней противницей Австрией, потерпела поражение в Семилетней войне, лишилась владений в Америке и Индии, изгнала иезуитов и пережила парламентский кризис. Народ, в начале царствования наградивший Людовика XV прозвищем Любимый, в конце царствования остро невзлюбил его за скандальную личную жизнь и опустевшую казну. Известие о том, что на трон взошел юный король, набожный и примерный семьянин, французы восприняли восторженно. От нового царства молодости ожидали золотого века: мира, спокойствия, изобилия и исполнения обещаний, не выполненных прежними правителями. Вместе с новым монархом в государственный обиход — вполне в духе Руссо — вошли понятия благотворительности и экономии. Состояние всеобщей эйфории продолжалось несколько лет, на протяжении которых народ с восторгом приветствовал не только молодого монарха, но и его юную супругу, очаровательную австрийскую принцессу Марию Антуанетту. И Робеспьер вполне мог поддаться всеобщему порыву.

Среди преподавателей коллежа особое внимание Робеспьеру уделял преподаватель риторики профессор Эриво, искренне восхищавшийся Римом, его историей и его ораторами, за что ученики прозвали его «римлянином». Неустанное прославление гражданских добродетелей Римской республики и суровых нравов Спарты вызывало живейший отклик у Максимилиана. По словам Пруара, Эриво «заразил Робеспьера

республиканским вирусом». Но неизвестно, кто произвел на юного Робеспьера наибольшее впечатление: Цицерон, разоблачавший заговорщика Каталину, или жестокий республиканский диктатор и реформатор Сулла, добровольно отказавшийся от власти; трибуны с Авентинского холма, боровшиеся с коварными патрициями, покушавшимися на права народа, или республиканец-цареубийца Брут. Римское красноречие, ораторские приемы Цицерона с его патетикой и эмфазами, лирическими отступлениями и юридической точностью впитались в плоть и кровь Максимилиана, а прославленные Плутархом великие мужи древности стали его постоянными незримыми спутниками.

Впрочем, не только его. Во всех коллежах Франции изучению античной литературы, латыни, истории Греции и Рима отводилось едва ли не основное место; идеалы античных республик исподволь становились убеждениями, образом мышления и мироощущения, побуждая учеников задумываться о несовершенном устройстве мира. Античность — не важно, что об этой античности известно мало! — давала пример чистой демократии, идеальной республики, очищенной от деспотизма и населенной людьми, исполненными гражданских добродетелей. Кем еще мечтали стать будущие законодатели, если не Ликургами и Солонами? Разумеется, не все профессора одобряли республиканский, пусть даже на античный манер, образ мыслей, поэтому с консервативно настроенным аббатом Руаю, преподававшим философию, Робеспьер разговаривал крайне сдержанно.

С философией у Максимилиана складывались особые отношения. Аббат Пруар рассказывает, как однажды аббат Одрен застал первого ученика в местах уединения с «дурной книгой», но, к негодованию Пруара, простил его и не стал требовать его исключения из коллежа. «А ведь если бы Робеспьера выгнали из коллежа, то, не имея средств для продолжения учебы, ему пришлось бы обучиться какому-нибудь ремеслу, что, возможно, позволило бы сохранить жизнь множеству невинных жертв!» — восклицает Пруар. Что, по мнению аббата, могло считаться «дурной книгой»? Сочинения Вольтера, Монтескье или же скабрёзный роман в духе «Терезы-философа»? Благодаря модному в аристократических кругах фрондерству Париж наводняли запрещенные брошюры как эротического, так и политического содержания, которыми книгопродавцы торговали из-под полы.

Надо отметить, что неприязнь к своему бывшему подопечному у Пруара возникла значительно позже, а пока Робеспьер учился в коллеже, аббат неплохо относился к нему. Так, например, желая посетить

прибывшего в Париж аррасского епископа, Робеспьер обратился к Пруару с просьбой выхлопотать у епископа вспомоществование на экипировку: «...у меня нет парадного кафтана и других вещей, без которых я не могу выйти. Я надеюсь, что вы возьмете на себя труд изобразить епископу мое положение, дабы я мог получить от него все то, без чего мне невозможно предстать в его присутствии». Пишут, что, пребывая в стесненных обстоятельствах, Максимилиан старательно ухаживал за своим потертым платьем и яростно начищал до сияния пряжки на старых башмаках. Отмечают, что, когда средства ему позволяли, он приглашал парикмахера, дабы тот причесал его и напудрил волосы. Своему внешнему виду Максимилиан всегда уделял повышенное, едва ли не болезненное внимание, но при этом никогда не ставил себе цели понравиться прекрасному полу и, по словам современников, избегал интимных связей с женщинами. И пока сверстники Максимилиана отправлялись бродить по Парижу в поисках галантных приключений, он шел в парижский парламент (Судебная палата) слушать выступления прославленных адвокатов: Жербье, Тронше, Тарже. Возможно, величественные фигуры ораторов, облаченных в черные мантии и белые парики, произвели столь сильное впечатление на будущего адвоката, что он даже во время революции, изменившей не только государственный строй, но и манеру одеваться и причесываться, остался приверженцем моды старого, то есть королевского, порядка. Фрак, жабо, штаны-кюлоты, парик или напудренные волосы — таким запомнился внешний облик Робеспьера современникам.

Еще одним неперенным эпизодом биографии юного Робеспьера является встреча с Жаном Жаком Руссо, столь же символическая и гипотетическая, как и встреча с королем. Почему именно Руссо стал кумиром Максимилиана, а не, к примеру, властитель дум Вольтер, скончавшийся в 1778-м, в один год с Руссо? Скорее всего, настороженное отношение Робеспьера к окружающей действительности совпало с взглядами Руссо. Живя в просвещеннейшем Париже, Робеспьер читал и Локка, и Гольбаха, и Гельвеция, и энциклопедистов. Из газет, брошюр и рукописных изданий знал о борьбе американских колоний за независимость, вдохновившей многих французов отправиться за океан воевать за свободу. Когда весной 1775 года произошли народные волнения, получившие название «мучной войны», с улицы до него доносились голоса возмущенных парижан, требовавших вернуть фиксированные цены на хлеб. Волнения стали ответом на попытку реформы хлебной торговли, затеянной философом и экономистом-физиократом Тюрго, которого молодой король назначил генеральным контролером финансов. Отпуская

цены на хлеб, Тюрго пытался остановить растущий дефицит бюджета. Но напуганный видом возмущенной толпы, явившейся в Версаль требовать хлеба, король пошел на попятную: уволил Тюрго и восстановил твердую цену — два су за фунт, а парижская полиция для острастки повесила на Гревской площади пару мятежников. Насколько эти события потрясли юного Робеспьера? Или, погруженный в книги, он их просто не заметил? В свое время ему как главе якобинского правительства также придется, выполняя требования санкюлотов, установить «максимум» — твердую цену на хлеб. Однако «подстрекателей, вводящих народ в заблуждение», казнено будет гораздо больше...

И все же: почему именно Руссо? Возможно, что от природы склонному к меланхолии, сентиментальности и пессимизму Робеспьеру импонировала возвышенная и одновременно слезливая чувствительность Жана Жака. Ирония, насмешка, скептицизм, оптимизм и атеизм Вольтера были ему глубоко чужды. Воспитываясь в школе ораторианцев, а затем в коллеже, находящемся под патронажем короля и церкви, на стипендию, выделенную arrasским епископом, он, несмотря на упреки Пруара в отсутствии рвения в исполнении церковных обрядов (месса утром, вечерняя молитва на ночь, раз в месяц причащение), сохранил потребность в вере. Руссо предлагал гражданскую религию: без храмов, без алтарей, без обрядов, с простыми догматами («существование божества, заботливого и благодетельного; загробная жизнь; счастье праведных, наказание злых, святость общественного договора и законов»), и его предложение нашло в сердце Робеспьера живейший отклик: во время революции он попытается ввести в стране культ Верховного существа. У Руссо Робеспьер научился «нежной любви к народу», находя в «Общественном договоре» ответ на вопрос о причинах несправедливого устройства мира. Но, утверждая суверенитет народа и политическое равенство, Руссо тем не менее относил к народу отнюдь не все общество: помимо богатых он не считал народом и бедных, именуемых им «чернью, порождающей беспорядки». Впрочем, он и среднему классу не слишком доверял, полагая, что «самый лучший и самый естественный порядок» — это когда «самые мудрые управляют множеством», ибо «сам по себе народ хочет блага, но не всегда видит, в чем оно» и «нуждается в поводырях». Робеспьер, похоже, навсегда запомнил эти принципы, которые впоследствии попытался воплотить в жизнь. Неудивительно, ибо слова Руссо падали на подготовленную почву: в душе его юного ученика уже горел священный огонь свободы, вдохновлявший римских республиканцев.

Сентиментальная «Новая Элоиза» Жана Жака явила Максимилиану

модель отношения с женщинами, «Эмиль» привил вкус к морализаторству. Но самое большое впечатление на Робеспьера произвела «Исповедь». «... Твоя божественная Исповедь, искренняя и отважная, эта эманация твоей чистейшей души будет воспринята потомками не столько как образец искусства, сколько как чудо добродетели», — писал в 1789 (или 1790) году Робеспьер в наброске под названием «Памяти Жана Жака Руссо». Но «Исповедь» сентиментального философа с тяжелым характером была не только достойным образцом изящной словесности; страстный, искренний монолог автора о себе являлся своего рода «эманацией души». Проповедуя искренность, Руссо оправдывал ею также и неблагоприятные поступки, подводя к мысли, что степень добра и зла определяется намерениями человека, переводя, таким образом, любой конфликт в сферу морали. Чувствуя себя, подобно Руссо, несправедливо обиженным, одиноким и духовно превосходящим окружающих, Робеспьер перенял от него манеру по любому поводу говорить о себе и о своих чувствах. Зачастую кажется, что его сентиментальность, не имея иных объектов, изливалась на самого себя — как у Жана Жака. Руссо писал: «Одинокий на весь остаток жизни, поскольку лишь в себе нахожу я утешенье, надежду и мир, я не должен и не хочу заниматься ничем, кроме себя». И, по примеру учителя, его замкнутый, чуравшийся шумных компаний (из-за отсутствия хорошего платья, как пишут ряд биографов) ученик уходил в себя, не испытывая потребности ни в друзьях, ни в нежной страсти.

Новая администрация коллежа снисходительно относилась к философам и их поклонникам, ибо, как пишет Р. Дарнтон, к этому времени философы уже успокоились и, в целом довольные жизнью, рассуждали о необходимости реформ. Революционный дух переходил к образованной молодежи, не сумевшей занять достойного места в жизни из-за отсутствия благородного происхождения: именно среди нее зарождался якобинский вариант руссоизма. Беспрепятственно читая сочинения Руссо, Робеспьер, с детства уязвленный «гнетом благодеяний», также преисполнялся ненавистью к тирании, неравенству и богатству и проникался пиететом к народу, тому сакральному народу, который превозносил его учитель, «продолжавший любить людей даже против их желания».

Пишут, что, пока Руссо жил в Париже на улице Пла-триер, Максимилиан нередко ходил к его дому и следил за входной дверью, надеясь увидеть обожаемого учителя. В те времена кумиров просвещенной Европы можно было подкараулить, как нынче подкарауливают звезд эстрады, дабы выразить им свой восторг. Но последние полгода Руссо жил в Эрменонвиле, в поместье маркиза де Жирардена, предоставившего

философу небольшой домик в прекрасном парке. И, как пишет Амель, однажды юный Робеспьер отправился в Эрменонвиль, дабы выразить дорогому учителю свои чувства. Или задать вопросы? Поделиться сомнениями? Неизвестно. Также в точности неизвестно, состоялась ли эта встреча вообще, ибо основания говорить о ней дает всего одна фраза из наброска «Памяти Жана Жака Руссо»: «Я видел тебя в твои последние дни, и память об этом служит для меня источником гордости. Я созерцал твои величественные черты; я видел отпечаток горьких чувств, с которыми ты осуждал несправедливость людей». Практически все, включая Шарлотту, упоминая об этой встрече, ссылаются на этот источник. Поэтому мы не знаем, что стоит за словами «я видел» — состоявшаяся беседа с философом или же благоговейное созерцание, как тот, опираясь на трость, медленно идет по аллее эрменонвильского парка. А может, речь идет о том, как в вечерних сумерках старый философ, возвращаясь домой, шел по улице и скрывался в парадном, где под его тяжелыми шагами долго скрипели ступени, пока он поднимался на верхний этаж, а его юный почитатель с трепетом провожал его взглядом, так и не решившись ни приблизиться, ни заговорить. Или, может, «я видел» и вовсе относится к фигурам речи?

Стипендия Робеспьера (450 ливров в год, средний доход ремесленника) предполагала получение высшего образования, так что, получив звание бакалавра, ученики могли выбрать себе один из трех университетских курсов: право, медицину или теологию. Максимилиан выбрал право, ибо решил стать адвокатом. Есть предположение, что такое решение подсказали родственники. А по словам сестры, он объяснял свой выбор желанием «защищать угнетенных от угнетателей, в суде выступать в защиту слабых против жаждущих их растоптать сильных». Воодушевленный идеями Руссо о народном суверенитете, окруженный тенями великих мужей древности, Максимилиан, по словам Э. Амеля, пребывал в возрасте, когда возвышенные идеалы воспринимаются быстрее и охотнее, а заботы о бренном отходят на второй план. И, возможно, Шарлотта была права, и брат ее действительно мечтал о некоем идеальном служении. Во всяком случае, курс юридических наук Робеспьер закончил с блеском и получил награду за успехи в обучении — 600 ливров, которые передал в пользу брата Огюстена, тоже отправленного в коллеж Людовика Великого. Заметим, что, как и старший брат, тот отлично его окончит, но сумма его наградных будет вполовину меньше.

Предполагают, что во время практики в парижской адвокатской конторе Нуло Робеспьер познакомился с будущим вождем жирондистов Бриссо де Варвилем, в ту пору служившим у Нуло клерком. Дружбы не

получилось. Возможно, именно тогда Максимилиан понял, что в Париже без денег и протекции пробиться среди таких же, как он, честолобивых молодых людей, не обладавших тугими кошельками, но исполненных верой в собственные силы, ему не удастся. И 23-летний Максимилиан Робеспьер (точнее, де Робеспьер, как он будет подписываться вплоть до 1790 года) благоразумно решил вернуться в Аррас, но скорее всего такое решение далось ему нелегко: столица обладала неодолимой притягательной силой. И хотя многие современники обличали тлетворную роль этого «погрязшего в пороках Вавилона», молодые люди со всех концов Франции, словно мотыльки на огонь, слетались туда, чтобы растратить состояние и запятнать свою репутацию.

Впоследствии отметят, что, став депутатом и переехав в Париж, Максимилиан не сразу освоился в городе, ибо плохо знал его. И это после того, как он прожил в нем более десяти лет! Можно только гадать, какой напряженной внутренней жизнью жил юный Робеспьер, если его совсем не заинтересовал город, считавшийся центром тогдашнего интеллектуального мира. «С политической точки зрения Париж слишком велик: голова несоразмерна с государственным организмом», — писал Луи Себастьян Мерсье, предвосхищая слова А. Токвиля о городе, «поглотившем все государство». Так, может быть, огромный город просто испугал юного провинциала? Или же он, как и Руссо, невлюбил город с его пороками и суетой, и его, как и учителя, влекла природа, сей приют невинности, добродетели и счастья?

Завершив курс юридических наук и принеся присягу в Парижской коллегии адвокатов, Максимилиан Робеспьер вернулся в Аррас. «Возвращающиеся из Парижа к себе на родину считают себя вправе презирать все, что не согласуется с обычаями и нравами столицы; они лгут себе и окружающим», — отмечал Мерсье. Но к мэтру Робеспьеру такая характеристика не подходила. Содержимое его чемодана по-прежнему скудно, разве что прибавилось книг и бумаг, исписанных четким бисерным почерком (который со временем станет гораздо менее понятным), ими забит даже тот уголок, куда можно было бы сложить дары юности: любовь, безумства молодости, дружбу. Но их там нет, зато на самом дне нашло место убеждение в собственной непогрешимости. Сродни стремлению к добродетели стало и постоянное стремление выглядеть респектабельно, ибо респектабельность — враг хаоса, а от хаоса до порока один шаг. Порок же — это богатство и неравенство, это дурные нравы, развращенные, по мысли Руссо, образованием, наукой и искусствами.

Сосредоточенного молодого человека в скромном аккуратном платье и идеально сидящем парике встретила сестра Шарлотта (Огюстен уже отправился на учебу в коллеж Людовика Великого); по ее словам, друзья вместе с ней плакали от радости по случаю возвращения Максимилиана.

Судейское сообщество Арраса встретило Робеспьера уважительно и дружелюбно, он легко занял место в королевском суде Арраса, а вскоре — по рекомендации все того же епископа Конзье — и должность судьи в епископском суде, вызвав тем самым зависть многих коллег, ибо эта не слишком обременительная должность сулила значительный доход. Старейший и наиболее уважаемый адвокат в Аррасе, мэтр Либорель, взял молодого адвоката под свое покровительство. Сестра, вместе с которой Робеспьер поселился в добротном доме на улице Сомон, вела хозяйство; небольшое наследство, доставшееся им после смерти деда, позволяло начать вполне пристойную жизнь, исполненную надеждами на будущее. Однако ранимая и одновременно честолюбивая натура Робеспьера немедленно нашла повод для столкновения с родственниками — тетушкой со стороны отца, претендовавшей на 700 ливров из наследства Жака Карро; свое требование она мотивировала тем, что в свое время одолжила эту сумму отцу Максимилиана. После дотошных разбирательств Робеспьер все же позволил тетушке забрать искомую сумму.

По словам Шарлотты, уже первые выступления брата в суде «приковали к нему всеобщее внимание». «Я часто задавалась вопросом о причинах необычайного успеха, каковой имел мой старший брат, выступая в качестве адвоката. Максимилиан был очень талантлив, речь его текла легко и плавно, логика была безупречна... но причина не только в этом: он брался защищать исключительно справедливые дела», — писала она. И хотя свой первый процесс по делу о наследстве Робеспьер проиграл, тем не менее его выступление привлекло внимание местных адвокатов, один из которых, Ансар, писал, что «по манере говорить, по выбору выражений, по четкости своей речи» Робеспьер оставлял далеко позади многих известных адвокатов, в том числе и Либореля. Робеспьер ошибки учел и следующее дело выиграл. Количество клиентов стало неуклонно возрастать, и он вместе с сестрой переехал на новую, более удобную и богатую квартиру на улице Иезуитов. В отличие от отца, менявшего квартиры из-за отсутствия средств, Максимилиан каждый раз снимал все более благоустроенное жилье. Он наконец удовлетворил свою страсть к «благопристойному» платью и, не жалея денег на одежду, стал клиентом самого дорогого торговца тканями Арраса и вместе с кардиналом Роганом и молодым военным инженером Лазаром Карно выбирал для костюмов лучшие ткани.

Небольшого роста (158 сантиметров), субтильного сложения, бледный, возможно даже чересчур (впоследствии современники будут отмечать его нездоровый цвет лица), с мелкими чертами лица и тонким, словно случайный штрих, ртом, сей преуспевающий, одетый с иголочки адвокат Максимилиан начал пользоваться вниманием у женщин. Впрочем, возможно, их привлекали его неуклонное продвижение по карьерной лестнице и соответствующий рост гонораров. (В 1782 году Робеспьер вел 17 дел, в 1783-м — 18.) Или чувствительность его натуры. Как пишет Шарлотта, когда брату пришлось вынести смертный приговор, он так страдал, что два дня ничего не ел. «Я знаю, что подсудимый виновен, — повторял он, — что он негодяй, но отправить на смерть человека...» Слова ее подтверждает и аррасец Гюфруа (будущий депутат Конвента и якобинец), поставивший свою подпись под тем приговором вместе с Робеспьером: «Ему было гораздо труднее, чем мне, решиться подписать сей приговор».

Подлинную известность (увы, лишь на провинциальном уровне, а Робеспьер стремился к большему) принесло молодому адвокату дело о громоотводе, которое ему предложил друг и коллега Антуан Жозеф Бюиссар — известный аррасский адвокат. В небольшом городке Сент-Омер (80 километров от Арраса) некий Виссери, адвокат и поклонник научных достижений, установил у себя на крыше новинку — громоотвод, завершавшийся 72-сантиметровым позолоченным клинком. Соседи же, то ли от невежества, то ли желая отомстить за прошлые ссоры, заявили, что это дьявольское изобретение приведет к пожару, и потребовали снять его, а когда Виссери отказался, пригрозили побить стекла или даже поджечь дом. Не желая неприятностей, Виссери громоотвод снял, но подал иск в суд и поручил своему коллеге Бюиссару защищать его дело. Около двух лет Бюиссар собирал доказательства, консультировался с учеными, в том числе с философом и математиком маркизом де Кондорсе, постоянным секретарем Академии наук, а также со знаменитыми парижскими адвокатами, в частности Тарже и Лакретелем, и в конце концов посвятил этому делу небольшую брошюру в 96 страниц; истец Виссери волновался, что в ней «присутствуют слишком длинные непонятные научные пассажи, которые заставят суд зевать». Собственно, это не столько защитительная речь в суде, сколько обращение к просвещенным законодателям.

Выступить же по своим материалам в суде Бюиссар поручил Робеспьеру. Почему? То ли он был слишком занят, то ли действительно оценил манеру выступления своего младшего коллеги и считал, что тому будет проще добиться успеха. В подготовленной им речи Бюиссар оставлял

возможность повторного обращения за консультацией в Академию наук. Выступая на суде, Робеспьер изменил ряд положений старшего товарища и потребовал признать правоту клиента «здесь и сейчас», ибо вынести приговор в пользу громоотвода означает признать, что «провинция Артуа и ее славные законодатели достойны Франции и нынешнего просвещенного века». «Взгляните дальше узких пределов своей провинции; посмотрите, вся Франция, все иностранные державы с нетерпением ждут вашего решения... Вы должны вынести его немедленно... Науки и искусства являются самым большим подарком, который небо сделало людям. Так что за роковая судьба постигла их, почему они нашли столько препятствий для своего воцарения на земле?» И, как это нередко встречается в речах молодого адвоката Робеспьера, изящный поклон в сторону короля: «Известно, что громоотвод установлен над физическим кабинетом замка ла Мюэтт, королевским домом, который правящий нами монарх часто удостаивает своим августейшим присутствием... если бы не были уверены в действенности громоотвода, никто бы не стал устанавливать его над священной и дорогой головой государя, который является славой Франции». Напыщенный (в духе тогдашней риторики) финал — и победа. Суд разрешил клиенту Робеспьера восстановить громоотвод.

Дело, вышедшее за рамки обыденного, принесло молодому адвокату успех и известность за пределами провинции. Желая закрепить успех, Робеспьер уговорил Виссери взять на себя расходы по изданию его речей отдельной брошюрой, которая, в сущности, отличалась от брошюры Бюиссара не столько содержанием, сколько формой. Брошюру Робеспьер разослал важным лицам провинции Артуа и изобретателю громоотвода Бенджамину Франклину, находившемуся в то время в Париже в качестве посла Соединенных Американских Штатов. Разумеется, в своем кратком послании «самому знаменитому ученому вселенной» Робеспьер не упоминал о Бюиссаре, что нередко ставится ему в вину. Однако последние разыскания показали, что Бюиссар также отослал Франклину свою брошюру, а Виссери известил ученого о своем деле. Столичная газета «Меркюр де Франс», сообщившая читателям о начале процесса, напечатала, что дело завершилось успехом прогресса, чему немало способствовал как почтенный автор «защитительной речи» Бюиссар, так и «молодой адвокат господин де Робеспьер, явивший как блистательное красноречие, так и прозорливость, позволяющую говорить, что он далеко пойдет». Эти слова особенно польстили Робеспьеру, ведь когда он покидал Париж, в глубине души у него наверняка осталось щемящее чувство горечи, ибо он понимал, что его блестящие характеристики не заменят ни

связей, ни тугого кошелька, а потому места под солнцем в столице ему не найти. И вот первая ласточка — заметка в газете, признанная Парижем, городом, где процветала изящная словесность, снискать славу на поприще которой также жаждал Робеспьер. Впрочем, словесность и политика связаны необычайно тесно, особенно протестная политика.

Жизнь в Аррасе была размеренной и однообразной — подъем в шесть утра, работа в кабинете, в восемь приходил парикмахер, завтрак, кабинетные труды, поход в суд, обед (исключительно дома), чашка кофе, прогулка и снова кабинетные труды... Наверняка Максимилиан мечтал о чем-то большем. Возможно, именно из-за этих мечтаний он иногда совершал странные поступки — например, не заметив, что тарелку убрали, черпал ложкой воздух. Или останавливался посреди улицы и внезапно бросался бежать домой, чтобы сесть за письменный стол... Какие страсти полыхали в этом низкорослом, хрупком, но упорном и целеустремленном человеке, какие мысли его обуревали? По словам Шарлотты, лучшие дома Арраса были счастливы принимать ее брата, и, если бы он любил деньги и почести, он мог бы жениться на любой богатой наследнице Арраса. Впрочем, следуя моде, молодой адвокат сочинял подругам сестры корявые мадригалы, подарки же делал весьма необычные: издания своих судебных речей. «Мадемуазель... имею честь послать вам три экземпляра моего доклада. Предоставляю вам право как можно лучше использовать те из них, которые вы не сочтете нужным сохранить», — то ли в шутку, то ли всерьез писал Максимилиан мадемуазель Дез, подруге Шарлотты. «Сударыня, дерзаю полагать, что докладная записка, посвященная защите угнетенных, может служить приношением, достойным вас, а потому решаюсь послать вам свой труд», — обращался он к неведомой барышне. А с мадемуазель Анаис Дезорти даже позволил себе легкий флирт, причем Шарлотта была уверена, что брат всерьез увлекся этой девушкой. «Несколько раз вставал вопрос о женитьбе, и возможно, Максимилиан женился бы на ней, если бы не голосование его сограждан, вырвавшее его из сладких объятий частной жизни и бросившее на стезю политической карьеры», — пишет она.

Но до голосования далеко, и Робеспьер позволил себе развлечься поездкой к родственникам в Корвен, где сочинил гимн сладким пирогам, которым «обитатели Артуа больше всех народов мира знают цену». «Ваш брат настоящий ангел, — писали Шарлотте тетки, — он наделен всеми нравственными добродетелями, но создан для того, чтобы стать жертвой злых людей».

Успех в деле Виссери открыл Робеспьеру путь в аррасскую академию, куда его приняли 15 ноября 1783 года (академиями именовали общества,

объединявшие местную элиту, поддерживавшую культурную и общественную жизнь провинции). Каждый вновь принятый обязан был произнести речь; Робеспьер свое выступление посвятил несправедливому отношению к членам семьи виновного со стороны общества. В начале 1784 года он отослал свои размышления «О повелительном предрассудке, обрекающем на бесчестье родственников несчастных, навлекших на себя осуждение законов» на конкурс сочинений, предложенный академией Меца, где выступил против «чудовища общественного порядка», как он именовал бесчестье, коему подвергаются родственники преступника. Бичуя предрассудок, Робеспьер восхвалял добродетель, приносящую счастье «как солнце — свет, тогда как несчастье происходит от преступления, как нечистое насекомое — от гнилости». Подобного рода фразы позволяют сделать вывод, что риторическая аргументация Руссо, во многом состоявшая из восклицаний и вопросов, присуща уже ранним сочинениям Робеспьера; впоследствии она расцветет пышным цветом. Столь же рано у него сложилось убеждение, что правила морали вполне применимы в политике: «Полезно лишь то, что честно; это правило, истинное в морали, не менее верно и в политике».

Победитель конкурса, адвокат Пьер Луи Лакретель, похвалил способность молодого коллеги верно схватывать суть дела, отметив при этом несколько поверхностный характер его работы: «Мне кажется, что ему нередко недостает четкости и решительности... Он уверенно проводит свою мысль, неплохо иллюстрирует ее, использует разнообразные фигуры стиля, что привлекает слушателя, но ему недостает глубины». А еще известный адвокат написал, что Робеспьеру не хватает того совершенного таланта, который дается только столичной жизнью. Недаром Мерсье писал, что «для усовершенствования того или иного таланта нужно подышать воздухом Парижа».

Замечания Лакретеля, впоследствии повторенные иными словами многими из мемуаристов, были справедливы. Желая придать своим речам больше веса, Робеспьер обретал привычку притягивать за уши доводы для полемики и из ничтожных явлений выводить великие истины. Академия, в лице парламентского советника Меца Редерера, будущего члена Учредительного собрания, присудила Робеспьеру вторую премию в размере 400 ливров, которую он употребил на издание своей работы отдельной брошюрой. Робеспьер явно жаждал лавров не только на адвокатском поприще, но и на поприще изящной словесности. И в общем он своего достиг. 3 декабря 1785 года в «Меркюр де Франс» появилась заметка Лакретеля, целиком посвященная Робеспьеру. Наконец-то честолюбивый

аррасский адвокат имел все основания быть довольным: он завоевал себе место под солнцем. Преуспевающий юрист, литератор и философ, он мог спокойно наслаждаться всеми благами жизни. Но, если верить Пруару, из-за желчного характера Робеспьеру были недоступны простые радости бытия. Тем не менее он продолжал развивать бурную академическую активность, печатал отдельными брошюрами собственные выступления и, отзываясь на конкурс, объявленный академией Амьена (1785), написал похвалу Грессе^[1] и его шутливой поэме «Вер-Вер». Ни сочинение Робеспьера, ни чье-либо иное из представленных на конкурс успеха не имели. Однако Робеспьер опубликовал и эту свою работу — возможно, потому, что она не только позволяла оценить его способности литератора, но и пускала стрелу в нелюбимого Жаном Жаком, а значит, и Робеспьером, Вольтера: «Эфемерные сочинения Вольтера производят на меня впечатление прекрасного сада, созданного согласно вкусам зажиточного владельца; читая же произведения Грессе, испытываешь сладостное волнение, охватывающее при виде чарующих пейзажей, которые Природа наделила всей имеющейся у нее красотой, и ты восхищаешься ими до глубины души...»

Максимилиан не упускал ничего, что могло снискать ему известность и академические лавры. И его труды даром не пропали. 4 февраля 1786 года его избрали директором аррасской академии. В качестве директора он произнес обязательную речь, но не короткую, как его предшественники, а трехчасовое рассуждение о правах незаконнорожденных детей и подкидышей, в котором осуждал несправедливое законодательство, возлагающее на несчастных детей ответственность за проступок родителей. По своему пафосу выступление напоминало его вступительную речь, ибо на подкидышей позор ложился столь же безвинно, как и на семьи, один из членов которых стал преступником. Выступая против «предрассудка», он высказал свое неприятие социального неравенства: «Нищета развращает нравы народа и портит его душу; она создает предпосылки для преступления» — и вознес хвалы браку: «Брак является полноводным источником добродетели, он усмиряет страсти и способствует процветанию благопристойных чувств; став отцом, мужчина обычно становится исключительно порядочным человеком». При работе над речью он в очередной раз задавался вопросом о природе связей между законами, общественными предрассудками, естественным правом и нравами. Что побудило его обратиться к этой теме? Незаживающая рана детства, когда он узнал, что ему грозила участь внебрачного ребенка, как утверждают психологи? Или возможность с уже ставшей привычной

выспренностью затронуть широкий спектр социальных проблем? По словам Мерсье, «приют для подкидышей не возвращал и десятой части вверяемых ему человеческих существ». После выступления Робеспьера приняли постановление, чтобы регламент речи директора не превышал тридцати минут.

Будучи председателем, Робеспьер приветствовал заочное принятие в академию двух дам — Мари Ле Массон Ле Гольф из Гавра и проживавшую на то время в Париже уроженку Арраса Луизу де Керальо^[2]. Таким образом, он открыто выступил против «предрассудка», не допускавшего женщин в литературные и научные сообщества. «Откройте женщинам двери академий», — во всеуслышание заявил он. Характерно, что во время революции Робеспьер не произнесет ни слова в защиту равноправия женщин.

Робеспьер был принят в аррасское литературно-поэтическое сообщество Розати^[3], кружок молодых поэтов и интеллектуалов, всегда готовых сочинить стишок в честь роз и любви, сказать остроумный экспромт и поднять бокал шампанского за весну и прекрасных дам. В кружке он оказался рядом с Лазаром Карно, но, как и в академии, членом которой также являлся Карно, отношения у них не заладились. Точнее, их не было — они лишь любезно улыбались друг другу. Такими же улыбками обменивался Робеспьер и с преподавателем математики и философии Жозефом Фуше, будущим якобинцем и термидорианцем. В Розати улыбались все, даже Робеспьер. Оказывается, по словам аббата Эрбе, он «умел петь, и смеяться, и пить», а также, как вторила ему Шарлотта, даже шутить. «А смеялся он иногда до слез».

Ничто не предсказывало Робеспьеру его трагического революционного будущего. Ратуя за расцвет наук и искусств, выступая против «предрассудков», он, подобно многим своим просвещенным современникам, подготавливал почву для либеральных реформ, но не для свержения существующего строя. Завоевав прочное место среди элиты своей провинции, он мог рассчитывать и на прекрасную партию, и на скорый и успешный подъем по карьерной лестнице. Он сменил квартиру на более удобную: теперь они с сестрой и окончившим коллеж Огюстеном жили на улице Рапортер в доме под номером 9^[4]. Однако прочное будущее преуспевающего провинциального адвоката Робеспьера, очевидно, не устраивало; он, похоже, чувствовал себя в нем не в своей тарелке. Как и его отцу, ему хотелось чего-то иного, нежели то, что давала ему нынешняя жизнь. Тайные надежды? Но эти надежды явно не имели ничего общего ни

со стрелами амура (никто из питавших к нему симпатию аррасских барышень не затронул его сердца), ни с богатством, ибо, по всеобщему мнению, Робеспьер мог иметь больше клиентуры, причем клиентуры состоятельной. Или он действительно далеко не всегда блестяще вел дела? Отец Лазара Карно, побывав на процессе, где выступал Робеспьер, весьма посредственно отозвался о его талантах адвоката и выразил удивление по поводу успеха, который тот имел в собраниях. В 1786 году Робеспьер вел 20 дел, в 1787-м — всего на два больше, и это в то время, когда его собратья, как, например, менее талантливый Гюфруа, вели 52 дела, а некоторые даже в три раза больше.

Сторонники «золотой» легенды о Робеспьере утверждают, что, воодушевленный идеями Руссо, молодой адвокат проникся великим состраданием к народным бедствиям, особенно к бедствиям крестьян, влачивших бремя феодальных повинностей и непомерных налогов. Но Робеспьеру, городскому жителю, негде было сталкиваться с крестьянами; он имел дело с народом в лице ремесленников, в основном зажиточных, тех, кто отстаивал свои права в суде. В деле ремесленника Детефа, обвиненного Броньяром, монахом доминиканского монастыря, в краже, Робеспьер взялся защищать Детефа. Тем временем настоятель, обнаружив, что монастырскую кассу обчистил сам Броньяр, потихоньку отправил нечистого на руку монаха в тюрьму, а суд вынес постановление прекратить преследование Детефа. Но Робеспьер потребовал от аббата и виновника хищения возмещения убытков, а пока суд тянул дело, издал свою защитительную речь, в которой не только осудил «преследователей» Детефа, чьи пороки опозорили звание служителей церкви, но и выступил против «привилегии безнаказанности» в целом, за равенство перед законом. После этого выступления он получил прозвание «защитник угнетенных».

В деле Детефа Робеспьер столкнулся со своим бывшим покровителем Либорелем, представлявшим интересы монастыря, и блистательно разбил все его аргументы. В результате стороны пришли к соглашению: Детеф забрал обвинение, а монастырь выплатил ему шесть тысяч ливров, тысяча сто из которых отошла его адвокату. Текст речи Робеспьера в защиту «угнетенной невинности» разошелся на ура — в отличие от речи Либореля, успеха не имевшей. Однако раскол налицо: Робеспьер решительно порывал со «старой», консервативной верхушкой аррасских адвокатов, зарабатывая репутацию адвоката «угнетенной невинности». Шаг к опасной славе возмутителя спокойствия был сделан. И к краху успешно складывавшейся карьеры. Что побуждало его сойти с накатанной колеи? Честолюбие,

подталкивающее к поступкам, на которые не способен никто вокруг? Острое ощущение момента? Следование заветам учителя? Провидческое озарение, как у Казотта^[5]? Или нежелание понять, что говорить о справедливости в академии — это одно, а критиковать несправедливость в суде — совсем иное, и коллеги этого очевидно не простят? Собственно, они и не простили — перестали приглашать Максимилиана на собрания местной юридической элиты.

Робеспьер брался за разные дела (например, дело графа Моде, в котором защищал эксклюзивное право графа охотиться в лесу Бюиссьер; дело барышника Дюбуа, вмешавшегося в драку, а потом потребовавшего возмещения ущерба за побои...), но привлекали его прежде всего дела, позволявшие поднять глобальные вопросы несправедливого устройства общества. Так, защищая вдову Мерсер, которую за неуплату долгов кредиторы заточили в темницу (где ту содержали в приличном помещении и позволяли принимать гостей), он обрушился на лишение свободы как на «наказание, недостойное просвещенного XVIII столетия». А защищая супругов Паж, обвиненных в ростовщичестве, он, уверенный, что свидетели дали ложные показания, заявил, что «лучше пощадить два десятка виновных, нежели наказать одного невинного». (Увы, через несколько лет его взгляд на наказания изменится...) Предостерегая суд от ошибок, он напомнил, сколько невинных из-за этих ошибок попали на каторгу, сколько было «эшафотов, дымящихся невинной кровью», сколько несчастных окропили своей кровью «подводные камни нашей уголовной юстиции»! И далее, в духе времени, он потребовал внести изменения в уголовное законодательство, иначе говоря, провести судебную реформу. Робеспьер не только выступал в суде, свои выступления, именуемые судебными мемуарами, он распространял в печатном виде, причем не после окончания процесса, как было принято, а еще до его начала. Почему он так поступал, понимая, что этим лишь наживает себе врагов? Желание превратить локальный судебный процесс в громкое дело, которое прославит выступившего наперекор судьям адвоката?

Финалом адвокатской карьеры Робеспьера стало открытое в самом начале 1789 года дело Дюпона, завершившееся только с принятием Национальным собранием декрета об отмене «писем с печатью». Некий Гиациант Дюпон, вернувшийся после долгого отсутствия из-за границы, потребовал часть причитавшегося ему наследства, поделенного между собой родственниками, считавшими его мертвым. Родственники раздобыли так называемое письмо с печатью, приказ о заточении в тюрьму без суда и следствия, подписанный королем, и, вписав в него имя неугодного

родственника, избавились таким образом от его притязаний. Спустя десять с лишним лет Дюпон, выбравшись из мест заточения, в поисках справедливости подал жалобу в суд. В защитительной речи Робеспьер обрушился на «ужасную систему» писем с печатью, безвинной жертвой которой стал его клиент, и призвал «уничтожить чудовищные и позорные злоупотребления, унижающие народ и делающие его несчастным». Речь, острота которой было направлено против деспотизма и в которой слова «права человека и гражданина» звучали напоминанием об американской революции, по тем временам была очень актуальна: страна бурлила, составляя наказания и выбирая депутатов в Генеральные штаты, созыв которых назначили на май текущего года.

Что побудило короля созвать Генеральные штаты, представительное собрание трех сословий — дворянства, духовенства и податных, — не собиравшееся с 1614 года? Это прежде всего огромный дефицит бюджета, создавшийся в результате гигантских затрат на помощь Американским Штатам в войне с Англией (с 1776 по 1781 год на нее ушло 530 миллионов ливров), безудержного мотовства двора и несколькими годами природных катаклизмов: густые туманы 1780 года; извержение вулкана летом 1783-го; суровая зима 1783/84-го; засуха 1785-го, повлекшая за собой падеж скота; сильные морозы и сырое лето 1786-го, погубившие урожай зерна и винограда; страшная июльская гроза 1788 года, опустошившая поля и сады северо-востока страны. Королевство оказалось на грани катастрофы. Система займов, к которой для пополнения казны виртуозно прибегал популярный среди французов швейцарский банкир Неккер, повторно приглашенный королем для управления финансами, изжила себя, равно как и государственные лотереи. Оставалось одно: ввести дополнительные налоги. Но дворяне и духовенство не желали расставаться с привилегией не платить налоги, буржуа не желали мириться с положением «подданных второго сорта», а опутанные феодальными повинностями и задавленные податями крестьяне, составлявшие примерно 90 процентов населения Франции, не могли платить больше. По сравнению с соседями-англичанами французские крестьяне дурно обрабатывали землю, орудия труда были примитивными, а урожаи низкими. «Только нация в лице своих представителей, избранных в Генеральные штаты, вправе позволить королю ввести новый налог», — заявил парижский парламент, отказавшийся регистрировать новые налоги. Речи о свободе и равенстве, протесты против деспотизма начали свой путь от слов к поступкам; слова становились политикой.

Предвыборная кампания, включавшая составление наказов

избирателей и выборы будущих депутатов, привела к практически поголовной политизации общества. От меланхолии аристократов, не державших заняться чем-нибудь полезным, чтобы «не потерять лицо», и юных буржуа, лишенных возможности подниматься по карьерной лестнице, не осталось и следа. Избирательные собрания превращались в арену пылких споров, а зачастую и потасовок. Третье сословие выступало против неограниченной монархии как формы правления, аристократия в лице герцога Филиппа Орлеанского (будущего Филиппа Эгалите) заигрывала с народом, лелея надежду сменить династию Бурбонов на династию Орлеанов.

Увидевшее, наконец, по словам аббата Сьейеса, возможность «стать чем-нибудь», третье сословие со всей страстью ринулось в политику. Устремился в политику и Робеспьер. Что подтолкнуло его к такому решению? Шарлотта пишет, что, как только встал вопрос о выборах депутатов, взоры большинства жителей Арраса обратились на ее старшего брата. Пруар утверждает, что Робеспьер, «терзаемый демоном честолюбия», решил показать себя на столичной арене. Скорее всего, он прав. Какой же политик без «демона честолюбия»? Тем более что в Аррасе корабли Максимилиана сожжены, карьера рухнула. Ряд авторов даже утверждают, что он еще до объявления выборов намеревался уехать в Париж.

Выборы пришлось как нельзя кстати, и Робеспьер бросил все силы на продвижение собственной кандидатуры. Понимая, что у своих коллег, а значит, и у зажиточной части аррасцев, успеха ему не снискать, он сделал ставку на народ. Тех людей, которые, по словам Руссо, не настолько богаты, чтобы купить других, но и не настолько бедны, чтобы продавать себя. На «простых и чистых» людей, обладающих мелкой собственностью, которую всегда защищал Робеспьер. (Первым на защиту мелкой собственности встал депутат от третьего сословия адвокат Тарже, заявивший, что «собственность бедняка более священна, чем состояние богача».) Многие подчеркивают, что в предвыборную кампанию из лексикона Робеспьера исчезло слово «чернь». Впрочем, те, кого называли чернью, безработные и люмпены при выборах в расчет не принимались: эти люди, так же, как и слуги (не говоря уже о женщинах), в сложных двух- и трехступенчатых выборах не участвовали.

В сущности, первым предвыборным выступлением Робеспьера стала речь на процессе Дюпона, осуждавшая произвол и требовавшая отмены писем с печатью. Завершилась эта речь поистине пророческим предсказанием грядущих событий: «Мы стоим на пороге революции,

которая должна восстановить царство законности и, как необходимое следствие, очистить нравы». Установление правильных законов, в том числе и нравственных, — вот цель, к которой с самого начала революции неуклонно будет двигаться Робеспьер.

Менее чем через две недели вышла брошюра «Обращение к гражданам провинции Артуа», в которой Робеспьер, подогревая интерес к выборам, напоминал, что «будущее провинции зависит от того, кто будет представлять ее в Генеральных штатах... ибо голос истинного представителя народа может остановить министра, если тот захочет узурпировать власть. <...> Враги государства сплели заговор против Франции, поэтому Его Величество ждет голоса совести, только ее надобно слушаться при выборе депутатов». И никаких антимонархических настроений, ведь «главным источником несчастий народа являются пороки правительства», а вовсе не король. Не только простонародье, но и значительная часть образованного сословия возлагали свои упования на короля — реформатора и гражданина.

Академический оратор, Робеспьер, выйдя на политическую арену, заранее готовил свои выступления и, не обладая талантом импровизации, зачитывал их по бумажке, уделяя больше внимания содержанию речи, нежели ее воздействию на аудиторию. Впрочем, как пишет Пруар, во время выборов Робеспьер не пренебрегал и устной агитацией. Вспомнив о презираемых им деревенских родственниках, уговаривать их он отправил Огюстена. Опасаясь заговора богатых, ходил по улицам и трактирам, убеждая простолюдинов голосовать за него. Впрочем, возможно, подобные наблюдения являются лишь поздним злопыхательством Пруара. По всей стране корпорации ремесленников составляли наказания депутатам. В Аррасе корпорация холодных сапожников, самых бедствующих ремесленников, с просьбой составить наказ обратилась к Робеспьеру. Тот немедленно выполнил просьбу, и представители корпорации, даже не переписав наказ набело, отправили его в ратушу; впрочем, помарок в наказе было немного. Выступив в роли рупора народных чаяний, «адвокат угнетенных» подвергся граду язвительных насмешек со стороны конкурентов. Но это его не остановило.

Продолжая борьбу за депутатское место, Робеспьер выпустил памфлет под названием «Враги отечества», адресованный жителям Арраса, в котором призывал их «разоблачить заговор, который уже давно плетут честолюбцы, заседающие в нашей администрации, дабы увековечить режим угнетения; и я исполню эту задачу и разоблачу перед всеми поведение наших муниципальных чиновников». Он потребовал денежного

возмещения ремесленникам, которые, принимая участие в предвыборных собраниях, теряли в зарботке, ибо посвящали свое время не работе, а политике. Предложение отклонили, но оно снискало ему дополнительную популярность. Желая подстраховаться, Робеспьер вступил в переговоры с Шарлем Ламетом, депутатом от дворянства Артуа, заинтересованным в поддержке будущих депутатов от податных. Выпустил «Обращение» к сельским жителям, убеждая их активно принять участие в голосовании: «Друзья, вы станете гражданами... Руками ваших депутатов вы заложите основы счастья общества». Однако: «Вы не знаете всех ваших прав, вы не сможете развить ваши требования; поэтому позвольте гражданину из вашей среды сделать это». А чтобы явившиеся на предвыборное собрание селяне не забыли, за кого надо голосовать, помощники Робеспьера в качестве памятки раздали четыре сотни билетиков с именем кандидата. Сам кандидат произнес речь, эмоционально затронув актуальные для сельских жителей вопросы налогообложения и военной службы, надолго отрывавшей крестьян от земли. Робеспьер не просто решительно порывал со своей средой и становился на сторону народа, он был готов умереть за свой выбор, ибо, по его словам, «интриганы» намеревались «превратить защитников народа в мучеников». «Когда я подвергался бешеным нападкам всех сговорившихся против меня сил, — скажет он 27 апреля 1792 года, выступая в Якобинском клубе, — народ вырвал меня из рук тех, кто меня преследовал, и ввел меня в лоно Национального собрания. Разве не ясно после этого, что я создан самой природой для того, чтобы играть роль честолюбивого трибуна и опасного смутьяна!»

Напоминание о смерти, уготованной ему от рук врагов, всплывало в речах Робеспьера постоянно. Был ли это своего рода риторический прием, дабы привлечь внимание к своей персоне, или же некое провидческое предчувствие, замешенное на сентиментализме в духе Жана Жака? Скорее всего, всё вместе, и смесь эта свидетельствовала о страстях, бушевавших под прилизанной внешностью и манерами педанта, о страстях, заставивших Робеспьера сойти с накатанной колеи и ступить на путь борьбы.

В период выборов в основном сложились политический лексикон и политическая программа Робеспьера: разоблачать врагов народа и его угнетателей, высматривать заговоры против народа и разоблачать их. Свобода, добродетель, счастье — вот идеалы будущего депутата; коварство, клевета и заговор — оружие его врагов. Врагов, которых Робеспьер будет видеть подле себя, даже когда его партия окажется у власти. «Лишь народ

добр, справедлив и великодушен», а «развращенность и тирания — исключительный удел тех, кто его презирает», поэтому внутренние враги гораздо более опасны, нежели враги внешние, ибо они тайно развращают народ, добродетельный в силу своего положения и нрава, пороки же являются порождением богатых.

Итак, свершилось. После длительной и упорной борьбы, где все средства хороши, Робеспьер был избран в Генеральные штаты от провинции Артуа и вместе с семью другими депутатами от третьего сословия отправился в Париж, заняв, по словам Пруара, десять луидоров и большой чемодан у мадам Маршан, приятельницы своей сестры. Если верить тому же Пруару, то чемодан сей был набит старой одеждой и печатными экземплярами речей Робеспьера. С этим багажом начинающий депутат прибыл в Версаль, куда съезжались депутаты со всей Франции, и вместе с тремя земляками поселился в гостинице «Ренар» на улице Сент-Элизабет.

Открытие Генеральных штатов назначили на 5 мая; к этому дню в Версаль вместе с депутатами прибыли многочисленные парижане и жители окрестных сел и деревень: всех охватило лихорадочное ощущение причастности к Истории. Робеспьер особенно остро чувствовал, что он — один из тех, кому доверили решать судьбу страны, и полностью погрузился в тревожную атмосферу, сулившую перемены. Он даже пропускал мимо ушей оскорбительные выпады в его адрес, долетавшие из родного Арраса, которые подхватывали депутаты провинции Артуа от благородных сословий. Впрочем, в свое время Робеспьер припомнит газетке «Афиш д'Артуа» и «бешеную лошадку», и «злобного осла», и «трусливого мула», и другие оскорбления, брошенные в его адрес... Но пока он ничем не выделялся из унылой — черное платье с белым воротником — массы депутатов третьего сословия, которому король дозволил лишь пройти через свои покои, в то время как первые два сословия удостоились специального королевского приема. Но роскошь дворянских одежд и облачений верховного духовенства не могла затмить колоритнейшую фигуру маркиза де Мирабо, шествовавшего в рядах податных, избравших его своим представителем, «величайшего из всех депутатов нации», как назвал его Карлейль. Но кто же тогда самый незначительный? «Возможно, это невысокий, невзрачный, незадачливый человек лет тридцати, в очках, с беспокойным, озабоченным взглядом (если снять с него очки); его лицо приподнято вверх, словно он старается учуять непредсказуемое будущее; цвет его лица желчный, скорее бледновато-зеленый, как цвет морской воды. Этот зеленоватый субъект — адвокат из Арраса, его имя Максимилиан

Робеспьер», — писал английский историк.

Робеспьер действительно обладал талантом чужать будущее. Пока его коллеги-депутаты произносили с трибуны пылкие речи, он слушал и впитывал, смотрел и оценивал. «В Собрании есть больше ста граждан, способных умереть за родину», — писал он Бюиссару. «Его нравственный облик не внушает к нему доверия», — писал он о Мирабо. Но, несмотря на критическую оценку личности Мирабо, Робеспьер не мог не оценить правильности его мысли, ведь именно призывы маркиза подтолкнули депутатов от податных потребовать совместной проверки депутатских полномочий, дабы сословие, представлявшее подавляющее большинство нации, не превратилось в простую половину депутатов.

18 мая Робеспьер впервые поднялся на трибуну с речью, посвященной вопросу, как побудить приходских священников, составлявших основную массу депутатов от духовенства, присоединиться к третьему сословию. Выступление по бумажке никого не вдохновило, однако он отдал свое предложение в бюро, дабы предать его гласности посредством печати. И хотя в связи с регламентом на голосование его не поставили, в письме Бюиссару он подчеркнул, что «большое число лиц засвидетельствовали мне свою благодарность и уверенность в том, что мое предложение было бы принято, если бы было внесено в начале». «Большое число лиц», являвшееся плодом воображения Максимилиана, свидетельствовало о его крепнущей уверенности в себе. Или о неизбежном тщеславии, кое постоянно рвалось наружу.

17 июня третье сословие провозгласило себя Национальным собранием (название после долгой дискуссии предложил Сьейес), иначе говоря, высшим представительным и законодательным органом французского народа. Вскоре к податным присоединилось духовенство, а за ним и часть дворянства. Удрученный Людовик уныло выслушал Неккера, предложившего компромиссное решение: король сам объединит депутатов всех трех сословий и введет всеобщее равенство в уплате налогов, но послушался все же придворного совета, постановившего провести «королевское заседание» и вернуть все на круги своя. Для начала король велел закрыть на ремонт зал Малых забав, где проходили заседания, лишив, таким образом, депутатов помещения для работы. Тогда возмущенные представители народа отправились в Зал для игры в мяч, где принесли знаменитую клятву не расходиться до тех пор, пока не выработают конституцию. Среди имен этих депутатов, увековеченных на стенах зала, стоит и имя «де Робеспьер». Разогнать непокорных депутатов король не решился.

Королевское заседание состоялось 23 июня. Настрой был отнюдь не радужный, и не только у третьего сословия; присутствие в зале вооруженной охраны усиливало напряженность. В своей речи Людовик обрушился на депутатов от податных, объявив их действия незаконными, но все же согласился принять некоторые свободы, как, например, свободу печати, и пообещал провести ряд реформ, которыми будет руководить лично. Завершив речь повелением депутатам разойтись, а завтра начать заседать пословно в специально отведенных для этого помещениях, король под аплодисменты части дворянства и духовенства покинул зал, сопровождаемый большой группой знати и прелатов. Все время, пока выступал король, в Париж непрерывно мчались курьеры, сообщавшие толпившемуся на площадях и улицах народу последние новости. Сорок тысяч парижан приготовились выступить в Версаль на защиту народных представителей. Но помощь не понадобилась. Депутаты третьего сословия остались на местах, а когда дворцовый церемониймейстер маркиз де Брезе напомнил о приказе короля, председатель Собрания астроном Байи ответил, что Собрание имеет право заседать там и тогда, где и когда сочтет нужным. И тут же по настоянию Мирабо, опасавшегося, что король поручит войскам разогнать Собрание, народные избранники приняли постановление о депутатской неприкосновенности. Король не решился пустить в ход войска: слишком накалена была атмосфера, и его величество не был уверен, что солдаты выполнят его приказ.

«Когда 23 июня Мирабо отверг королевский приказ, равно как и во время дальнейших потрясений, Робеспьер оставался пассивным, он не выступал и не действовал; он пребывал в толпе, где заметить его было трудно», — писал о начале депутатской карьеры Робеспьера Галарт де Монжуа. Как и многие современники, оставившие свои воспоминания о вожде революции, прав он лишь отчасти. Если в мае Робеспьер всего дважды поднялся на трибуну, то в июне выступил уже пять раз, в июле — шесть, а в августе — двенадцать раз. Но, принимая во внимание, какие великие события произошли в то лето, заметным Робеспьера действительно назвать нельзя. При этом сам он зорко следил за происходящими событиями.

События же следовали одно за другим. 9 июля Собрание приняло название Учредительного (Конституанта), поставив целью выработку конституции. 12 июля король в очередной раз уволил Неккера (через четыре дня он вновь назначит его министром, но это назначение уже никакой роли не сыграет), что вызвало бурю негодования и в Париже, и в Собрании. Столица бурлила, патриотически настроенные ораторы яростно

клеймили двор. 13 июля в Париже организовали Национальную гвардию, призванную поддерживать порядок на улицах столицы; главой ее избрали героя Войны за независимость Американских Штатов маркиза де Лафайета. Прошел тревожный слух, что наводнившие предместья столицы иностранные полки готовы в любую минуту стрелять в народ. В ответ бывший однокашник Робеспьера журналист Камилл Демулен бросил пламенный призыв «К оружию!», и парижане принялись вооружаться кто чем мог. 14 июля часть парижан, захватив без единого выстрела арсенал Дома инвалидов, двинулась к Бастилии, где хранился большой запас пуль и пороха, а часть отправилась к заставам и сожгла их дотла. Городской муниципалитет разбежался, несколько чиновников пали жертвами разъяренной толпы; формировались новые, революционные городские власти. Командующий иностранными полками барон де Безанваль, напуганный народным гневом, отозвал расквартированные в предместьях полки, сосредоточив их на Марсовом поле. Солдаты Французской гвардии массово переходили на сторону народа. Узнав, что комендант Бастилии де Лонэ собрался взорвать пороховой склад, народ пошел на штурм крепости и вскоре завладел ею. Свершилась «настоящая революция», как написал в письме Бюиссару Робеспьер.

17 июля король «в простой карете, эскортируемый одним лишь парижским отрядом гражданской милиции», и в сопровождении нескольких десятков членов Собрания отправился в Париж, где Байи, новый мэр Парижа, «сказал королю такие свободные слова»: «Вы были обязаны вашей короной рождению. Отныне вы обязаны ею только вашим добродетелям и вашим подданным». Байи вручил Людовику сине-бело-красную кокарду, ставшую символом революции, тот прицепил ее к шляпе, за что и удостоился здравицы «Да здравствует король и нация!» и звания «восстановителя французской свободы» (а также неприкосновенности личности, из всей королевской семьи дарованной только ему). Робеспьер, находившийся в составе делегации Собрания, куда включить его предложил Мирабо, с восторгом описывал Бюиссару увиденное им в Париже. Депутатов повезли в Бастилию, ставшую, по словам Максимилиана, «чудесным местом с тех пор, как она во власти народа, как опустели ее карцеры и множество рабочих без устали трудятся над разрушением этого ненавистного места, вид которого ныне вызывает у всех честных граждан только чувство удовлетворения и мысль о свободе». Завершалось письмо строчкой: «Г. Фулон был повешен вчера по приговору народа».

Журналист Ривароль с ужасом писал о первых зверствах

революционно настроенной толпы: «...народ Парижа, король, судья и палач в одном лице, после нескольких убийств, о которых мы умолчим, приволок Фулона и Бертье^[6] на Гревскую площадь, где подверг их неслыханным мучениям, а затем казни столь жестокой, что встретить подобную можно только у самых варварских народов». Не менее зверски расправились с комендантом Бастилии де Лонэ и купеческим старшиной Флесселем, чьи отрубленные головы, водрузив на пики, возбужденная толпа целый день носила по парижским улицам. Ни Лафайет, ни его национальные гвардейцы не сумели предотвратить расправу.

Вот что писал Бюиссару о тех событиях Робеспьер: «Народ покарал командира этой крепости и купеческого старшину, из коих первый был уличен в том, что распорядился стрелять из пушки по депутатам, посланным жителями, которые предложили ему убрать артиллерию, угрожающую с высоты башен безопасности граждан, а второй — в том, что вместе с самыми высокопоставленными особами участвовал в заговоре против народа». Оправдывая самосуд толпы (свидетелем которого никогда не был), он, возможно, в воображении своем видел римских плебеев, граждан Рима, торжественно предающих смерти несправедного диктатора или императора. Ибо, как и многие его коллеги-депутаты, шагнувшие в революцию из зала суда или конторы нотариуса, осмысливал настоящее сквозь призму Античности.

С первых шагов на политическом поприще Робеспьер занял позицию защитника народа, утверждая, что народ всегда прав, и закрывая глаза на контраст между возвышенной теорией и жестокостью реальной действительности. Сам он был далек от этой действительности и принимал сражение только на словесном поле парламентской борьбы, впрочем, не менее безжалостной, нежели ярость уличных мятежей, и также сулившей гибель противникам. Парламентская борьба Робеспьера началась в обстановке свершившейся революции, породившей всеобщее опьянение свободой и отчаянное желание немедленного установления всеобщего равенства. В провинции началась эпидемия «великого страха»: запылали замки аристократов, все говорили о бандах, грабивших не только путников, но и целые деревни; панические слухи порождали неразбериху, стычки, грабежи и кровопролития. Но разорение богатых замков нисколько не обогащало бедных, и обостренное политическое чутье подсказывало Робеспьеру, что главные события еще впереди. Политическое фиаско, которое он пока терпел в Версале, не могло не уязвлять его, его честолюбивая натура не желала смириться с принадлежностью к бессловесному большинству, которое впоследствии окрестят «равниной»

или «болотом». Привыкнув к первым ролям, он был готов на все, чтобы снова занять первый ряд. Роль «мальчика из церковного хора», каким его выставили в фельетоне на тогдашнюю политическую элиту, опубликованном в «Деяниях апостолов» (периодическом издании монархического толка), его не устраивала, хотя не исключено, что упоминание его имени рядом с такими популярными персонажами, как Мирабо, Тарже, изобретатель гильотины доктор Гильотен, основатель монархического клуба «Друзей конституции» граф де Клермон-Тоннер и яростный противник рабства Бриссо, втайне ему польстило. С головой погрузившись в революцию, он не пропускал ни одного заседания Собрания, внимательно слушал и зорко наблюдал за прославленными ораторами. Он сделался завсегдатаем кафе Амори, где депутаты из Бретани собирались для обсуждения тактики своей делегации, прилагал усилия, чтобы завести полезные знакомства, важность которых успел оценить. Впрочем, чутье подсказывало ему, что для обретения успеха надобно произвести впечатление не столько на Собрание, сколько на массы, ибо революцию делает народ, а он сказал только первое свое слово. Единственно, что каждодневно отвлекало Робеспьера от политики, — это забота о собственной внешности: он элегантен и по-прежнему старомоден.

Тем временем ряд депутатов от дворянства предложили издать обращение с осуждением грабежей и разбоя, а также заклеить самосуд, жертвами которого 23 июля пали Фулон и Бертье. Разгорелся спор; множество депутатов сошлись во мнении, что народ имеет право мстить своим врагам, долгое время угнетавшим его, но любое преступление, кто бы его ни совершил, необходимо судить на основании законов. Депутат от Гренобля Антуан Барнав прямо задал вопрос: «Так ли уж чиста была кровь, пролитая народом?» Но даже те, кто считал вспышки народного гнева неотделимыми от революционного движения, полагали, что для обеспечения свободы граждан необходимо как можно скорее выработать конституцию и принять справедливые законы, иначе начнется произвол анархии. Робеспьер высказался против осуждения действий восставших: «Надобно любить мир, но надобно также любить свободу. Поэтому давайте поразмыслим, что побуждает выдвинуть подобное предложение. Прежде всего, оно направлено против защитников свободы. Но разве есть что-либо более законное, нежели восстание против страшного заговора с целью погубить нацию? Не будем торопиться, подождем, пока нам не сообщат, что враги нации отказались плести свои интриги». В этом выступлении присутствовали три основных кита, на которых выстроил свое политическое кредо Робеспьер: народ всегда прав; у народа есть враги,

которые готовят заговор; он защищает интересы народа, а следовательно, прав.

Еще одно знаменательное событие произошло 4 августа. Во время заседания, затянувшегося до ночи (получившей название «ночи чудес»), виконт де Ноайль и герцог д'Эгийон, дабы успокоить волнения в провинции, в патриотическом порыве предложили депутатам от благородных сословий отречься от своих сословных и феодальных привилегий, и те с подъемом поддержали коллег. Впрочем, когда дошло до законодательного оформления декларации об отказе от привилегий, оказалось, что отмене подлежат главным образом личные привилегии, а феодальные повинности уничтожались лишь частично, в основном же их предстояло выкупать. Тем не менее декларация получила огромный резонанс, а в отдаленных провинциях крестьяне восприняли ее как полную отмену повинностей и прекратили платить сеньорам вовсе. Волнения в деревнях не утихали; выработка конституции и обеспечение порядка становились все более насущным делом.

26 августа был принят поистине исторический документ — Декларация прав человека и гражданина, главный документ революции, превративший подданных наихристианнейшего монарха Людовика XVI в свободных и равноправных граждан, для которых «источником суверенной власти является нация». Начальная статья декларации гласила: «Люди рождаются и остаются свободными и равными в правах». Священными и неотчуждаемыми правами человека провозглашались свобода личности, свобода совести, свобода сопротивляться угнетению и свобода владения собственностью. Декларация, ставшая основой будущей конституции, мгновенно завоевала сердца и умы французов, а ее принципы, основанные на свободе, равенстве и братстве всех людей, взбудоражили феодальную Европу, устремившую взор на Францию. Кто-то смотрел с восторгом, кто-то — с ненавистью, кто-то — настороженно...

Среди тех, кто настороженно встретил декларацию прав, было немало тех, кто в свое время яростно атаковал абсолютистский режим и критиковал его пороки. «Собрание собралось не для того, чтобы совершать революцию, а чтобы сделать конституцию. Но наши депутаты... поддались искушению поместить в начало конституции декларацию о правах человека. Как бы им потом не пришлось раскаиваться! наших монархов, которым только и говорили, что об их правах и привилегиях, но никогда об их обязанностях, никак нельзя назвать образцом рода человеческого. Неужели Национальное собрание хочет сделать из нас таких же принцев?» — писал Ривароль. «Природа не награждает нас одними и теми же

способностями... между людьми изначально существует неравенство, и ничто не может исправить его. Оно будет вечно, и все, чего можно добиться путем хорошего законодательства, это не разрушения такого неравенства, а воспрепятствования злоупотреблениям, из него проистекающим», — размышлял историк и просветитель аббат Рейналь.

Впрочем, сами законодатели воспринимали равенство скорее как фигуру речи, ибо, когда встал вопрос, кто может избирать и быть избранным, граждан немедленно разделили на «пассивных» — бедняков, едва сводивших концы с концами, и «активных», среди которых народными избранныками могли стать только наиболее состоятельные, те, кто платил прямой налог, равный марке серебра; те, кто платил прямой налог в размере стоимости десяти рабочих дней, получали право стать выборщиками, а те, кто платил всего лишь стоимость трех рабочих дней, избирали выборщиков. Лица, находившиеся в услужении, равно как и женщины, от выборного процесса отстранялись. Робеспьер не мог согласиться со столь вопиющим нарушением принципов декларации, «подвергавшим проскрипции девять десятых нации», и все два года, пока шли дебаты по выработке конституции, вел борьбу против цензового голосования, немало способствовавшую его популярности среди народных масс. Однако в отличие от Кондорсе и Олимпии де Гуж^[7] он никогда не высказывался за наделение женщин правом голоса. Ведомый по тропе революции идеями Жана Жака Руссо, он, вероятно, вспоминал высказывание учителя, утверждавшего, что женщина постоянно пребывает в детстве и не способна видеть дальше домашнего круга (иначе говоря, собственного носа). В свое время возглавляемое Робеспьером якобинское правительство запретит все женские клубы, перечеркнув надежды республиканок на равноправие полов.

Вопрос о выборах волновал его не только как законодателя, но и как политика, ибо цензовая система уничтожала не только политическое равенство, но и самого человека, так как, по его мнению, «человек — гражданин по природе. Никто не может вырвать у него это право, неотделимое от права существования на земле». Неоднократно выступая за пересмотр постановления о цензовом голосовании, Робеспьер предлагал свою формулировку декрета, суть которой заключалась в том, что все французы «должны пользоваться полнотой и равенством прав гражданина и доступом ко всем государственным должностям, без других различий, кроме различия добродетелей и талантов». Иначе пришлось бы признать, что «тот, кто имеет 100 тысяч ливров ренты, является в 100 тысяч раз большим гражданином, нежели тот, у кого ничего нет». Однако

Учредительное собрание оставило без внимания предложение и Робеспьера, и других депутатов, также выступавших за прямые выборы: Гара, Дюпора, Мирабо, Петиона, аббата Грегуара. Убедить молчаливое большинство не создавать «аристократию богатых» им не удалось. «Неужели патриотизм зачахнет уже в колыбели?» — вопрошал революционно настроенный журналист Лустало.

Тем временем королевская власть пришла в себя и двинулась в наступление. Король заявил, что отказывается «обездолить свое дворянство и духовенство», иначе говоря, признать декреты, принятые по результатам заседания 4 августа, равно как и Декларацию прав человека и гражданина, ибо он считает, что некоторые положения ее можно толковать двояко. Поддерживая монарха, ряд депутатов от дворянства предложили принять закон об абсолютном королевском вето, дабы, по их словам, не допустить произвола законодательной власти. Против высочайшего вето тотчас выступил Сьейес: он назвал его письмом с печатью, врученным королевской власти в качестве оружия. Робеспьер произнес длинную речь, суть которой сводилась к тому, что королевское вето — это «политическое чудовище», ибо оно означает, что «нация есть ничто, а один человек есть все». А если право вето «принадлежит тому, кто облечен исполнительной властью», получается, что «человек, поставленный нацией для исполнения ее воли, имеет право противоречить ей и сковывать волю нации». В конце концов при поддержке Мирабо и Петиона де Вильнёв, в то время считавшегося депутатом крайней левой партии, то есть защитником народных интересов (именно его французы поначалу называли «неподкупным», а Робеспьера — «непреклонным»), 575 голосами против 325 было решено предоставить королю право приостанавливающего вето сроком на два года. С такой формулировкой Робеспьер также не мог согласиться. «Почему суверенная воля нации должна на протяжении какого-то времени уступать воле одного человека?» — вопрошал он. И тут же предложил заменить клише «такова наша воля», которым король пользовался для утверждения законов, на новое: «Да будет сей закон нерушим и свят для всех». Столь же активно выступил он и против передачи королю права объявлять войну и заключать мир. «Как будто войны королей могут быть войнами народа!» — заключил он под возмущенные выкрики своих противников.

Парламентские дебаты не оставляли равнодушными парижан; свободная парижская пресса поддерживала радикально настроенных депутатов. Камилл Демулен, ставший знаменитым после июльских событий, теперь именовал себя «прокурором фонаря». Будучи адвокатом по

профессии, он снискал успех на поприще журналистики и в поисках заработка метался между демократическими газетами, охотно печатавшими его хлесткие патриотические заметки. Полагают, что осознавший силу прессы Робеспьер сам отыскал бывшего школьного друга; впрочем, есть и иная версия: они встретились случайно на обеде у Мирабо, у которого Демулен какое-то время подрабатывал секретарем. Впрочем, вскоре они начали встречаться в более привычной для Максимилиана обстановке, а именно в комфортной гостиной супругов Дюплесси, чья дочь Люсиль стала невестой Камилла. Поговаривали даже, что Робеспьер положил глаз на Адель, младшую сестру Люсиль, но слух остался лишь слухом.

Выступая защитником интересов санкюлотов, в частной жизни Робеспьер сохранял буржуазные привычки. Народ для него являлся чем-то отвлеченным, тем, кто не аристократ, кто наделен целым букетом добродетелей, но, находясь в положении угнетенном, не имеет суверенитета, то есть свободы волеизъявления. Через своих депутатов он получил эту свободу, и задача Робеспьера — защищать свободу своих избирателей, то есть народа.

Желая обезопасить дворец и его обитателей от возможных вспышек народного гнева, король вызвал Фландрский пехотный полк, прибывший в Версаль 23 сентября. По обычаю гарнизонные офицеры устроили в честь новых товарищей банкет, во время которого многие напились и в верноподданническом порыве стали срывать трехцветные кокарды и топтать их ногами. В то время когда жители столицы выстаивали огромные очереди за хлебом, а с рынков исчезали продукты, устроенный с размахом банкет возмутил парижан. Экзальтированный революционер Марат, одержимый кипучей жаждой истребления «врагов» и «заговорщиков», через свою газету «Друг народа» призвал граждан взяться за оружие и идти на Версаль. Призыв подхватили, и 5 октября толпа, состоявшая в основном из женщин, среди которых, как писали очевидцы, было немало мужчин, переодетых женщинами, во главе с народным оратором Майаром двинулась на Версаль. Почти все участницы похода были вооружены — ножами, пиками, палками, вилами. Шесть тысяч жен и матерей, озлобленных подорожанием хлеба, нищие и проститутки, рыночные торговки и цветочницы, воровки и мошенницы, присоединившиеся к ним по дороге, — все шли в Версаль требовать хлеба, короля и голову королевы.

«Для наших париков нужна пудра, вот почему у наших бедняков нет хлеба», — заметил как-то раз Жан Жак. Но в те сентябрьские дни мода на парики отходила в прошлое, урожай собрали хороший, склады наполнились зерном. Откуда вдруг возник дефицит с хлебом, основным продуктом

питания парижских пролетариев? Кто был заинтересован в том, чтобы в столице, которая даже в самые тяжелые времена снабжалась хлебом в первую очередь, начался голод? Кому было выгодно портить муку и зерно, о чем не раз сообщали парижские газеты? «В большинстве государств внутренние беспорядки порождаются отупевшей и глупой чернью, сначала раздраженной нестерпимыми обидами, а затем втайне побуждаемой к мятежу ловкими смутьянами, облеченными какой-нибудь властью, которую они стремятся расширить», — писал любимый учитель Робеспьера; в те дни Жан Жак, видимо, оказался прав. Многие современники считали, что голод был создан искусственно, и открыто обвиняли в этом герцога Орлеанского, сконцентрировавшего в своих руках большое количество зерна. Не исключено, ибо популярный в народе герцог Орлеанский, во время революции взявший себе фамилию Эгалите (что значит «равенство»), являлся одним из богатейших людей королевства и имел возможность финансировать любой заговор, в чем его постоянно подозревали, хотя доказательств и не находили. Тем не менее отношение к нему было двойственное. Как писала дочь знаменитого Неккера мадам де Сталь, «для дела свободы было бы лучше, если бы во главе конституции находился король, обязанный ей своим тронem, нежели король, который считал себя сей конституцией ущемленным», однако, по ее мнению, Орлеан не обладал твердыми принципами, а потому не мог встать во главе политической партии. В скобках заметим, что у Робеспьера несокрушимых принципов было предостаточно. Словом, несмотря на легкую эйфорию, охватившую парижан после взятия Бастилии, убедить народ, что король сосредоточил у себя в Версале запасы муки и зерна, дабы задуть голодом парижский люд, труда не составляло. Жены бедняков, чье положение нисколько не улучшилось, часами стояли в очередях в булочные; там же зрела мысль, что если «пекаря, пекариху и пекарёнка», как в те дни парижане прозвали короля, королеву и дофина, привезти в Париж, в столице снова появится хлеб.

Когда разгневанные и усталые женщины под проливным дождем прибыли в Версаль, Собрание как раз обсуждало адрес королю, который депутаты хотели направить, дабы убедить его величество безоговорочно принять Декларацию прав человека и гражданина. В этот день Робеспьер говорил с трибуны: «Никакая власть не может стать выше нации. Никакая власть, исходящая от нации, не может навязать свою цензуру конституции, которую нация вырабатывает для себя». Нация — это народ, и народ в тот день снова одержал победу. Король не только согласился утвердить декларацию, но и выразил готовность перебраться в Париж. Правда,

согласие было вынужденным: толпа, расправившаяся с несколькими королевскими гвардейцами, пытавшимися оказать ей сопротивление, грозно ревела: «Короля в Париж!» — и монарх не посмел ее послушаться. Прибывший к вечеру маркиз де Лафайет с отрядом Национальной гвардии не смог повлиять на события. Ему ничего не оставалось, как возглавить королевский кортеж, который утром 6 октября двинулся в столицу в окружении торжествующих санкюлотов. Следом за королевскими каретами ехали телеги с мукой, а в самом конце кортежа — несколько карет с депутатами: Собрание вслед за королем перебиралось в Париж, под защиту Национальной гвардии и парижан. Если, как говорят, Робеспьер в тот день ехал в одной из карет, то, возможно, ему приходилось часто отводить взор от окна — чтобы ненароком не увидеть бородатого гиганта с окровавленным топором на плече и плывшие над толпой головы королевских гвардейцев, насаженные на пики. Возможно, по дороге ему стало дурно, ибо он впервые видел жуткое неприглядное лицо народного гнева. Ведь в свое время от одной только подписи, поставленной под смертным приговором преступнику, он двое суток не мог прийти в себя...

После похода женщин на Версаль, как именуют события 5–6 октября, Робеспьер, будучи его очевидцем, физически ощутил, сколь страшен охваченный яростью народ, вершивший революцию, ужаснулся его неумолимой, неупорядоченной силе и содрогнулся, понимая, что впереди еще более свирепые бури. А ведь он приверженец порядка и как огня боится анархии! Однако ставка на народ, отныне бравший судьбу Франции в свои руки, сделана. Но как совместить укоренившуюся в нем страсть к законности с разгулом народной стихии? Выход подсказало его гениальное чутье политика: разумеется, он никогда не станет подстрекать народ, он будет ждать, когда тот сам придет в движение, а он разъяснит депутатам причины народного гнева и облечет их в одежды закона. И он неуклонно следовал этому принципу: во время восстаний словно растворялся, исчезал из виду, а когда гнев народа стихал, возвращался из небытия и объяснял всем, в чем причина недовольства народа.

Не только король вместе со своими министрами и двором, но и Собрание, перебравшись в Париж, оказалось под пристальным оком теснившихся на зрительских трибунах санкюлотов, подталкивая выступавших изощряться в красноречии, дабы вызвать их одобрение. Понимая, что ни с Мирабо, ни с виртуозным импровизатором Барнавом, признанными ораторами патриотов, ни даже с аббатом Мори или Казалесом, главными ораторами монархистов, ему не сравниться,

Робеспьер избрал иную тактику. В его пространных речах с примерами, взятыми из античной истории, стало постоянно звучать «трогательное и священное имя народа», сопровождаемое хвалебными эпитетами и возвышенными сравнениями. И хотя его рассуждения, зачитываемые негромким скрипучим голосом, нетерпеливые коллеги могли прервать криками: «Хватит! Довольно проповедей!» — и ему, тая обиду, приходилось покидать трибуну, он снова и снова заносил свою фамилию в список выступающих. Чутье его не подвело: газетчики постепенно научились правильно писать его фамилию, а зрители стали прислушиваться к его речам. Ибо, выступая с позиций естественного права и морали и сострадая народу, что, в сущности, его ни к чему не обязывало, он постепенно склонял слушателей на свою сторону, хотя ни разу не поддержал ни одного предложения, направленного на установление политического порядка.

В Париже Собрание вскоре вновь столкнулось с насилием и произволом парижского люда. Несмотря на запрет вывоза зерна за границу, несмотря на щедрые пожертвования, поступавшие в казну Собрания, куда все, от короля до ремесленника, считали своим долгом внести посильную лепту, положение с хлебом в столице по-прежнему оставалось тяжелым. Король-«пекарь», разбиравшийся в тонкостях слесарного дела, не знал, как дать народу хлеба, и парижанам приходилось выстаивать очереди у булочных. Город полнился слухами о заговорах спекулянтов и аристократов, которые хотели заморить жителей столицы голодом и тем самым задуть революцию. Ведь Париж — это революция. 21 октября парижский булочник Франсуа, заявив, что хлеб закончился, решил раньше времени закрыть свою лавку, но негодующая толпа ворвалась внутрь и, увидев подносы с булочками, приготовленными для депутатов Собрания, разгромила лавку, а булочника вздернула на фонаре. Затем, отрубив мертвецу голову, долго носила ее на пике по Парижу в назидание скупщикам и спекулянтам. Взрослым подражали дети — они носили на палках кошачьи головы...

Возмущение вспыхнуло так быстро, что муниципалитет не успел вмешаться. В тот же день депутация от городских властей, явившись в Собрание, предложила принять постановление о военном положении, позволявшее применять военную силу для усмирения толпы. Один из депутатов высказался за создание особого суда для расследования преступлений «оскорбления нации», который станет судить заговорщиков и спекулянтов. Впечатленные ничем не оправданной расправой с подвернувшимся под руку булочником депутаты постановление приняли.

Теперь, если общественному спокойствию грозила опасность, в главном окне ратуши вывешивался красный флаг; красное полотнище носили по улицам, и после третьего предупреждения, если возмутители спокойствия еще не разошлись, офицер муниципальной милиции получал право отдать приказ стрелять в толпу.

Против закона проголосовали Бюзо и Робеспьер. В тот день Робеспьер первый раз произнес неподготовленную речь— короткую, эмоциональную, но, в сущности, не имевшую отношения к случившемуся: «От нас требуют закона о военном положении... Нет! Не это надо делать. Надо принять необходимые меры для раскрытия следов заговора, который, если его вовремя не пресечь, может быть, уже в ближайшее время обречет мужественных и преданных родине граждан на полное бессилие. Я требую создания национального трибунала... После того как будет создан трибунал, избранный из вашей среды, вам надо будет заняться расследованием всех заговоров и козней, направленных против национальной свободы. <...> Пусть нам не говорят о конституции. Это слово слишком долго нас усыпляло, слишком долго держало нас погруженными в летаргию. Эта конституция будет лишь бесполезной книгой, и что толку в создании такой книги, если у нас похитят нашу свободу в колыбели».

Заговоры, козни, происки врагов— любимый конек Робеспьера, он видел их всюду, даже там, где их очевидно не было. Кто же всерьез мог считать заговорщиком несчастного булочника? Как справедливо отметил один из депутатов Собрания, речь господина де Робеспьера была адресована простонародью из Сент-Антуанского предместья, а не депутатам Собрания. Исполненная революционного пафоса, она отвергала не только постановление, принятое на случай чрезвычайной ситуации, но и первостепенность поставленной Собранием задачи: выработки конституции. Наилближайшую задачу Собрания определил Мирабо: обеспечить столицу продовольствием.

Хотел ли Робеспьер продолжения революции? Или, чувствуя ее неизбежность, был убежден, что новая волна народного возмущения вынесет его наверх? Он выступал по любому поводу, но никого не поддерживал, дистанцируясь не только от махровых монархистов, но и от разных оттенков либералов: от конституционных монархистов до республиканцев. Сам Робеспьер в то время отнюдь не мыслил себя республиканцем и разрушителем монархии. Держась в стороне от решений, принимаемых Собранием, он не вошел в состав ни одного из комитетов. Возможно, потому, что главные роли во всех формирующихся партиях уже

распределились, а следовать в чьем-либо фарватере ему не позволяли самолюбие, честолюбие или же гордыня. По словам П. Генифе, он взял на себя роль цензора, давшую ему власть вне Собрания, но обрекшую на маргинальность внутри него.

Как пишут многие современники, на протяжении работы Учредительного собрания Робеспьера словно не существовало, о нем активно заговорили только перед самым его роспуском, когда, по словам И. Тэна, из него удалились или были устранены «люди более или менее способные и компетентные». Подобные заявления достаточно условны, однако они подтверждают его положение маргинала: среди тех, кто в то время определял политическую жизнь, Робеспьера не было. Незаметный на фоне таких ярких личностей, как Мирабо, Лафайет или Клермон-Тоннер, как либеральный триумvirат, состоявший из лидеров тогдашних левых: Барнава, Александра Ламета и Адриена Дюпора, он в тишине своей маленькой квартирке на улице Сентонж упорно работал над созданием образа безупречного защитника народа. Он писал и выступал, и снова писал, писал... Наверное, иначе и быть не могло, ибо, как сообщает источник, приводимый В. Ревуненковым, «зима 1790 года была теплой и сытой, и в революции наступила некая пауза, то есть те двадцать счастливых месяцев, о которых народ потом будет вспоминать как о лучшем ее времени». В такое время Робеспьер не мог снискать славы, но делал все, чтобы в урочный час она его нашла. Многие биографы подчеркивают, что с самого начала революции Робеспьер чувствовал свою избранность, и эта избранность всегда была связана с истерической жертвенностью: «...уверен, что заплачу своей головой за истины, которые я высказал, пожертвую своей жизнью, приму смерть почти как благодеяние». «Может быть, небо призывает меня начертать моею кровью дорогу, которая должна привести мою страну к счастью и свободе; я с восторгом принимаю мою сладкую и славную судьбу», — писал он. «У нас есть две возможности: или разделить торжество вместе с отечеством, или погибнуть за него, и мы не можем с точностью сказать, какая из них более славная и достойная зависти».

Выбор Робеспьером своего парижского жилища считают символичным. Почтенный буржуазный дом под номером 8 по улице Сентонж располагался практически на равновеликом расстоянии и от пролетарского Сент-Антуанского предместья, и от Тюильри, где в здании Манежа с ноября заседало Собрание. В отличие от Версаля, где он жил в одной гостинице со своими земляками-депутатами, в Париже он намеренно поселился один: одиночество сродни избранности. Но какая же

избранность без признания? Писали, что, желая придать себе облик парижанина, он стал носить парик а-ля Мирабо, круглые, как у Франклина, очки и приложил массу усилий, чтобы избавиться от своего провинциального произношения. Писали даже, что он пытался подражать Мирабо, для чего тайно ходил за ним по пятам, изучая его манеры и привычки. Робеспьер копировал властного, порочного аристократа, уродливого, но невероятно обаятельного Мирабо, чья жизненная энергия буквально била через край? Это можно было утверждать разве что в памфлетах. Чтобы влиять на события, заставить к себе прислушиваться, аррасскому депутату нужна была трибуна или по крайней мере газета, где бы он мог заниматься «пропагандой правильных принципов». И он нашел, точнее, создал себе трибуну — Якобинский клуб. Чтобы издавать газету, у него не было ни средств, ни меценатов.

Якобинский клуб образовался после переезда Собрания в Париж — вырос из Бретонского клуба, заседавшего в версальском кафе «Амори». Перебравшись в столицу, члены клуба преобразовали его в «Общество друзей конституции», однако это название быстро отошло на второй план; известность клуб получил как Якобинский, ибо заседал в здании, некогда принадлежавшем монастырю Святого Якова, расположенному на улице Сент-Оноре. К членству в клубе допускались все желающие, но довольно высокий взнос — 12 ливров вступительный и 24 ливра ежегодный — ограждал его от вторжения бедноты. В клубе объединились «активные» граждане: чиновники, юристы, ученые, литераторы, негоцианты, словом, те, кого впоследствии стали причислять к мелкой и средней буржуазии, а также патриотически настроенные дворяне. С развитием революции большинство учредителей покинули Якобинский клуб, и в его стенах постепенно сложилось сообщество сторонников Робеспьера, которые в урочный час возглавили революционное правительство. А так как учреждали клуб депутаты с целью «заранее обсуждать вопросы, подлежащие решению Национального собрания», то неудивительно, что фракционная борьба из зала Собрания переносилась в клуб. Но в отличие от Собрания у якобинцев к Робеспьеру с самого начала прислушивались гораздо внимательнее, а сам он придавал работе в клубе едва ли не первостепенное значение. Выступления, выносившиеся на трибуну якобинцев, он обдумывал особенно тщательно и произносил медленно, с паузами, давая возможность присутствовавшим на заседаниях журналистам записать его слова. Парижский Клуб якобинцев мгновенно оброс провинциальными филиалами (к началу 1791 года их было уже 227), откуда поступали адреса, донесения и жалобы; те письма, что казались

членам клуба особенно важными, зачитывались в Собрании. Переписке с филиалами клуба и прочими «братскими обществами» в провинции Робеспьер уделял особое внимание, понимая, что эти письма — его трибуна, откуда голос его звучит по всей Франции, где к нему прислушиваются, ибо роль столицы в королевстве неизмеримо велика. «Ваша поддержка укрепляет мое рвение в защите великого дела народа!» — отвечал Робеспьер патриотам из провинции. Непрерывно разраставшуюся сеть патриотических клубов он называл «священной конфедерацией друзей человечества и добродетели».

Союзником Якобинского клуба стало основанное в апреле 1790 года Общество друзей прав человека и гражданина, получившее известность как Клуб кордельеров, ибо члены его собирались в стенах бывшего монастыря кордельеров, расположенного в трудовом Сент-Антуанском предместье. В отличие от якобинцев кордельеры вели свою пропаганду только в столице и не требовали членских взносов. Любой гражданин мог явиться на заседание и высказаться, а также внести добровольное пожертвование, для которого возле входа стояла большая кружка. Созданное стихийным движением «пассивных» граждан общество кордельеров ставило своей целью наблюдение за работой Собрания, а потому на членской карточке изображался глаз как символ революционной бдительности. Кордельеры активно принимали участие в революционном движении: подписывали петиции, собирали манифестации и с оружием в руках поддерживали восстания парижского плебса. Именно кордельеры первыми выступили с требованием низложения короля. Среди их лидеров числились и радикальный революционер Марат, и пламенный оратор, любимец улицы Дантон, способный с ходу зажечь толпу, и обаятельный Демулен, начавший издавать газету «Революции Франции и Брабанта», и Эбер, издатель рассчитанной на простонародье газеты «Папаша Дюшен», и поэт и актер Фабр д'Эглантин. Все они также являлись и членами Якобинского клуба, Робеспьер же до кордельеров не снисходил и выступал у них крайне редко. Никто из якобинцев никогда не подписывался на газету Марата «Друг народа».

Робеспьер скрупулезно отслеживал всё, что писали о нем газеты, опровергая не только заведомую ложь, но и легкомысленные, на его взгляд, неточности, пусть даже идущие ему на пользу. «Сударь, в последнем номере ваших «Революций Франции и Брабанта» по поводу изданного 22 мая декрета о праве войны и мира (декрет о праве короля принимать решение о войне и мире при обязательной его ратификации законодательным корпусом. — *Е. М.*) я прочел следующее: «Робеспьер

чистосердечно сказал толпе, окружавшей его и оглушавшей своими рукоплесканиями: «Господа, с чем вы себя поздравляете? Декрет этот отвратителен, хуже быть не может». Я должен вам сказать, что вы были введены в заблуждение. Я высказал в Национальном собрании свое мнение о принципах и последствиях названного декрета, но этим ограничился. Я вовсе не говорил... с толпой граждан, собравшихся на моем пути. Я считаю своим долгом опровергнуть этот факт, потому что он неверен... Надеюсь, милостивый государь, что вы обнародуете мое заявление в вашей газете, тем более что в высоком служении делу свободы вы должны считать для себя законом не давать дурным гражданам даже малейшего повода клеветать на деятельность защитников народа». И это сухое, педантичное письмо направлено Камиллу Демулену! К счастью, легкий характер Камилла не позволил журналисту обидеться на школьного друга: «Твое письмо написано с достоинством и важностью сенатора, оскорбляющими чувства школьной дружбы. <...> Тебе бы следовало приветствовать своего старого товарища хотя бы легким кивком головы. За то, что ты остаешься верен своим принципам, я люблю тебя не меньше, хотя и не столь верен остался ты дружбе».

Как полагают ряд биографов, Робеспьер панически боялся прослыть нарушителем закона. Когда генеральный контролер финансов Ламбер направил ему письмо с просьбой вразумить некоего пивовара, который, прикрываясь «зажигательным» письмом, якобы написанным Робеспьером, отказался платить налог, аррасский депутат с возмущением ответил, что «представители народа» не пишут писем, призывающих нарушать законы. Объяснив, что приведенный факт является клеветой, он вопрошал, как его корреспондент мог «дойти до того, чтобы приписать мне зажигательные призыва и изобразить меня, хотя бы и в моих собственных глазах... нарушителем общественного порядка, человеком, не исполняющим декретов Национального собрания, хотя, как вы сами заметили... я первый горячо отстаивал своевременную уплату налогов?» Каким образом в голове Робеспьера уживались трепет законопослушного гражданина и революционное сознание? Возможно, для него революция являлась прежде всего теорией, напряженной игрой ума, умением анализировать события и использовать их в своих целях, словом, политической интригой. И он посвятил себя ей целиком, без остатка, и, возможно, с искренней верой в то, что он говорил. «Его личная жизнь была столь правильна, столь проста, его привычки были так однообразны, что с того момента, как он ринулся в политику, все, что не касалось его деяний, попавших в историю, не имело большого значения», — писала Шарлотта Робеспьер. «Его частная жизнь

— только отражение его жизни политической». Иначе говоря: нет никакой жизни, кроме политики.

Однако в своих воспоминаниях некий Пьер Вилье, утверждавший, что во времена Учредительного собрания он в течение полугода работал у Робеспьера секретарем, написал, что тот содержал приходящую любовницу, скромную девушку, которая его обожала, хотя он и обходился с ней весьма сурово, а иногда даже запирали перед ее носом дверь. Впрочем, в последнее время историки склоняются к мысли, что рассказ Вилье вымышлен. Вопрос же об отношениях Робеспьера с прекрасным полом так и остался открытым, ибо бесспорных доказательств ни возвышенных любовных историй, каковым следует «золотая легенда», ни оргий в маленьких домиках, о каких пишут современники, пережившие террор, нет. Видимо, не было ни того ни другого, ибо выстраиваемый Робеспьером образ, поглощавший все его время, не предполагал никаких человеческих слабостей. Если и были страсти и сметение чувств, то они, не найдя выхода, сгорали втуне, порождая неудовлетворенность и беспокойство, отравлявшие сердце и душу, отчего строки правильных речей Робеспьера были лишены животворящей силы. «Ему никогда не были ведомы нежные, но непреодолимые порывы, потаенные и неотвязные телесные влечения, дающие жизнь гордым духовным страстям, происхождение которых подчас кажется столь высоким. Единственной причиной, побуждавшей его к действию, было смутное и тягостное беспокойство, плод его темперамента, и причину эту он таил в глубине души. Это беспокойство постоянно лишало его душевного мира и заставляло трудиться без отдыха. Оно непрерывно побуждало его искать не наслаждений, а спасения от себя самого, не привязанностей, а рассеяния... Неправда, будто он имел честь любить женщин; напротив того, он делал им честь, ненавидя их», — писал депутат Конвента, монтаньяр-термидорианец Мерлен из Тионвиля.

Разумеется, уединенная жизнь Робеспьера не имела ничего общего с отшельничеством: дома он бывал нечасто, проводя большую часть времени в Собрании или Якобинском клубе. Как он сам признавался, каждый раз на пути к трибуне его охватывал страх, но стоило ему начать говорить, как страх улетучивался, так что число его выступлений в Собрании стремительно возрастало: если в 1789 году он выступил 69 раз, то в 1790-м уже 130, а в 1791-м целых 328 раз. Как и прочие депутаты, он получал 18 ливров в день, из которых, как утверждают, одну треть тратил на любовницу, другую треть отсылал в Аррас брату и сестре, пребывавшим в «большом стеснении», а третью часть оставлял себе. Но так как печатать речи (он старался напечатать едва ли не каждое свое выступление)

приходилось за свой счет, средства, отправляемые в Аррас, были весьма скудными. Рассылая свои речи патриотическим организациям, он «ради общественной пользы» предлагал им распечатать их у себя, но при необходимости готов был прислать им едва ли не весь тираж; так он боролся со своими клеветниками в провинции.

Вместе с Петием и Бриссо Робеспьер присутствовал на церемонии венчания Камилла Демулена с очаровательной Люсиль. Свадьба была молодой и шумной, полные жизни и революционного задора гости веселились от души; ничто не предсказывало трагедии их дальнейшей судьбы. Робеспьер с улыбкой посещал дом молодых супругов, а когда у них родился сын, названный Горацием, он иногда сажал его себе на колени. Но время неумолимо, и через три года Камилл скажет: «По роковой случайности из шестидесяти революционеров, которые присутствовали у меня на свадьбе, у меня осталось только два друга: Дантон и Робеспьер. Остальные эмигрировали или гильотинированы». А вскоре он напишет свое последнее письмо, в котором назовет другом только Дантона; на долю же Робеспьера придется лишь часть строки: «...Робеспьер, подписавший приказ о моем аресте...»

Время от времени Робеспьер принимал приглашения на «патриотические обеды» своей восторженной почитательницы мадам де Шалабр, писавшей ему пылкие письма на политические темы, в которых она превозносила «неподражаемого» и «добродетельного» Робеспьера, чей «гений» был единственным «светочем надежды», способным «исцелить наши несчастья». В ответ кумир привычно посылал ей в подарок издания своих речей. (Когда после 9 термидора гражданку Шалабр арестовали, она отреклась от своего кумира, ее отпустили на свободу, и след ее затерялся. Есть основания полагать, что во время террора она исполняла роль осведомительницы в тайной полиции Робеспьера.) Что побуждало Робеспьера посещать салон экзальтированной аристократки, облачившейся в патриотические одежды? Вряд ли она была его любовницей, как предполагают некоторые биографы, скорее ее напыщенный стиль и откровенная лесть в речах и письмах тешили его тщеславие и удовлетворяли страсть к похвалам, которая с начала работы Генеральных штатов нечасто находила выход, но с появлением знатной почитательницы пробудилась с новой силой. «Не думайте, что вам придется скучать в праздной компании... только узкий круг друзей, и все добрые патриоты... Выберите день, который вам больше подойдет и наименьшим образом оторвет вас от ваших трудов...» — приглашала Робеспьера мадам Шалабр. В ее гостиной он утверждался в собственной значимости, ибо, когда он

начинал говорить, хозяйка и остальные гости, замерев, ловили каждое его слово.

Возможно, не увидев повышенного внимания к своей особе и оголтелой лести, Робеспьер быстро перестал отвечать на приглашения мадам Ролан, энтузиастки революции, общественной добродетели и свободы, собиравшей у себя в салоне весь цвет депутатского корпуса. Гости мадам Ролан не были готовы с замиранием сердца внимать Робеспьеру. И в доме «добродетельного» Петiona, долгое время следовавшего одной революционной стезей с Робеспьером, аррасский депутат тоже в основном молчал, предпочитая играть с собакой хозяина. Через некоторое время революционные пути Манон Ролан, Петiona и Робеспьера разойдутся: осенью 1793 года республиканка Ролан сложит голову на эшафоте, а республиканец Петion, скрываясь от якобинской полиции, погибнет от зубов лесных хищников.

Жонглируя словами, Робеспьер защищал «великое дело народа», но в то же время, по словам монтаньяра Мерлена из Тионвиля, «не внес ни единой строки в сорок томов законов». Когда зимой 1789/90 года волнения в деревнях вспыхнули с новой силой и многие депутаты стали требовать принятия жестких мер по отношению к поджигателям, Робеспьер выступил против каких-либо мер вовсе, ибо «народ скоро сам вернется под сень законов». «Не будем следовать ропоту тех, кто предпочитает свободное рабство свободе, обретенной ценою некоторых жертв, и кто непрестанно указывает нам на пламя нескольких горящих замков». «Применение военной силы против людей есть преступление, когда оно не является абсолютно необходимым... Национальное собрание, если оно не хочет нанести ущерба народному делу... должно приказать, чтобы муниципалитеты использовали все средства примирения, увещевания и разьяснения, прежде чем допустить применение военной силы...» С одной стороны, нельзя применять оружие против «граждан, обвиняемых в поджоге замков», а с другой — вроде как можно — после увещевания... И кто определит «абсолютную необходимость»? Впрочем, главные для трибун Собрания слова «Не клеветайте на народ!» звучали как приказ. Робеспьер буквально обожествлял народ, и люди, растроганные, внимали его словам.

Робеспьер выступал, спорил, предлагал: ратовал за равноправие цветных свободных людей в колониях, за безграничную свободу «часового свободы» — прессы, за реформу системы правосудия и армии, где все чаще происходили конфликты между солдатами и офицерами-аристократами; предложил начертать на триколоре национальных гвардейцев «Свобода,

равенство, братство». Три слова, постоянно витавшие в воздухе, а теперь поставленные друг за другом, внезапно обрели ритм и новое, поистине мистическое значение. Отныне они — девиз революции.

По убеждению историка А. Олара, Робеспьер времен Учредительного собрания — это человек будущего, ибо он один, или почти один, понял, что революция только начинается, и тех, кто выдвинулся на первом ее этапе, она в скором времени сметет со своего пути. И с этих пор, по словам Мишле, Робеспьер стал тем самым камнем преткновения, о который спотыкались все принимаемые Собранием решения, ибо он всегда говорил «нет», когда другие говорили «да». Тот редкий случай, когда Робеспьер вместе со всеми сказал «да», было принятие печально известного закона Ле Шапелле, запрещающего объединения рабочих, коллективные требования повышения оплаты труда, забастовки и прочие виды «сговора» рабочих. То есть законодательства исключительно антинародного и вполне конкретного, поставившего преграду (почти на 75 лет) на пути улучшений условий жизни для неуклонно увеличивавшегося класса рабочих, иначе говоря, малоимущих бедняков, «пассивных» граждан. Робеспьер заботился о политических правах народа; вопросы о хлебе насущном никогда не касались его лично и в его умозрительных конструкциях присутствовали априорно. Он выступал с трибуны Собрания и клуба, со страниц газет, но никогда непосредственно перед народом. Он не знал улицы, которая, мгновенно подхватив призыв к свободе и равенству, не могла столь же быстро избавиться от вековых привычек к насилию, унаследованных от старого порядка: на улице издавна казнили преступников и мятежников, сжигали еретиков и колдунов, вешали, пытали и колесовали, аристократы избивали лакеев, а подмастерья избивали кошек...

Когда в Собрании начались прения по вопросу — сохранить или нет смертную казнь в новом уголовном законодательстве, Робеспьер, поддержанный Дюпором и Петрионом, без колебаний предложил вычеркнуть из «кодекса французов... кровавые законы, предписывающие юридические убийства». Ибо «смертная казнь по существу несправедлива... и гораздо больше способствует умножению преступлений, чем их предупреждению». «Лишь тот, чей вечный глаз проникает вглубь сердец, может налагать неотменяемые кары. Вы, законодатели, не можете взять на себя эту грозную задачу без того, чтобы на вас легла ответственность за всю ту невинную кровь, которая будет пролита мечом законов... счастье общества не связано со смертной казнью». Произнося эти слова, Робеспьер, возможно, был искренен; во всяком случае, никто не предполагал, что через несколько лет в стране

начнется разгул узаконенного террора. Так когда же было брошено зерно, из которого вырастет закон 22 прериаля? Неужели летом 1789 года, когда Робеспьер оправдал убийство по «решению народа»?.. В результате дебатов Учредительное собрание постановило: «Смертная казнь будет заключаться в простом лишении жизни» посредством гильотины, «машины для казни», названной по имени ее изобретателя депутата доктора Жозефа Игнация Гильотена. Продукт рациональных технологий, обезличивавший преступников, сочли более гуманным, нежели топор палача.

«В борьбе, которую враги народа и свободы неустанно ведут против нас, меня всегда будет утешать сознание того, что я защищал свободу народа со всем рвением, на которое я только был способен. За ненависть, что питают ко мне аристократы, наградой мне служат выражения благосклонности, коей меня удостаивают все добрые граждане; недавно я получил подтверждение этого со стороны «Общества друзей конституции», объединяющего всех патриотически настроенных депутатов Национального собрания и наиболее знаменитых граждан столицы; они избрали меня председателем общества, к которому присоединяются патриоты из провинций для учреждения священной лиги против врагов свободы и родины», — писал Робеспьер Бюиссару.

31 марта 1790 года Робеспьера избрали очередным председателем Якобинского клуба. Это определенный успех, причем достигнутый в Париже, что, по словам М. Галло, для Максимилиана было крайне важно, ибо он опасался, что в случае, если ему вновь придется баллотироваться в родных краях, он может не найти там поддержки. «Знай же, мерзавец, что хотя ты и продолжаешь заседать в высочайшем Собрании, честные люди стыдятся сидеть рядом с тобой», — писал из Арраса некий адвокат, не пожелавший подписаться. Угроз и оскорблений из родного города поступало немало, а письма от Огюстена и Шарлотты лишь подтверждали опасения Робеспьера, что там ему далеко не все будут рады. Тогда он снова обратился к жителям провинции Артуа: «О добрый и великодушный народ! Остерегайтесь поддаваться клеветническим измышлениям окружающих вас гнусных льстецов, единственная цель которых... занять место прежней власти, угнетавшей вас... не заставляйте отчаиваться тех, кто и дальше станет мужественно бороться за ваше дело». На просьбу же Шарлотты найти в Париже «подходящее место» для нее и брата, который «здесь никогда ничего не достигнет», он не ответил. Но волнение сестры, похоже, оказалось излишним: вскоре Огюстен со товарищи учредил в Аррасе патриотический клуб, в сущности, филиал Якобинского клуба. «Объединившись, патриоты будут самой сильной партией», — писал

Огюстен брату.

Несмотря на монархические настроения большинства депутатов, Собрание упорно разбирало обломки феодализма. В январе 1790 года Робеспьер вновь потребовал освобождения узников, заточенных на основании писем с печатью, и полной отмены этих писем как наследия произвола деспотизма. Роялистские газеты, в которых все чаще появлялись нападки на Робеспьера, насмешливо вопрошали: не желает ли господин де Робеспьер освободить заодно и всех преступников и сумасшедших? Нападки роялистов способствовали росту популярности Робеспьера среди патриотически настроенных граждан. 16 марта Национальное собрание отменило письма с печатью, и арестованные на основании этих приказов были вольны «идти куда им угодно». В феврале 1790 года приняли декрет об отмене дворянских титулов, а затем и об отмене наследственного дворянства, равно как и рыцарских орденов, ливрей и гербов. Робеспьер убрал из своей фамилии частицу «де», став просто Максимилианом Робеспьером. В отличие от Лафайета и Мирабо: оба отбросили только титулы, хотя согласно декрету должны были бы именоваться фамильными именами Мотье и Рикетти. Началась очередная волна эмиграции: дворяне покидали Францию, возле ее границ множились отряды контрреволюционеров. Около трех сотен депутатов от первых двух сословий, сославшись на болезнь, отбыли из столицы. Младший брат короля граф д'Артуа, бежавший сразу же после взятия Бастилии в Турин, собирал вокруг себя эмигрантов, число которых достигло шестидесяти тысяч.

Поставленное перед необходимостью погасить государственный долг, Собрание конфисковало церковное имущество; оно поступило в «распоряжение нации», обязавшейся «подобающим образом заботиться о доставлении средств для надобностей богослужения, для содержания священнослужителей и вспомоществования бедным». На сумму, которую предполагалось выручить от продажи церковного имущества, выпустили так называемые ассигнаты, вскоре приравненные к бумажным деньгам; но по мере увеличения выпуска ассигнатов стоимость их падала, а со временем они окончательно обесценились. Венцом церковной политики Собрания стала принятая 12 июля Гражданская конституция духовенства, превратившая служителей культа в чиновников, находящихся на жалованье у государства. Священников обязали приносить присягу конституции, неприсягнувшие служители культа теряли право на работу и заботу государства. В результате ряды контрреволюционеров пополнились неприсягнувшими священниками, а раскол между городом и деревней стал

еще глубже, ибо крестьяне в большинстве своем не доверяли конституционным служителям культа.

Выступления Робеспьера по вопросам церковной реформы не слишком отличались от речей других депутатов-патриотов, призывавших покончить с привилегиями высшего духовенства и поддержать приходских священников, несущих народу поддержку и утешение. Единственный вопрос, в котором он оказался практически в одиночестве, — это предложение отменить целибат (обет безбрачия) церковнослужителей. Однако за стенами Собрания у Робеспьера нашлось множество сторонников, немедленно засыпавших его приветственными письмами. «Добропорядочные и мудрые люди во весь голос требуют дозволения священникам вступать в брак... ибо природа не допускает ущемления ее прав... употребите все ваши выдающиеся способности для того, чтобы отменить состояние, противное природе, политике и самой религии... Вся Европа будет вечно благословлять ваше имя», — писал Робеспьеру аббат Лефез. Кстати, в своем письме он впервые назвал Робеспьера «неподкупным». Восторги клириков, заваливших квартиру на улице Сентонж письмами с хвалебными виршами — французскими, латинскими, греческими и даже еврейскими, — имели и оборотную сторону. «Если ты и дальше будешь продвигать это предложение, ты потеряешь уважение крестьян. Оно обернется оружием против тебя; уже сейчас говорят о твоём безбожии», — писал брату из Арраса Огюстен Робеспьер. Декрет об отмене целибата будет принят с приходом к власти якобинцев, и им воспользуются около шести тысяч священников — как утверждают, потому, что на основании декрета женатый священник — даже неприсягнувший — считался «попутчиком революции», что спасало его от гонений.

Страну поделили на 83 департамента, иначе говоря, на примерно равные части, убрав прежнее деление на провинции; распустили провинциальные парламенты и приступили к проведению судебной реформы. Не обошли стороной и столицу: Париж был поделен на 48 секций. Секция, иначе говоря собрание сначала «активных», а потом просто граждан, осуществляла власть на местах, выдавала виды на жительство, делила граждан на пассивных и активных, затем стала выписывать свидетельства о благонадежности, а во время Террора выявлять подозрительных. В 1793 году в секциях будут созданы местные революционные комитеты. Относительно административного деления столицы Робеспьер, отстаивавший прежнее деление, сцепился с Мирабо, причем безосновательно, на что тот заметил: «Господин Робеспьер вынес на трибуну усердие более патриотическое, нежели обдуманное».

Какой бы вопрос ни поднимали депутаты, Робеспьер непременно брал слово. Когда обсуждали налоговую реформу, он связал ее с требованием отмены цензового голосования: «...пока налоги недостаточно единообразны и недостаточно мудро согласованы... до указанного времени все французы, уплачивающие какой-либо налог, сохраняют осуществление всей полноты политических прав и право допуска ко всем государственным должностям...» Все же разделение граждан на активных и пассивных было закреплено в конституции. «Аристократия богатых теперь освящена декретом Собрания», — писал Лустало. Робеспьер выступил за предоставление всей полноты гражданских прав изгоям общества — протестантам, евреям и актерам. «Вернем их в лоно счастья, отечества и добродетели, вернув им достоинство человека и гражданина!» — призвал он с трибуны Собрания. Просьба жителей папского Авиньона и Конта-Венессена (в 1309–1377 годах Авиньон являлся папской резиденцией; в 1348 году папа Климент VI выкупил город в собственность; после того как папы покинули город, им стал управлять папский легат) о присоединении к Франции дала ему очередной повод напомнить о правах граждан: «Кто может без возмущения слушать, как нам назойливо напоминают о правах и собственности папы? Праведное небо! Как может народ являться чьей-либо собственностью? Кощунственно даже произносить такие слова с трибуны Национального собрания!» Эта его речь была напечатана по приказу Собрания. Авиньонское Общество друзей конституции прислало Робеспьеру благодарственное письмо, на которое тот ответил: «Вы благодарите меня за то, что я выступил в поддержку жителей Авиньона. Это я должен благодарить судьбу за то, что она предоставила мне возможность выступить в их защиту. Каким бесчувственным должен быть тот, кто не возрадуется в сердце своем при одной только мысли, что он может быть полезен народу».

Неустанное восхваление народа и одновременно выставление себя едва ли не единственным его защитником делало свое дело: известность Робеспьера и его влияние в Собрании неуклонно возрастали. Его речь об организации Национальной гвардии снискала ему поддержку значительного числа депутатов и восторженные отклики из провинции. Робеспьер заявил, что «каждый гражданин, беден он или богат, имеет право записаться в Национальную гвардию во имя прав человека». Напомнив, что Национальная гвардия, родившаяся для защиты свободы от деспотизма, должна являться «противовесом армии», стоять на страже интересов народа и не испытывать влияния со стороны исполнительной власти, он сказал: «Народ требует лишь спокойствия, справедливости, права жить».

Интересы, желания народа, это интересы, желания природы, человечества; это общие интересы. Интересы тех, кто не народ, кто может отделиться от народа, — это интересы честолюбия и надменности». Дав право всем гражданам «выполнять функции национальных гвардейцев», «государство должно... платить им жалованье», дабы человек, который «недостаточно богат», мог жертвовать часть своего времени на гражданские обязанности. «Может ли быть более священный общественный расход?» Речь Робеспьера неоднократно прерывалась аплодисментами. И все же депутаты в массе своей были уверены, что, последовав предложению депутата из Арраса, они дадут оружие в руки проходимцам, а потому приняли решение исключить пассивных граждан из Национальной гвардии. Робеспьер попытался еще раз выступить по этому вопросу, но раздались протестующие крики, и он, развернувшись, произнес: «Любое требование, имеющее целью подавить мой голос, губительно для свободы». Сказано не больше и не меньше. Даже Мирабо и его соратники склонились перед холодной надменностью Робеспьера. У якобинцев речь снискала бурю восторгов; напечатанная и разосланная по провинциальным филиалам, она основательно подняла рейтинг «представителя народа» из Арраса.

Надо сказать, название «представитель народа» применительно к депутатам без различия сословий еще в начале заседаний Учредительного собрания предложил Мирабо, ибо, по его словам, оно привлечет народ, «внушительную массу», без которой депутаты будут «лишь индивидуумами, слабым тростником, который переломают стебель за стеблем». Робеспьер, без сомнения, слышал его речь и сделал из нее выводы. Но кого он сам подразумевал под словом «народ», словом, обладающим, по мнению Мирабо, множеством «различных значений»? Во время речи Робеспьера об организации Национальной гвардии один из депутатов выкрикнул: «А что этот господин понимает под словом «народ»? Я вот понимаю это слово как всеобщность граждан» (его мнение совпадало с мнением Мирабо). «Я сам возражаю против употребления слова «народ» в узком смысле», — ответил Робеспьер и тут же пояснил, что за неимением иных средств в языке в данной речи он обозначает им лиц, «коим запрещено ношение оружия». Идеальный образ народа, народа-суверена обретал у Робеспьера то одни, то другие черты в зависимости от политической конъюнктуры: это и «самая надежная опора свободы», и «род человеческий», и «трогательное и священное» имя. «Никто не может быть столь справедливым и столь добрым, как народ, когда он не раздражен эксцессами угнетения... он благодарен за малейшее проявление внимания к нему, за малейшее добро, которое ему делают, даже за зло, которое ему не

делают... именно в народе мы находим под наружностью, которую мы называем грубой, искренние и прямые души, здравый рассудок и энергию, которые бы мы долго и тщетно искали у класса, презирующего народ. Народ требует лишь необходимого, он требует только справедливости и покоя... Злоупотребления — дело и область богатых, они — бедствие для народа. Интерес народа — есть общий интерес, интерес богатых — есть частный интерес». То есть народ скорее беден, чем богат. В свое время умеренный член Конвента Дону выскажет сожаление, что Робеспьер «искажил значение слова «народ», приписав наименее образованной части общества свойства и права общества в целом».

Свой политический успех Робеспьер закрепил выступлениями в дебатах по докладу конституционной комиссии о праве подачи петиций. Согласно комиссии подавать петиции могли только активные граждане; коллективы, собрания «пассивных» граждан, такого права лишались. Считая право подачи петиций священным правом каждого человека, Робеспьер возмущенно задавал вопрос, как «можно в этом отношении проводить различие между гражданами активными и гражданами неактивными». «Я не снизойду до ответа на те инсинуации, посредством которых хотели заранее дискредитировать мое мнение. Нет, конечно, не для того, чтобы побуждать граждан к восстанию я выступаю здесь, а для того, чтобы защищать право людей... и я буду защищать всех, особенно наиболее бедных... Господа! Разве не следовало бы особенным образом обеспечить право петиции неактивным гражданам? Чем слабее и несчастнее человек, тем больше у него нужд, тем более ему необходимы просьбы! Неужели вы бы отказались принять петиции, которые вам будут представлены наиболее бедным классом граждан? Но ведь Бог терпит просьбы! Бог принимает пожелания не только самых несчастных, но даже самых грешных. А кто же вы? Разве вы не защитники бедных, разве вы не глашатаи законов вечного законодателя? Да, господа, только те законы мудры и справедливы, которые соответствуют законам человечности, справедливости, природы, продиктованным верховным законодателем. И если вы не глашатаи его законов, если ваши чувства не соответствуют их принципам, то вы уже не законодатели, вы, скорее, угнетатели народов». Речь Робеспьера то и дело прерывали аплодисменты, придавая ему уверенности в себе. Но, собственно, о чем его выступление? О сострадании к бедным и об исполнении повелений Верховного Существа, диктующего свои справедливые законы. Такая речь больше напоминала речь проповедника, но никто больше не кричал Робеспьеру «Долой проповеди!», а если кто-то и пытался сбить его с толку, он с достоинством отвечал: «Вы

можете соглашаться или не соглашаться с моими взглядами, но не имеете права предписывать мне, когда я должен начинать говорить, а когда заканчивать». Дебаты о праве подачи петиций завершились компромиссом: петиционеров обязали подписывать петиции, в том числе и коллективные.

Репутация Робеспьера как защитника народа, борца за народное дело постоянно укреплялась. Демулен называл его «нашим Аристидом»^[8], Марат, обычно никого не щадивший, — «достойным и неподкупным». А сам Робеспьер? Похвалы, которые он все чаще слышал и читал на страницах газет, должны были бы смягчить его характер, позволить вырваться из той башни, куда его загнали собственные комплексы. Но этого не произошло. «Он проявлял строгость, твердость принципов, нравов, жесткий характер, дух непримиримости, даже мрачность... Он был горд и завистлив, но справедлив и добродетелен», — писал о Робеспьере времен Конституанты будущий якобинец Дюбуа-Крансе.

14 июля 1790 года в Париже торжественно отпраздновали первую годовщину взятия Бастилии. В знак того, что все французы — братья, парижский муниципалитет пригласил в столицу делегатов из всех вновь созданных департаментов. Празднику дали название «день Федерации». На Марсовом поле соорудили гигантский амфитеатр, триумфальную арку и алтарь отечества, щедро украсив их трехцветными лентами. Во всех сердцах царил радость, пьянящее чувство свободы и единения, и даже сильный дождь, разразившийся в самый разгар торжества, не испортил никому настроение. Посланцы провинций с песнями и танцами возлагали цветы на алтарь отечества, а зрители на трибунах, стоя под разноцветными зонтиками, радостно их приветствовали. А когда Талейран, епископ Отенский, атеист и депутат, начал служить торжественную мессу, из-за туч выглянуло солнце. В его лучах, пронзавших разбежавшиеся тучи, Лафайет, а следом председатель Национального собрания принесли присягу на верность нации, закону и королю. Следом за председателем Собрания клятву повторяли депутаты. Король, украсив шляпу трехцветной кокардой, обязался употребить данную ему законами государства власть для соблюдения конституции. Франция была провозглашена конституционной монархией; редкие голоса республиканцев тонули в восторженном монархическом хоре. В те дни даже Марат писал: «Не знаю, заставят ли нас контрреволюционеры сменить форму правления, но сейчас я точно знаю, что ограниченная монархия подходит нам больше всего».

Интересно, о чем размышляли депутаты, желавшие «воцарения мудрой свободы и устранения злоупотреблений», глядя на новенькие, со сверкающими пуговицами мундиры национальных гвардейцев и пестрые

зонтики зрителей? Их свобода очевидно не была похожа на свободу Робеспьера: его Свобода — «это повиновение законам, которые мы сами себе диктуем», закон же, по словам Ромма^[9], являлся «государственной религией, у которой должны быть свои служители, свои апостолы, свои алтари и школы...». Если следовать Ромму, гражданская присяга, церемонии принятия которой торжественно проходили по стране, являлась своеобразным причащением к конституционным законам, а Декларация прав человека и гражданина выступала в роли своеобразных скрижалей, текст которых можно было найти практически в каждом помещении государственных служб. Алтари свободы, символический триколор... Новое общество вольно или невольно строилось по привычному образцу, а именно церковному устройству, что вполне соответствовало умонастроению Робеспьера. Восхваление честной бедности, противопоставленной эгоизму богатых, в речах Робеспьера напоминало проповедь на тему о верблюде, легко проходившем сквозь игольное ушко ^[10].

Но главное: революция, как и церковь, требовала от человека веры. И первым иерархом новой веры уверенно становился Робеспьер. 19 августа 1790 года он получил письмо из маленького городка Блеранкур: «К вам, кто поддерживает изнемогающую родину против потока деспотизма и интриг, к вам, которого я знаю только как Бога по его чудесам, я обращаюсь к вам с просьбой присоединиться ко мне для спасения моего несчастного края». Далее следовала просьба: сохранить жизненно необходимый городу рынок, который местная администрация решила перенести в соседний город. «Я не знаю вас, но вы — большой человек, вы не только депутат одной провинции, вы — депутат всего человечества и всего государства». Письмо это написал Сен-Жюст, в будущем самый идейно и духовно близкий соратник Робеспьера, пламенный революционер с холодной головой. (А если судить по воспоминаниям многих современников, то и с ледяным сердцем.) Столь восторженное послание не могло не польстить Робеспьеру.

Этим же летом у Робеспьера неожиданно появилась мысль оставить карьеру политика и вернуться в Артуа. В сентябре он написал Бюиссару, что охотно занял бы место судьи где-нибудь в Бетюне, но просил друга пока никого не посвящать в эти планы. Подобные размышления достаточно неожиданны, и остается предположить, что, неуверенный в повторном своем избрании, Робеспьер, как человек благоразумный, начал готовить пути отступления. Но еще через месяц жители Версаля избрали его председателем суда своего дистрикта, и он, видимо, перестал беспокоиться

за свою будущность. А в июне 1791 года парижские избиратели «без его ведома и несмотря на происки его врагов» выберут его общественным обвинителем парижского уголовного суда. «Сколь ни почетен такой выбор, я с ужасом думаю о тяжелых трудах, на которые этот важный пост меня обрекает в такое время, когда после длительных волнений мне необходим отдых... Но мне на долю выпала бурная судьба. Я буду плыть по течению до тех пор, пока не принесу последнюю жертву, какую смогу предложить отечеству», — писал он Бюиссару.

*Свечу в Аррасе мы нашли,
И факел из Прованса взяли.
Всю Францию они зажгли,
Но света очень мало дали*^[11].

Факел Прованса погас 2 апреля 1791 года: после тяжелой болезни скончался Мирабо, главный конкурент Робеспьера не только в Собрании, но и в Якобинском клубе. 4 апреля его с великими почестями и при огромном стечении народа похоронили в пантеоне. Потом всплывут доказательства продажности Мирабо и его сношения с двором, останки выкинут из пантеона, а на его место положат Марата... Но это потом. Пока же Собрание и парижане облачились в траур, и, возможно, только Робеспьер вздыхал с облегчением; некоторые утверждали, что после смерти «факела Прованса» он даже стал выше, увереннее в речах и движениях. Теперь на его пути к лидерству стоял лишь «триумвират», в котором, как ходил слух, Ламет думал, Барнав говорил, а Дюпор действовал. Свалить триумвират в одиночку не было никакой возможности. Тем более что выполнение основной задачи Учредительного собрания, а именно выработка конституции, подходило к концу. Предстояли новые выборы — в Законодательное собрание.

Завершалась первая революционная эпоха. Робеспьер с его острым чутьем политика или, как тогда говорили, «интригана» (сам Робеспьер всегда называл «интриганами» своих противников) сделал гениальный ход: 16 мая выступил с предложением принять декрет, запрещающий депутатам Учредительного собрания выставлять свои кандидатуры в Собрание законодательное. Ранее он уже добился принятия декрета о том, что ни один член Собрания в течение четырех лет со времени прекращения его мандата не может претендовать на министерскую должность. «Победоносные, но усталые атлеты, предоставим поприще свежим и

сильным борцам, которые постараются идти по нашим стопам под взорами внимательной нации... мы же... будем просвещать тех из наших сограждан, которые нуждаются в свете; мы будем распространять общественный дух, любовь к миру, порядку, законам и свободе», — говорил Робеспьер. И к удивлению многих, большинство, состоявшее из монархически настроенных депутатов, поддержало его — в надежде, что будущее Собрание, избавленное от влиятельных либеральных депутатов, восстановит монархию. Робеспьер же, расчищая политическое поле, одновременно стремился к оздоровлению Собрания, ибо считал, что народного представителя, постоянно продлевающего свой мандат, легче коррумтировать. Он предложил каждые два года полностью обновлять состав Собрания, а дабы народное представительство оставалось «священной миссией» и не превратилось в занятие для извлечения выгоды, полагал необходимым дозволить депутатам переизбираться на второй срок только после перерыва в одну легислатуру. В конце концов решили позволить избираться две легислатуры подряд.

Предложение о неперевыборности депутатов Конституанты прерывало политическую карьеру и самого Робеспьера. Но только на первый взгляд. У него оставалась трибуна Якобинского клуба, которая, принимая во внимание густую сеть провинциальных филиалов, являлась агитационной трибуной всей страны. У него были твердая репутация неподкупного народного защитника и должность общественного обвинителя парижского суда. Надо отметить, что трое других депутатов, также избранных в столичный уголовный суд, сразу от своих должностей отказались, при этом один из них открыто заявил, что его понятие о порядке не совпадает с этим понятием у господина Робеспьера. В результате председателем суда избрали Петиона, а секретарем — Бюзо. Но, главное, Робеспьер чувствовал, что грядут события: обстановка как в стране, так и на ее границах была далека от идеальной. В вопросе с крестьянскими повинностями по-прежнему не было ясности, что вызывало новые и новые крестьянские выступления. Упразднение цеховой системы способствовало росту производства, но тяжесть возложенного на мелких предпринимателей налогового бремени производство тормозила. Церковный раскол вносил смятение в умы. Народ, взявший Бастилию и буквально притащивший короля в Париж, не получил от революции практически ничего, о чем постоянно истерически напоминал в своей газете Марат, призывая народ сотнями рубить головы своих врагов во имя «покоя, свободы и счастья».

Центр эмиграции переместился в Кобленц, маленький городок в Трирском курфюршестве, неподалеку от границы с Францией. Граф

д'Артуа вместе с принцем Конде усиленно сколачивали коалицию европейских монархов для спасения монархии во Франции. Королю, личность которого объявили священной и неприкосновенной, выделили цивильный лист в 25 миллионов ливров, что позволяло двору плести интриги. Эмигрировавший сразу после 14 июля бывший премьер-министр барон де Бретейль в своих письмах уговаривал короля бежать из Франции. В Париж приходили все новые и новые известия о волнениях в армии. Указ 1781 года, закреплявший офицерские должности исключительно за представителями родового дворянства, был той бочкой с порохом, что, по словам Прюдома, «приведет к взрыву, который нужно предвидеть». Взрыв произошел, и кульминацией его стало выступление солдатских полков гарнизона Нанси, жестоко подавленное аристократом генералом Буйе. Но волнения не утихали; часть офицеров встала на сторону революции, часть была изгнана солдатами, а основной офицерский состав эмигрировал в Кобленц. Собранию пришлось признать за разночинцами право занимать офицерские должности. На юге страны, в Авиньоне и Конта-Венессене, шли кровавые столкновения между сторонниками и противниками присоединения к Франции; в Монтобанае восстали роялисты; в Ниме в результате столкновения протестантов с католиками погибло около четырехсот человек... Когда английский министр, либерал Чарлз Джеймс Фокс, произнес похвальное слово французской революции, публицист и консерватор Эдмунд Берк ответил: «Франция не республика; это темный гигантский и ужасный образ смерти с призрачной короной на призрачной голове, издающий рычание, подобное рычанию адских псов... Это бесформенное чудовище, порожденное хаосом и адом».

Возможно, королю изменившаяся страна виделась именно в подобном облике: он все больше чувствовал себя не повелителем, но пленником. Возможно, последней каплей стала неудавшаяся поездка на Пасху в Сен-Клу, когда толпа парижан не позволила королевскому экипажу покинуть Тюильри. И Людовик, которого супруга и находившийся в эмиграции барон де Бретейль давно убеждали бежать из Франции, наконец дал свое согласие. Начались тайные приготовления к бегству. Но тайное всегда становится явным. Слишком много слуг было задействовано: портной знал, что их величества шьют новую дорожную одежду, прачка нашла в кармане королевского фрака кусок уличающей записки... Подозрениями делились с Маратом, а тот в своей газете предупреждал парижан: «Вы глупцы, если допустите бегство королевской семьи».

20 июня 1791 года Робеспьер находился в Версале, где, выразив благодарность гражданам за доверие, отказался от должности судьи в связи

со своим избранием общественным обвинителем в Париже. Поздно вечером он возвратился домой, а наутро вместе со всеми парижанами узнал, что король с семьей бежал из города, оставив памятную записку, в которой излагал причины своего бегства. Собрание в полной растерянности заявило, что короля «похитили» заговорщики и предатели, ибо сам Людовик XVI никогда бы не решился на побег. В этом заявлении содержалась частица правды: Людовик, возможно, не согласился бы бежать, если бы не уговоры королевы, давно уже опасавшейся за свою жизнь и жизнь детей. Пытаясь найти компромисс и не покидать пределов страны, король пожелал направиться в Монмеди, а оттуда, под защитой полков, верных генералу Буйе, перебраться в укрепленный Мец, поближе к германской границе, дабы, надежно укрывшись за прочными стенами, начать переговоры с Собранием и народом.

Не разделяя позицию Собрания, Робеспьер произнес речь у якобинцев. «Бегство первого государственного должностного лица отнюдь не представляется мне бедственным событием. Этот день мог быть прекраснейшим днем революции; и он еще может стать таким. И наименьшим из благодеяний этого дня будет сбережение тех сорока миллионов, в которые нам обходится содержание королевской персоны», — заявил он. Главная опасность, по его мнению, заключалась даже не в угрозе, исходящей из-за границы («Если даже вся Европа объединится против нас, она будет побеждена»), а во внутренней контрреволюции: «... опоры, на которые он рассчитывает, чтобы торжественно вернуться, оставлены среди нас, в этой столице: иначе его бегство было бы слишком безумным. <...> Людовик XVI собственной рукой пишет, что... он совершает побег... Национальное собрание... притворно называет бегство короля похищением... Нужны ли вам другие доказательства, что Национальное собрание предает интересы нации?» Обозначив предателей и врагов, финальную четверть речи Робеспьер посвятил трагической декламации, относящейся к самому себе: «Клянусь, что то, что я только что сказал, во всех отношениях точная истина... Я знаю, что все эти истины не спасут нацию без чуда, совершенного провидением, которому угодно заботиться о гарантиях свободы лучше, чем это делают ваши начальники... Я вам все предсказал... я вам указал путь, по которому идут наши враги, и меня ни в чем нельзя будет упрекнуть. Я знаю, что... обвиняя, таким образом, почти всех моих коллег, членов Собрания, в том, что они контрреволюционеры... я возбуждаю против себя все самолюбия, оттачиваю против себя тысячу кинжалов, становлюсь мишенью ненависти и злобы. Я знаю, какую судьбу мне готовят. Но если еще в начале

революции, когда я был еле заметен в Национальном собрании, если даже тогда, когда я был там видим лишь моему сознанию, я решил принести свою жизнь в жертву истине, свободе и родине, то ныне, когда одобрение моих сограждан... благодарность и привязанность достаточно вознаградили меня за эту жертву, я приму почти за благодеяние смерть, которая не даст мне быть свидетелем бед, представляющихся мне неотвратимыми. Я здесь бросил обвинение всему Национальному собранию. Посмотрим, осмелится ли оно обвинить меня». Неудивительно, что столь экзальтированная концовка вызвала бурю эмоций: вскакивая с мест, якобинцы клялись жить свободными или умереть. А Демулен, рыдая, выкрикнул: «Мы умрем вперед тебя!» А когда эмоции прошли и Барнав заявил, что не следует «ставить заговор между тронem и народом», большинство членов клуба поддержали призыв «объединиться вокруг конституции» — в отличие от Клуба кордельеров, где тотчас составили петицию за отрешение от власти короля и установление республики. «Отныне Людовик XVI для нас ничто, если он не превратится в нашего врага. Мы теперь в таком же положении, в каком были при взятии Бастилии: свободные и без короля. Остается выяснить, стоит ли назначать другого».

Речь, произнесенная Робеспьером 21 июня у якобинцев, сделала его еще более популярным, а цветистый стиль и пророчества в духе Кассандры породили слух, что его хотят арестовать или даже убить. С точки зрения «рейтинга» цели он достиг, но по существу не предложил ничего — видимо, опасаясь, что любое предложение может быть воспринято как призыв к сопротивлению или восстанию. В отличие от своих союзников — Петиона, Грегуара, Бюзо — сам он отнюдь не ратовал за республику. Он выжидал, наблюдал, как разворачиваются события. Или, как пишут ряд биографов, обдумывал возможные варианты формы правления. Мадам Ролан, в чьей гостиной в те дни собирались политики левого толка, вспоминала, что в решающие минуты Робеспьер становился робким и нерешительным: «...но мне было жаль его. Природа создала его столь пугливым, что, как мне казалось, ему требовалось вдвое больше мужества, чтобы отстаивать достойные принципы».

В Собрании составили оправдательное письмо, в котором говорилось: «Король, введенный в заблуждение преступными внушениями, отдалился от Национального собрания. Сохраним же спокойствие. Национальное собрание — наш вождь, конституция — наш лозунг». Странники конституции, работа над которой подходила к концу, хотели, чтобы под ней стояла подпись короля — в надежде, что тогда ее признает за граница.

Народ же разбивал бюсты монарха, отовсюду вычеркивал его имя и распевал куплеты о толстяке, который собрался в поход, «но ему за это попадет». Из провинции приходили послания с требованием низложения Людовика XVI. Газета «Железные уста», издаваемая основателями народного «Социального кружка» епископом Фоше и журналистом Бонвилем, писала: «Не нужно больше ни королей, ни диктаторов, ни императоров, ни протекторов, ни регентов! Наш враг — это наш повелитель... Не надо Лафайета, не надо Орлеана! Закон, один лишь закон, и притом составленный всеми». Эгалитарист Шометт, принявший, следуя моде на античность, имя Анаксагор, заметил, что конституцию не надо даже сильно переделывать — всего лишь заменить монархический принцип на республиканский. На стороне республики выступил философ Кондорсе. Аббат Грегуар потребовал созыва Национального конвента, дабы узнать волю нации и судить Людовика XVI... Марат в исступлении призывал: «Граждане, друзья отечества, вы накануне своей гибели!.. Единственное средство уберечься от пропасти, на край которой вас увлекли ваши недостойные вожди, — назначить немедленно военного трибуна, верховного диктатора, чтобы прикончить всем известных главных изменников... отрубить головы министрам и их подчиненным... всем контрреволюционным членам муниципалитета, всем изменникам из Национального собрания. Трибун, военный трибун — или вы безнадежно погибнете!» Робеспьер выжидал.

22 июня пришло известие: благодаря бдительности почтмейстера Друэ королевская семья задержана в маленьком городке Варение и под конвоем отправлена обратно в Париж. Петион, Барнав и Латур-Мобур по поручению Собрания выехали ей навстречу. Беглого короля Париж встречал молча, не снимая шляп. Был издан приказ: «Тот, кто приветствует короля, будет бит; тот, кто станет его оскорблять, будет повешен». Людовика и его семью вновь водворили в Тюильри и вдвое увеличили количество охранявших их часовых. Фактически король находился под арестом, однако прямо об этом никто не говорил; напротив, его уверяли, что он свободен, но одновременно приказывали офицерам бдительно охранять его. «Что же, он узник или нет? Если узник, то к чему лгать? Если не узник, то зачем арестовывать его?» — вопрошал Бриссо. Желая сохранить монархию, большинство членов Собрания лихорадочно искали пути компромисса. Почитатели герцога Орлеанского вновь заговорили о регентстве. Глава кордельеров Дантон выступил у якобинцев и, сославшись на оставленное королем письмо, напомнил, что король обещал изыскать способы отмены конституции; если он не откажется от своих слов, он преступник, в противном же случае он

слабоумный и надо формировать опекунский совет. Сами кордельеры пошли дальше своего предводителя: они расклеили по городу афиши, в которых, называя короля клятвопреступником, предателем и неблагодарным, потребовали установить республику. Полиция арестовала расклейщиков. На следующий день кордельеры выпустили декларацию, в которой клялись поразить тиранов, если те осмелятся покушаться на свободу Франции.

Робеспьер пребывал в растерянности. Завоеванная репутация не позволяла ему поддерживать большинство в Собрании, равно как и вести дебаты с Бриссо или Кондорсе о преимуществах республиканского строя. «В Собрании меня обвинили в том, что я республиканец; но для меня это слишком много чести, ибо я не республиканец. Но если бы меня обвинили в том, что я монархист, мне нанесли бы оскорбление, ибо я никогда не был монархистом». Весьма двусмысленное утверждение, кое дополняет еще одно не менее противоречивое высказывание: «Пусть, если угодно, меня обвинят в республиканизме; я заявляю, что мне внушает отвращение любой образ правления, когда властвуют смутьяны». Странники «золотой» легенды считают, что в контексте бегства короля, когда большинство в Собрании стремилось снять с монарха все обвинения и пересмотреть конституцию, сделав ее еще более антидемократичной, Робеспьер полагал первейшей задачей не допустить ревизии конституции, а потому не ввязывался в дебаты о формах правления. Но скорее всего он вел себя как умудренный борьбой политик: занял выжидательную позицию, дабы посмотреть, куда подует ветер, на чьей стороне окажется сила. Впервые за время работы Собрания его не было слышно две недели подряд — с 26 июня по 14 июля.

В Собрании шли жаркие дебаты о неприкосновенности королевской персоны. Левые требовали лишить Людовика XVI короны и предать суду, ибо «не надо смешивать неприкосновенность с ненаказуемостью». Монархисты были готовы пожертвовать Людовиком, лишь бы сохранить в нерушимости трон с сидящей на нем фигурой монарха. Генерал Буйе в письме депутатам брал на себя всю ответственность за побег короля: «... я умолял его покинуть Париж и удалиться к границе, дабы верные мне войска могли защитить его. Одновременно я хотел приструнить народ, угрожая ему мстостью союзных европейских монархов в случае, если он посмеет покушаться на его жизнь или свободу...» Народ проклинал монарха-неудачника: «Людовик XVI — идиот, которого надобно сместить, чудовище, которое надобно удавить...»

Без сомнения, Робеспьер следил и за дебатами, и за обстановкой. 14

июля он выступил в Собрании с речью, направленной против ненаказуемости короля: «...Злодеяние, оставшееся безнаказанным на основании закона, является чудовищным, возмутительным преступлением против общественного порядка... А если преступление совершено первым государственным должностным лицом... я вижу два дополнительных основания для ужесточения наказания: во-первых, у виновника были священные обязательства перед отечеством, во-вторых, он наделен огромной властью, а потому вдвойне опасно оставить его проступки безнаказанными... Вы говорите, что король неприкосновенен; он не может быть наказан — таков закон... Но вы клеветаете сами на себя! Нет, вы бы никогда не приняли такого декрета, согласно которому один человек стоял бы выше всех законов и мог бы безнаказанно покушаться на свободу нации и самое ее существование... если бы вы осмелились издать подобный закон, французский народ не поверил бы вам или же всеобщим криком негодования напомнил бы вам, что суверен готов вступить в свои права!» В заключение оратор призвал не обрушивать кары на головы соучастников «преступления», кое «хотят предать забвению».

Речь произвела огромное впечатление на депутатов — возможно, потому, что слова «король» и «преступление» практически оказались в ней синонимами. Крайне правые даже называли Робеспьера сумасшедшим. Хотя конкретная часть выступления по обыкновению оказалась весьма расплывчатой: Собранию предлагалось посоветоваться с народом по поводу дальнейшего статуса короля. Подобная формулировка никак не могла призывать к каким-либо решительным действиям — в отличие от требования будущего жирондиста Жирей-Дюпре отдать Людовика под суд, который следует завершить не позже 30 августа. Видимо, не так уж не прав был депутат-монархист Малузэ, утверждавший, что смысл речей Робеспьера обычно содержался в начальных фразах, многословных и туманных, далее же шла «привычная галиматья, производившая впечатление». Сходным образом характеризует речи ораторов Якобинского клуба историк Ж. Ленотр: «Ум очень быстро утомляется этими длинными речами, очень громкими, очень напыщенными и очень пустыми», тем самым подтверждая, насколько важен был именно эмоциональный посыл речи, ее постоянные повторы, действовавшие словно заклинания. Для беспристрастного наблюдателя выступление Робеспьера означало, что депутат из Арраса, не зная, куда повернутся события, по-прежнему держался в стороне от противоборствующих сил, но в то же время поддерживал народное возмущение, вызванное бегством короля.

Разрешить политический кризис попытался Барнав, который после

возвращения королевской семьи в Париж все дальше отходил от левого крыла, постепенно перемещаясь в стан сторонников монархии. 15 июля он выступил с речью, призывавшей завершить революцию, ибо она уже разрушила все то, что следовало разрушить, и дошла до предела, на котором надо остановиться: «Революция не может сделать больше ни шага, не подвергаясь опасности. Если на пути свободы следующим действием будет упразднение королевской власти, то на пути равенства первым действием, которое могло бы последовать, было бы покушение на собственность... Завершение революции в общих интересах», — подвел он итог. В результате Собрание постановило арестовать лиц, сопровождавших короля во время бегства; особа же короля, как и прежде, признавалась неприкосновенной. Следовательно, все призывы к суду над монархом, равно как и к изменению государственного устройства становились незаконными.

Вечером в Якобинском клубе республиканцы начали собирать подписи под петицией с требованием к Национальному собранию, чтобы оно «именем нации приняло отречение, заявленное 21 июня Людовиком XVI, и озабочилось замещением его всеми конституционными средствами». Несмотря на колебания, Робеспьер с петицией согласился, ибо в ней требовали не провозглашения республики, а всего лишь отречения короля и назначения ему преемника согласно законной процедуре. Орлеанисты втайне ликовали — подобное решение открывало путь к установлению регентства. Однако уже на следующий день Собрание постановило, что, признав конституцию, король вновь обретет всю полноту власти. После такого уточнения любая манифестация за отстранение Людовика от власти и смену формы правления становилась незаконной. Хотя, как заметил Грегуар, «король конституцию примет, присягнет и не сдержит слова». Робеспьер же, узнав о постановлении и увидев вечером у якобинцев в напечатанном тексте отсутствие слов о «замещении конституционными средствами», заявил, что будет повиноваться закону, и тотчас настолько запугал членов клуба, поведав им «ужасную правду» о зловещих умыслах Собрания, что те согласились с его предложением отозвать петицию. «Меня не пугают слова «король» и «монархия», — заявил он. — Когда правит закон, а не люди, свободе бояться нечего».

Но народные общества и кордельеры, равно как и парижане, отказываясь от петиции за установление республики не собирались и утром 17 июля отправились на Марсово поле. Там, на алтаре отечества, где 14 июля епископ Парижа отслужил торжественную мессу в честь второй годовщины взятия Бастилии, начался сбор подписей. Следует отметить, что

ни Дантона, ни Демулена, ни Марата на Марсовом поле не было, от общества кордельеров там присутствовали те, кому еще предстояло выдвинуться в революции: Шометт, Моморо, Анрио, Венсан. Робеспьер в это время находился на улице Сент-Оноре в Якобинском клубе. Гонец, отправленный из клуба на Марсово поле, дабы сообщить, что якобинцы отзывают свое согласие примкнуть к петиционерам, положения дел не изменил, тем более что согласно закону делегация граждан за день явилась в муниципалитет предупредить о предстоящем собрании и получила на то разрешение.

Народ валом валил на Марсово поле, начиналась толчея и неразбериха. Под алтарем отечества случайно обнаружили каких-то двух бродяг, занесенных туда несчастливым ветром, и, посчитав их за шпионов, немедленно с ними расправились. Потом, как повелось с начала революции, отправились носить их головы по улицам. Когда известие о двух убийствах дошло до Собрания и муниципалитета, жертвы уже именовались национальными гвардейцами. Основания для применения закона о военном положении сами шли в руки депутатов. На разгон манифестантов отправили части Национальной гвардии под командованием Лафайета, который, выкинув красный флаг, трижды велел собравшимся разойтись. Никто не подчинился, и когда в гвардейцев полетели палки и разный мусор, раздался приказ открыть огонь. Люди бросились бежать, началась давка; не обошлось без жертв, точное число которых неизвестно: одни пишут пять десятков, другие — шесть сотен и множество раненых. Возвращаясь с Марсова поля, гвардейцы едва не разгромили Якобинский клуб: офицерам стоило большого труда сдержать их. Прошел слух, что всех видных патриотов хотят арестовать и заточить в тюрьму. Дантон покинул Париж, Демулен и Фабр д'Эглантин скрывались у друзей, Марат исчез, а его типографию разгромили. Трагическое завершение Вареннского кризиса сулило новые потрясения. Впоследствии многие говорили, что если бы королю дали возможность бежать, сразу провозгласили бы республику и не было бы ни сентябрьской резни, ни террора... Но это из сферы гипотез.

Робеспьеру, обладавшему депутатской неприкосновенностью, арест не грозил, но его политическая карьера оказалась под угрозой. Он всегда соблюдал законы, а сейчас требования народа шли вразрез с почти уже принятой конституцией. Как сохранить репутацию защитника народных интересов, не нарушая законности и порядка? В новое Законодательное собрание он по своему собственному предложению переизбран быть не мог, значит, только популярность в самых широких, иначе говоря —

народных, слоях могла сохранить его политический авторитет до той поры, когда очередной поворот событий вновь вознесет его на законодательную вершину. В том, что поворот непременно произойдет, он не сомневался.

Тревожным вечером 17 июля Робеспьер нашел пристанище в доме 53-летнего столяра Мориса Дюпле, члена Якобинского клуба, и остался там навсегда. Недолгое навсегда... Как это случилось? Кто-то пишет, будто Робеспьер столкнулся с Дюпле, возвращаясь с Марсова поля, что весьма сомнительно, так как не в привычках депутата из Арраса было принимать участие в народных выступлениях. Кто-то предполагает, что, оставшись в опустевшем клубе с немногими из соратников, Робеспьер опасался идти домой по улицам, где разъезжали вооруженные национальные гвардейцы, и с радостью принял приглашение столяра. Кто-то утверждает, что Робеспьер, вынужденный выйти на улицу, оказался в кольце толпы, которая бурно его приветствовала. И тогда, как всегда, когда ему приходилось сталкиваться с улицей, с живым разношерстным народом, его охватил страх. Постоянно говоря о готовности пожертвовать собой ради свободы народа, он испытывал ужас от физического соприкосновения со множеством рук, спин, локтей, от того, что кто-то нечаянно задел его напудренный парик... Не зная, что сказать, куда идти, он стоял в растерянности, и когда какой-то почтенного вида гражданин предложил зайти к нему в дом, дабы переждать, пока напряженность в городе спадет и толпа рассеется, он вцепился в его рукав и последовал за ним, не видя и не слыша ничего вокруг. К счастью, идти пришлось всего пару шагов — спаситель жил на улице Сент-Оноре, в доме под номером 366 (сегодня это номер 398).

Что побудило отца четверых дочерей и сына, хозяина столярной мастерской с годовым доходом 15 тысяч ливров, владельца трех доходных домов — иными словами, зажиточного горожанина, поддержавшего революцию и получившего от нее немалые выгоды, — пригласить под свой кров известного депутата? Предполагают, что Дюпле, как и другие члены Якобинского клуба, благоговел перед Робеспьером и согласие «великого человека» жить под крышей его вполне буржуазного дома воспринял как великую честь. Многие пишут, что отошедшему от активных дел Дюпле хотелось «стать чем-нибудь» и этим «чем-нибудь» явились отблески славы Робеспьера. Есть мнение, что Дюпле двигал прагматизм: желая обеспечить будущее детям, он был не прочь воспользоваться все громче звучащим именем, чтобы получать выгодные подряды на крупные столярные работы. К тому же в семье были три дочери на выданье (четвертая уже вышла

замуж и покинула родительский кров), и Робеспьер вполне мог рассматриваться как кандидат в женихи. Но основная причина, скорее всего, заключалась в том, что Робеспьер, оказывавший, по мнению Амеля, поистине гипнотическое влияние на женщин, буквально заморозил властную и энергичную мадам Дюпле. В доме царил матриархат, и месье Дюпле оставалось только соглашаться с мадам Дюпле и тремя дочерьми. Сын Дюпле, двенадцатилетний Жак Морис, которого Робеспьер ласково именовал «нашим маленьким патриотом», в счет не шел.

Возможно, здесь уместно вспомнить, что писали о влиянии Робеспьера на женщин — в частности, брата Гонкур: «Робеспьер обладал целомудренным темпераментом, но был либертен по воображению. Взгляды женщин ласкали его чувства тирана. Не доверяя их таинственному влиянию, он пытался подчинить его себе. Ему нравилось привлекать их к себе; с ними голос его, от природы визгливый и скрипучий, смягчался... Не обладая очарованием, этот человек зарождал в душах многих женщин... чувство, напоминавшее скорее преданность или поклонение, но никак не любовь». Из современников Робеспьера одним из первых это влияние подметил Камилл Демулен, поместивший в одном из номеров своей газеты «Революции Франции и Брабанта» восторженное обращение некой гражданки к своему кумиру: «Робеспьер! Свободные гражданки воздают тебе почести, коими обязана окружить тебя Франция. Наш пол и мирные занятия удерживают нас вдали от интриг, что готовят лавры пороку и точат кинжалы клеветы, дабы обратить их против добродетели. Среди всеобщей развращенности ты всегда оставался незыблемым столпом истины. Народ, которому ты посвятил свою жизнь, которому ты с радостью принес в жертву свой покой и свои виды на будущее, народ, благодетелем и другом которого ты с гордостью мечтал стать, народ, из-за любви к которому ты подвергался преследованиям и нападкам клеветников, этот народ с благоговением произносит твое имя. Ты его ангел-хранитель, его надежда и утешение. Твои алтари воздвигнуты в сердцах всех честных граждан». Вот такая пылкая любовь... Женщины были и среди агентов полиции Робеспьера: одна из них — уже упомянутая выше мадам Шалабр, поклонявшаяся Максимилиану словно божеству, другая — гражданка Лазодрэ, о которой упоминает в письме брату Огюстен Робеспьер; другие... все имена не сохранились. Возможно, этими гражданками двигала не только любовь к свободе. 22-летняя гражданка Жакен, вдова из Нанта, в письме предлагала Робеспьеру руку, сердце и 40 тысяч ливров годового дохода. Эксцентричная англичанка Тиман Шефен пыталась

убедить Робеспьера принять от нее в дар значительную сумму, а когда он резко отказался, написала в ответ: «Французы всегда славилась снисходительным отношением к слабому полу. Горе нам, если революция лишила нас этой бесценной привилегии». ореол мрачной мистики, которым любил окутывать себя Робеспьер, его покрытая мраком частная жизнь возбуждали женское воображение; женщины были самыми восторженными слушательницами его речей.

Что побудило Робеспьера принять предложение Дюпле? Шарлотта объясняет его согласие следующим образом: «Он переночевал у Дюпле и оставался там несколько дней. Жена Дюпле и его дочери выказывали ему большое внимание и окружали его тщательным уходом. Он был чрезвычайно чувствителен к подобному обращению. Ведь я и мои тетки избаловали его всякого рода знаками внимания, на что способны только женщины. Пусть подумают, какую перемену он должен был почувствовать, попав сразу из лона семьи, где о нем нежно заботились, в свою собственную квартиру на улице Сентонж, где он был одинок. Предупредительность к нему со стороны семьи Дюпле напомнила ему наши заботы о нем и еще больше дала почувствовать пустоту и одиночество квартиры, которую он занимал в квартале Марэ. Дюпле предложил ему переехать к ним и быть их нахлебником и гостем. Максимилиану это предложение было очень приятно, к тому же он никогда не умел никому отказывать, боясь обидеть; он принял это предложение и поселился в семье Дюпле».

Кроме воспоминаний Шарлотты, которые, как известно, далеко не во всем точны, скупые свидетельства о жизни Робеспьера в доме Дюпле оставила младшая дочь столяра Элизабет, которая в 1793 году вышла замуж за комиссара Конвента Филиппа Леба, ставшего преданным соратником Робеспьера. На основании свидетельств этих двух женщин приходят к выводу, что в доме Дюпле Максимилиан наконец обрел полноценную семью, отсутствие которой угнетало его с самого детства: мадам Дюпле относилась к нему как к сыну, а сестры Дюпле — как к старшему брату. Но это семья выдуманная, семья, где он исполнял одновременно роль и любимого чада, и почитаемого отца семейства, не неся при этом никакой ответственности. Дюпле поистине благоговели перед своим знаменитым гостем и наперебой оказывали ему всевозможные услуги; их обожание кружило ему голову. Морис Дюпле — выходец из народа, но нажитое за 40 лет упорного труда благосостояние позволило ему дать образование детям и обустроить дом, где не было бытовой грязи и неудобств, этих

непременных спутников повседневной жизни простонародья. Живя под кровом Дюпле, Максимилиан полагал, что живет среди того самого народа, чьи интересы он неустанно защищал уже два года. Иллюзию подкрепляли визг пил и запах древесной стружки: во дворе под навесом работали столяры, нанятые Дюпле. Именно таким видел в своем воображении народ Робеспьер: скромный честный труженик с достатком, позволяющим удовлетворять разумные потребности; ни о бедности, ни о нищете речи нет. Мадам Дюпле следила за тем, чтобы на столе у Максимилиана всегда были его любимые апельсины; вместе с добровольными телохранителями она оберегала его покой, не пропуская к нему «лишних» посетителей. Племянник Дюпле Симон, вернувшийся без ноги после сражения при Вальми, исполнял при Максимилиане должность секретаря. Дом Дюпле стал для Робеспьера настоящей крепостью, ограждавшей от тревог повседневности; возможно, в этой крепости ему было легче нести бремя собственного «печального, подозрительного, пугливого, трудолюбивого, мстительного и властного» характера.

Дюпле разместил Робеспьера на втором этаже маленького флигеля с отдельной лестницей, выходящей во внутренний двор, куда попасть можно было, лишь пройдя через хозяйскую столовую, ставшую своеобразным фильтром посетителей великого человека. В уютной комнате, служившей и спальней, и рабочим кабинетом, стояла кровать, покрытая голубой с белыми цветочками материей, некогда бывшей платьем мадам Дюпле, на деревянных полках, развешанных вдоль стен, скапливались написанные убористым почерком речи и выступления Робеспьера. Там же стояли его любимые книги, а на рабочем столе лежал раскрытый томик Руссо и стояла ваза со свежими цветами, которые женщины семейства Дюпле не забывали обновлять. Как пишет Мишле, мадам Дюпле заботливо разместила на стенах изображения своего кумира, и куда бы он ни поворачивал голову, взор его непременно видел самого себя: Робеспьер, Робеспьер, еще раз Робеспьер, все время Робеспьер... Строки Мишле созвучны воспоминаниям жирондиста Барбару, в которых фигурирует «очаровательный будуар, где повсюду его изображение, воспроизведенное всеми возможными способами, доступными искусству», и мемуарам жирондиста Ла Ревельер-Лепо, описавшего гостиную, заставленную бюстиками Робеспьера и увешанную его портретами. Но многие историки сомневаются в достоверности подобных воспоминаний и полагают, что стены комнаты Робеспьера украшал всего один его портрет (впоследствии исчезнувший), а в гостиной Дюпле стоял всего один его бюст. Термидорианцы же в своих рассказах превращают дом Дюпле в

вертеп, где в комнатах именитого жильца, обставленных с невероятной роскошью, за закрытыми дверями происходили оргии, в которых участвовали мадам Дюпле и ее дочь Элеонора.

Семейство Дюпле вряд ли состояло из «кровопийц» и приспешников «чудовища». Именитый жилец не принес счастья семье своего квартирного хозяина. К началу 1793 года принадлежавшие Дюпле дома опустели: никто не хотел снимать в них квартиры. (Ряд биографов пишут, что один из домов отошел чете Леба.) Правительственные заказы оплачивались ассигнатами, которые стремительно обесценивались, а так как почтенный подрядчик привык честно расплачиваться за работу, ему пришлось продать все три дома. В разгар террора ворота дома мазали бычьей кровью. С подачи Робеспьера Дюпле выбрали в присяжные революционного трибунала, но он делал все возможное, чтобы появляться на заседаниях как можно реже. Говорили, что Робеспьер пытался через него влиять на голосование, хотя Леба опровергал этот слух. После 9 термидора всю семью Дюпле арестовали, но вскоре отпустили на свободу — кроме мадам Дюпле: ее нашли повешенной в камере, и никто не смог сказать, убийство это или же она сама лишила себя жизни. Если предположить, что она от отчаяния решилась на такой поступок, то, возможно, утверждение некоторых авторов, что она любила Робеспьера не только как сына, имеет под собой основание... Истины не узнает никто.

Столь же запутана и навсегда окутана туманом предположений история отношений старшей дочери Дюпле Элеоноры и Максимилиана Робеспьера. Ее называли невестой Робеспьера, а после его гибели она назвала себя его вдовой и до конца жизни носила траур. Семья Дюпле намекала, что их дочь Элеонора удостоилась внимания знаменитого жильца. Была ли это любовь? Всегда тщательно одетый, окруженный всеобщим поклонением, звезда политического небосклона, Максимилиан не мог не произвести впечатления на Элеонору. Но, например, Ленотр, отказывавший Элеоноре в женской привлекательности, считал, что «ею владело гордое желание чувствовать себя избранницей человека, одно имя которого наводило трепет на всю Францию». Элизабет Леба, напротив, утверждала, что Элеонора питала симпатию к Робеспьеру и тот, в свою очередь, не мог не воздать должное серьезной и добродетельной девушке, подобных которой следовало искать лишь «в прекрасных временах античных республик». Термидорианец Жоашен Вилат писал, что Элеонора не только была женой Робеспьера, но и имела на него влияние. А Жозеф Су-бербьель, личный врач Робеспьера и свой человек в доме Дюпле, утверждал, что Элеонора и Максимилиан любили друг друга, однако нравы

их были чисты. Робеспьер даже останавливал разговор, если тот принимал фривольный характер. Одни современники писали, что Элеонора была любовницей Робеспьера, другие, ссылаясь на Сен-Жюста, утверждали, что они заключили тайный брак. Шарлотта опровергает и первых, и вторых: «Об Элеоноре Дюпле существует два мнения: одно — что она была возлюбленной Робеспьера-старшего, другое — что она была его невестой. Я считаю, что оба эти мнения были одинаково неправильны, но я уверена в том, что мадам Дюпле жаждала иметь моего старшего брата своим зятем и не скупилась ни на ласки, ни на обольщения, чтобы заставить его жениться на своей дочери... Но мог ли мой старший брат, постоянно загруженный делами и работой, поглощенный своими обязанностями члена Комитета общественного спасения, мог ли он думать о любви и женитьбе?.. К тому же он не испытывал к Элеоноре никакого влечения... По одной фразе, которую при мне Максимилиан сказал Огюстену, можно судить, насколько он был расположен сочетаться браком со старшей дочерью мадам Дюпле: «Тебе бы следовало жениться на Элеоноре». — «О, нет!» — ответил мой младший брат».

Бесспорно, семья Дюпле и мадам Дюпле в частности оказали немалое влияние на состояние духа Робеспьера. По словам Фрерона, Робеспьер, проживая в доме Юмбера на улице Сентонж, не платил владельцу ни за кров, ни за пищу, ни за дрова, полагая, что одним своим присутствием оказывает его дому большую честь. Но тогда он был доступен для своих коллег. Когда же «он поселился у Дюпле, то постепенно стал невидимкой; его оградили от общества, его споили, его погубили, постоянно возбуждая его гордыню». Насколько можно доверять словам Фрерона? Фрерон заседал в Конвенте вместе с Робеспьером, числился среди его сторонников, но в списке приближенных и друзей, приходивших «на четверги» в гостиную мадам Дюпле, имени Фрерона нет, равно как нет его имени и среди близких, которые могли прийти к Робеспьеру в любое время (Сен-Жюст, Леба и его сестра Анриетта, Кутон, художник Давид, революционер Буонаротти, сестра Максимилиана Шарлотта). По свидетельству Элизабет Леба, на «четвергах» музицировали, читали вслух пьесы Расина и Корнеля, но не разговаривали о том, что происходило за стенами дома. По словам Буонаротти, за три года, проведенные под крышей Дюпле, Робеспьер раз шесть обедал вне дома, несколько раз водил мадам Дюпле с дочерьми в театр. Но чаще всего, взяв с собой любимого датского дога Брунта, по вечерам отправлялся гулять на Елисейские Поля или в пригороды Парижа. Робеспьера всегда сопровождали (некоторые говорили, что незаметно) двое добровольных охранников — слесарь Дидье и печатник Леопольд Николя.

По воскресеньям все семейство Дюпле вместе с грозным жильцом совершало загородные прогулки в леса Версаля или Исси. Согласно воспоминаниям Элизабет, в лоне почтенного патриархального семейства Дюпле Робеспьер наслаждался тихой добропорядочной жизнью. Согласно Фрерону, в семействе Дюпле ему постоянно курили фимиам, отчего он окончательно утратил чувство реальности и вместо государства народного суверенитета стал строить град добродетели.

О добровольном затворничестве Робеспьера в доме Дюпле свидетельствует конфликт его сестры с мадам Дюпле, в котором он принял сторону своей квартирной хозяйки. Обустроившись в доме Дюпле, он спустя время вызвал к себе из Арраса сестру и брата. Шарлотта тотчас стала ссориться с мадам Дюпле, ибо та, по ее мнению, окружала брата «назойливыми заботами». Желая вернуть брату самостоятельность в повседневной жизни, Шарлотта сняла квартиру на улице Сен-Флорантен и с превеликим трудом уговорила брата переехать туда. «Мы с братом жили некоторое время одни, как вдруг Максимилиан заболел... Я постоянно дежурила при нем. Когда ему стало легче, к нему в гости пришла мадам Дюпле», — писала Шарлотта. Наговорив Шарлотте много неприятного, мадам Дюпле заявила, что в ее семье уход за Максимилианом будет гораздо лучше, и стала уговаривать его вернуться. Уговоры мадам Дюпле оказались сильнее уговоров сестры, и Робеспьер последовал за своей домоправительницей. «Они меня так любят, они так внимательны, так добры ко мне, что с моей стороны было бы неблагодарностью оттолкнуть их», — сказал сестре Робеспьер. В этом конфликте Робеспьер несколько не похож на несгибаемого борца. Возможно, Шарлотта была права, когда писала о старшем брате: «Характер Максимилиана легко поддавался намерениям мадам Дюпле; он позволял руководить собой, как ей было угодно; этот человек, столь энергичный во главе правительства, в своей личной жизни подчинялся, так сказать, воле других». Оценка Шарлотты в чем-то перекликается с оценкой философа Кондорсе: «Робеспьер проповедует, Робеспьер порицает, он то гневен, то спокоен, то меланхоличен, то экзальтирован; он внимательно следит за своими мыслями и поступками; он громит богатых и знатных, он живет малым и не знает физических потребностей. У него все характерные черты не главы религии, а главы секты. Робеспьер создал себе репутацию строгости нравов, граничащей со святостью. Он говорит о Боге и Провидении, он выставляет себя другом бедных и слабых, за ним следуют женщины и люди неразумные, он с важностью принимает их обожание и знаки их преклонения. Робеспьер — священник и всегда будет только

священником».

Обосновавшись в доме Дюпле, где согласно «золотой» легенде царила суровая простота, а согласно «черной» — неумеренная роскошь, Робеспьер целиком отдался политической борьбе: впереди выборы, в Собрание придут новые лица, а свое лидерство он не собирался уступать никому. Расстрел на Марсовом поле расколол Якобинский клуб. Конституционалисты, безоговорочно поддерживавшие конституцию, ограждавшую от неприятностей ограниченного в правах монарха, покинули клуб и создали свое собственное Общество друзей конституции, получившее известность под названием Клуб фельянов, ибо заседания проходили в бывшем монастыре фельянтинцев. Одним из лидеров нового клуба стал Барнав. В стенах Якобинского клуба остался едва ли десяток депутатов во главе с Робеспьером и Петионом; в провинциальных филиалах также начались разброд и шатания. Понимая, что на время новой легислатуры Якобинский клуб остается его единственной трибуной, Робеспьер знал, что нельзя ни допустить его развала, ни утратить влияние на провинциальные филиалы. Поэтому уже 18 июля при поддержке Грегуара и Редерера Робеспьер направил Национальному собранию адрес, в котором якобинцы заверяли депутатов в своей верности Конституции, Отечеству и Свободе, равно как и в глубоком своем уважении всему депутатскому корпусу: «Мы отнюдь не мятежники, ибо тщетно усилие связать идею преступления с любовью к свободе, чистейшей и величайшей из добродетелей... Народные представители, ваша мудрость, ваша твердость, ваша бдительность, ваша внепартийная и неподкупная справедливость могут даровать Франции и вселенной свободу — высшее из всех благ. Уважение к Собранию народных представителей, верность конституции, безграничная преданность отечеству и свободе — вот священный девиз, который должен привлечь к нам сердца всех добрых граждан». Адрес разослали всем депутатам и во все провинциальные отделения клуба. Написанный исключительно в примирительном тоне, без нападок на Собрание, коими в последнее время отличались речи Робеспьера, вовремя опубликованный адрес вернул часть депутатов в лоно якобинцев. Но для Робеспьера коллективного адреса было недостаточно, и он, уйдя с головой в работу, через несколько дней издал «Обращение Максимилиана Робеспьера к французам». В нем он снова оправдывался перед властями, отвергая обвинения в неповиновении закону, и нападал на своих врагов (они же враги народа и свободы): «Меня заставляют защищать одновременно и мою честь, и мое отечество. Я исполню эту

двойную обязанность. Я благодарю своих клеветников за то, что они возложили ее на меня. Они тайно объявили меня заговорщиком и врагом конституции во всех уголках страны. Но меня преследуют не слабые противники, не простые клеветники, это заговор, который льстит себе надеждой, что расположился в самом центре Национального собрания и считает себя самой могущественной силой в государстве; они нападают не на меня, они нападают на мои принципы, хотят задушить волю народа, подавляя его защитников». В заключение он призвал всех, кому дорога Республика, сделать правильный выбор и направить в Законодательное собрание «истинных друзей народа»: «Если в стенах Собрания окажется хотя бы с десяток людей с твердым характером, сознающих достоинство и величие порученной им миссии, людей, готовых безоговорочно выступить на защиту свободы и, если потребуется, погибнуть за нее, свобода будет спасена». Исключив себя из предвыборной борьбы, Робеспьер намеревался пребывать над схваткой, дабы в нужную минуту поддержать правильную сторону.

«Обращение к французам» давало убедительный пример словесной эквилибристики, суть которой сводилась к воспеванию свободы, восхвалению народа и призыва дать отпор заговорщикам, злоумышляющим против его истинных защитников, то есть Робеспьера. Но о том, кто эти враги, что в лоне Собрания строят козни против народа и его избранников, он не говорил, ибо еще не определил свою позицию. Однако пафос «Обращения» как нельзя лучше соответствовал общественному подъему, охватившему Францию, и вызвал небывалый отклик.

Епископ Буржа назвал Робеспьера «бессмертным защитником прав народа». Общество друзей конституции города Нанта постановило напечатать дополнительно две тысячи экземпляров «Обращения». «Обращение» еще больше подняло авторитет Неподкупного в глазах французов и заставило призадуматься его противников в Собрании. Впрочем, работа Учредительного собрания подходила к концу, и утомленные двумя годами беспрестанной борьбы депутаты все чаще пропускали заседания. Конституция была составлена, прошло голосование по всем ее статьям, оставалось лишь произвести ряд согласований и отредактировать текст. Однако Робеспьер совершенно справедливо опасался, что в процессе корректировок текст конституции изменят в еще более антидемократическую сторону. Так и случилось: отменили «марку серебра», но повысили имущественный ценз для выборщиков, что еще больше ограничило избирательное право.

Сохранились пометки Робеспьера на печатном экземпляре проекта

конституции: «Богатство развращает больше, чем бедность»; «Богатый депутат хочет приумножить свое состояние, депутат бедный хочет быть свободным»; «Заметьте, это ваши комитеты исказили конституцию, а я ее защищаю». Вопросу демократизации выборного процесса он уделил и большую часть своей речи, посвященной оценке проекта конституции: «Правильно ли измерять честность, таланты размерами имущества? Я заявляю, что независимость, подлинная независимость, определяется не имуществом, а потребностями, страстями людей; я заявляю, что ремесленник или земледелец, уплачивающий налог в размере десяти рабочих дней... более независим, чем богатый человек, ибо его желания и потребности более ограничены, чем его имущество, потому что он отнюдь не во власти разорительных страстей, порождаемых роскошью». В одном только Париже пассивных граждан, тех, «которых до сих пор тщательно лишали радостей свободы» и «всячески старались обрушить на них все ее тяготы», насчитывалось 300 тысяч, в то время как активных — всего 80 тысяч.

С 8 августа по 3 сентября Робеспьер 18 раз выступал по вопросам конституции. Он напоминал о необходимости полной свободы прессы — «чтобы каждый гражданин имел право опубликовать свое мнение, не подвергаясь за это преследованиям», предостерегал об опасности предоставления королю личной гвардии — «разве уместно сейчас предоставлять в распоряжение короля 1800 вооруженных людей, когда нам со всех сторон грозят враги?»... А в ответ на предложение переделать конституцию в случае, если король ее не одобрит, он 1 сентября разразился гневной саркастической речью, объединив под местоимением «они» короля и депутатов-монархистов: «Без сомнения, после всех тех изменений, которые им удалось вырвать у нас, они должны быть довольны; они нас убеждают, что нам следует довольствоваться остатками тех декретов, которые мы принимали; но если они считают, что после того, как конституцию пересматривали дважды, ее все еще можно продолжать переписывать, нам остается либо снова надеть свои оковы, либо взяться за оружие». Завершалась речь поистине пророческой фразой: «Я не верю, что революция закончилась!»

Законопослушный Робеспьер, готовый к полемике при обсуждении законов, но категорический противник нарушения законов тех, что уже приняты, ничем не рисковал, бросив в лицо Собранию едва ли не призыв к новым потрясениям. Во-первых, газеты левого толка, оправившись от удара, нанесенного расстрелом на Марсовом поле, снова обрушились на Конституанту и ее промонархических депутатов; во-вторых, Якобинский

клуб после раскола вновь становился одной из главных политических сил, а в-третьих, в своих предчувствиях Робеспьер был не одинок: Дантон, Марат и ряд других левых политиков трезво оценивали сложившуюся кризисную ситуацию. После неудачного бегства короля из страны отхлынула новая волна эмигрантов, оставив после себя многие сотни потерявших работу слуг и разорившихся ремесленников, зарабатывавших производством предметов роскоши. Бумажные деньги обесценивались, крестьяне отказывались продавать продукты за «бумажки», звонкая монета стремительно исчезала, надвигался голод. Из-за гражданского устройства духовенства часть приходских священников отшатнулась от революции. Деление граждан на активных и пассивных вызывало возмущение. Армия разваливалась, из восьми тысяч офицеров шесть тысяч эмигрировали, солдаты посещали политические клубы. В Кобленце собирали армию из эмигрантов.

Известив европейских монархов о своем заточении, король направил письмо своему шурину, австрийскому императору Леопольду, в котором поведал о невзгодах французского королевского семейства и выразил надежду, что тот примет меры, «которые подскажет ему сердце, и придет на помощь ему и Французскому королевству». В августе в Пильницком замке на берегу Эльбы состоялась встреча Леопольда II и прусского короля Фридриха Вильгельма II. Результатом встречи стала так называемая Пильницкая декларация, в которой оба государя договаривались «принять самые действенные меры сообразно своим силам, чтобы дать французскому королю возможность... утвердить основы монархического правления... В ожидании они отдадут своим войскам соответствующие приказания, чтобы они были готовы приступить к действиям». Декларация разочаровала эмигрантов, стремившихся как можно скорее начать наступление на революционную Францию, и вызвала возмущение у народа Франции. Отныне мало кто сомневался, что Людовик вступил в сговор с заграницей.

4 сентября текст конституции, утвержденной Национальным собранием, вручили королю, предоставив ему десять дней на ознакомление. 14 сентября Людовик XVI торжественно поклялся в верности конституции. С абсолютной монархией было покончено. Монархия оставалась наследной, но отныне властью короля Франции наделяла нация. В честь принятия конституции в Париже устроили народные гулянья. На очередном салоне в Лувре были выставлены целых два портрета Неподкупного: «желтый и бледный» Робеспьер — член Учредительного собрания Жозефа Боза, и Робеспьер «розовощекий» в

костюме депутата третьего сословия Аделаиды Лабиль-Жиар. Под этим портретом стояла подпись «Неподкупный», и «добрые патриоты аплодировали от всего сердца». 30 сентября возле Манежа толпа восторженно встретила выходящих после последнего заседания Конституанты полюбившихся ей депутатов: Грегуара, Редерера, Бюзо. Когда же из дверей вышли Робеспьер и Петион, раздались крики: «Да здравствуют Петион и Робеспьер, истинные друзья народа, честные и неподкупные законодатели!» Обоих депутатов увенчали гражданскими венками из дубовых листьев, женщины протягивали им своих детей для поцелуя, а несколько граждан выпрягли лошадей из экипажа, в который сели оба избранника народа, и сами повезли их по улицам Парижа.

Мадам де Сталь писала: «За два года Конституанта разработала больше законов, чем парламент Англии за пятьдесят лет; законы эти, основанные на основополагающих принципах конституции, уничтожили злоупотребления».

ЧАСТЬ II

НЕПОДКУПНЫЙ

Если бы Национальное собрание состояло только из Робеспьеров, возможно, сегодня Франция являла бы собой лишь груды руин.

Дюбуа-Крансе

Робеспьер не намеревался почивать на лаврах: он по-прежнему чувствовал себя народным трибуном. Злоупотребления, искорененные конституцией, расчистили дорогу главным образом состоятельной части третьего сословия, уничтожив сословные барьеры и привилегии. Положение беднейших слоев населения, так называемых пассивных граждан, мало в чем изменилось. С выкупом личных повинностей крестьян царила полная неразбериха, в деревнях продолжались крестьянские волнения. Революция не могла завершиться, ибо многие наболевшие проблемы общества так и не были решены; недовольных стало едва ли не больше, чем при Старом порядке.

1 октября состоялось первое заседание Законодательного собрания. В зал Манежа пришли новые люди, в основном выходцы из мелкой и средней буржуазии, юристы, адвокаты (их было большинство), литераторы, успевшие за истекшие два года поучаствовать в работе административных структур своих округов. В основном они поддерживали конституционную монархию, но многие не доверяли королю и грезили о республике. Осваиваясь в Париже, депутаты записывались в политические клубы; 264 депутата записались в Клуб фельянов, 136 — в Якобинский клуб, 345 не записались никуда, решив на всякий случай сохранить свою независимость; они составляли так называемое «болото» или «брюхо». Постепенно стали определяться партии и их лидеры. На правом фланге находились фельяны или конституционные монархисты, на левом — радикалы, которых называли монтаньярами или «горой», так как они сидели на верхних скамьях зала (*montagne* по-французски «гора»), и менее радикальные жирондисты. Жирондисты получили свое название от департамента Жиронда со столицей Бордо, откуда происходили молодые адвокаты Верньо, Гаде и Жансонне, к которым присоединился провансалец

Инар. Они объединились вокруг блестящего оратора Бриссо, известного как основатель Общества друзей чернокожих и издатель газеты «Французский патриот», поэтому поначалу их называли бриссотинцами. К жирондистам примкнул Кондорсе, выдающийся мыслитель и ученый, но плохой оратор. Монтаньяры и жирондисты сразу же стали соперничать между собой за влияние в Якобинском клубе и Парижском муниципалитете. Среди депутатов-монтаньяров довольно быстро выделились спокойный и уверенный Жорж Кутон, из-за парализованных ног передвигавшийся в кресле на колесах (он станет верным соратником Робеспьера), крикливый и скользкий бывший монах-капуцин Франсуа Шабо, рациональный и надменный военный инженер Лазар Карно. Лидеры левых в Собрание не вошли: ни Робеспьер, ставший подлинным главой Якобинского клуба, ни Марат, ни возглавивший кордельеров Дантон, ни Демулен, ни набиравший известность издатель газеты «Папаша Дюшен» Жак Рене Эбер («ястреб с лицом мальчика из церковного хора», по определению Мишле). В новом Собрании нет таких ярких талантов, какие были в Конституанте, скорее можно говорить о яркой коалиции жирондистов.

Пока депутаты осваивались с конституцией, которая, в сущности, не устраивала никого — ни короля, ни монархистов, ни левых, — пока приглядывались друг к другу, шумели и дебатировали, Робеспьер 14 октября отправился в родные края, где посетил не только Аррас, но и ряд окрестных городов; путешествие продолжалось полтора месяца. Поездка стала отдыхом после упорной изнурительной борьбы за первое место среди политиков и в то же время своеобразным инспекционным вояжем, позволившим получить представление, насколько граждане в провинции поддерживают его самого и якобинцев. Он получил возможность повидаться с родными и ощутить вкус победы над недоброжелателями, которых в Аррасе у него оказалось немало: одни невзлюбили его, когда он еще жил в городе, другие — за время его депутатства. Но уже в Бапоме (городок примерно в двух десятках километров от Арраса), где на почтовой станции его встретили Шарлотта и Огюстен, тамошние патриоты увенчали его гражданским венком «с выражением братской любви» и устроили в его честь банкет. А в родной город он въехал поистине как король — в сопровождении частей национальной гвардии Арраса, под звуки военной музыки и возгласы: «Да здравствует народ, Робеспьер и Петсион!» Народное ликование по поводу его приезда Робеспьер описал в письме Дюпле: «... народ встретил меня изъявлениями такой преданности, что я не в силах описать ее и не могу вспомнить о ней без умиления. Ничего не было забыто

для выражения ее. Толпа граждан вышла за город мне навстречу. Преподнеся мне гражданский венок, они преподнесли его и Петиюну. В своих радостных восклицаниях они часто вместе с моим именем называли имя моего товарища по оружию и моего друга. Я был удивлен, когда увидел на пути моего следования иллюминированные дома моих врагов и аристократов, которые остались здесь или под видом министерских чиновников, или фельянов; все остальные эмигрировали. Я приписал это их уважению к воле народа». Торжественные встречи, приемы и речи в местных патриотических обществах, газетные отчеты о передвижениях главного защитника народных интересов. Однако вдова Маршан через газету департамента Па-де-Кале поинтересовалась, почему, когда бывший депутат берет слово, «он говорит только о том, что он сделал и что хотел сделать», вместо того, чтобы рассказать, как король принял конституцию.

Огюстен познакомил брата с молодым патриотом Леба, который, как и Огюстен, не попав в число депутатов Законодательного собрания, вместе с ним сотрудничал в местной администрации. Но оба жаждали «оглушительных побед и славных поражений», что, как издавна известно, возможно только в Париже. По словам М. Галло, во время поездки Робеспьер ясно ощутил, что приехал в родные края в последний раз. Он остановил свой выбор на Париже, где все проще, понятнее, где реальная жизнь не мешала ему жить в мире принципов. В провинции все казалось сложнее, везде свои нюансы, а великое зачастую тонуло в мелочах повседневности. Провинция требовала практического смысла, предложений и действий, в столице же можно было анализировать и выявлять.

28 ноября Робеспьер вернулся в Париж и в тот же день отправился на обед в особняк нового мэра Парижа — «добродетельного Петиюна», собравшего на выборах в два раза больше голосов, чем его знаменитый соперник маркиз де Лафайет. «Душа его по-прежнему проста и чиста... Бремя, возложенное на него, громадно, но я не сомневаюсь, что любовь народа и его личные добродетели дадут ему необходимые силы нести его», — писал Неподкупный Бюиссару о новом главе Парижа.

«Вечером я был на заседании у якобинцев, где публика и члены общества приняли меня с горячим выражением благосклонности, удивившим меня, несмотря на все доказательства преданности, к которым парижский народ и якобинцы меня приучили», — сообщал он Бюиссару. Выражение благосклонности — это не только аплодисменты, но и избрание председателем клуба. Для Робеспьера это чрезвычайно важно, ибо теперь клуб его единственная трибуна, тем более что с октября он открыт для

зрителей, которых становится все больше: за несколько часов до начала заседаний люди выстраивались в очередь, чтобы протиснуться на трибуны. Пишут, что Робеспьер тщательнейшим образом готовился к заседаниям: проверял протоколы, списки записавшихся на выступление и даже рассаживал по залу своих людей, которые по его знаку поддерживали оратора или же криками заставляли его замолчать. Его собственные выступления завершались теперь не просто аплодисментами, а подлинным экстазом публики.

Журналист без определенных убеждений Жозеф Фьева, присутствовавший на одном из заседаний клуба, так описывал выступление Робеспьера: «Он шел медленно. В то время он один носил костюм и прическу, принятые до революции; низкорослый и сублильный, он чрезвычайно походил на портного Старого порядка. Он носил очки, толи потому, что они были ему нужны, то ли потому, чтобы они помогали ему скрывать движения его сурового лица и хранить неприступный вид. Речь его была медленной. Его фразы были так длинны, что каждый раз, когда он умолкал, приподнимая очки на лоб, можно было подумать, что ему больше нечего сказать. Но, оглядев каждый уголок зала, он вновь опускал очки и добавлял несколько фраз с длинными периодами... И вот в ушах у меня зазвенело. Это не были аплодисменты... это были умиленные рыдания, крики, топот, от которого содрогался зал». В то же время монтаньяр Бодо писал, что язык речей Робеспьера — это язык проповедника и инквизитора. Многие отмечают, что, начав свой путь как очень слабый оратор, Робеспьер упорно работал над своим красноречием, пока не добился бесспорного успеха.

За время отсутствия Робеспьера новое Собрание приняло закон об эмигрантах, согласно которому французы, не вернувшиеся во Францию до 1 января 1792 года, объявлялись изменниками родины; те, кто вернется после этого срока, будут рассматриваться как заговорщики, имущество их будет конфисковано, а сами они будут преданы суду за измену. Следом приняли закон о священниках, отказавшихся присягать гражданскому устройству духовенства; все неприсягнувшие обязаны были в недельный срок принести присягу; те, кто этого не сделает, объявлялись «подозреваемыми в возмущении закона», лишались пособий и пенсий и попадали под надзор властей. Разгневанный Людовик XVI наложил на оба закона вето, и его немедленно объявили пособником эмигрантов. Впрочем, иначе и быть не могло: обосновавшиеся в Кобленце братья короля и принцы крови грозили Франции всевозможными бедами и карами, что не могло оставить равнодушными ни депутатов, ни граждан. Робеспьер

поддержал новые законы, тем более что в провинции ему пришлось столкнуться с антипатриотической пропагандой тамошнего духовенства. «Почти все ораторы Национального собрания ошибались в вопросе о духовенстве. Они рассуждали... о веротерпимости и о свободе религиозных культов... видели лишь вопросы философии и религии там, где дело касалось революции и политики. Они не замечали, что везде, где священник-аристократ находит прозелита, он превращает его во врага революции...» — писал он из Арраса. Комиссары Жансонне и Галлуа, назначенные еще Конституантой, после инспекционной поездки в Вандею, откуда поступало особенно много жалоб на неприсягнувших священников, рассказывали, как экзальтированная толпа женщин забросала камнями присланного государством священника и повесила его перед алтарем. Первые сполохи гражданской войны в Вандее...

На первый план выступали проблемы внешние. Король тайно направил иностранным дворам послания, в которых заявлял, что конституцию он подписал не добровольно, а под давлением обстоятельств, и это являлось чистой правдой. Публично же монарх послал письма братьям и принцам, призывая их вернуться во Францию. Разумеется, ему никто не внял. В Кобленце принц Конде продолжал формировать армию из эмигрантов, численность которой достигла пятнадцати тысяч человек. 7 декабря Людовик XVI назначил военным министром графа де Нарбонна. Новый министр совершил инспекционную поездку по границам королевства, результатом чего явилось формирование трех армий (под командованиями маршала Люкнера, героя американской Войны за независимость маршала Рошамбо и прославленного Лафайета), организация и состав которых оставляли желать лучшего. Министр разработал план победоносного броска на земли рейнских князей в надежде, что в военной обстановке ему удастся повысить боеспособность войск, а войска помогут укрепить пошатнувшийся трон. Еще через неделю Людовик, побуждаемый жаждавшим войны двором, явился в Собрание и как «французский гражданин» предъявил ультиматум курфюрсту Трира: под угрозой объявления войны потребовал положить конец сколачиванию на его территории армии эмигрантов.

Но открытые призывы к войне первыми прозвучали не из уст короля, что было бы естественно, ибо после неудавшегося бегства Людовик XVI уповал только на иностранную интервенцию, а из уст республиканцев — Бриссо и его соратников. Не доверяя королю и считая необходимым продолжать революцию, Бриссо полагал, что война «упрочит свободу, очистит ее от пороков деспотизма и избавит от людей, способных ее

извратить». «Хотите уничтожить аристократов одним ударом? Уничтожьте Кобленц, и тогда глава нации Людовик XVI станет царствовать согласно конституции», — заявлял Бриссо. Лозунги «Уничтожим всех тиранов» и «Мир хижинам, война дворцам» воодушевляли граждан. Уверенный, что в случае войны король предаст свой народ и монархия окончательно себя скомпрометирует, Бриссо говорил: «...либо мы победим и эмигрантов, и священников, и курфюрстов и тогда упрочим наше общественное доверие и благосостояние, либо будем разбиты и преданы... и изменники будут уличены и наказаны, а мы сможем наконец добиться исчезновения всего того, что препятствует величию французской нации... Нам нужны великие измены: в этом наше спасение, ибо в лоне Франции есть еще сильные дозы яда, и нужны мощные взрывы, чтобы удалить их».

Призыв Бриссо и жирондистов идти войной на «коронованных тиранов» народ подхватил с великим энтузиазмом. «Оратор рода человеческого» Жан Батист Клоотс, принявший звучное имя Анахарсис, размахивая руками, восклицал: «На декреты против эмигрантов и священников наложено вето? Хорошо; так подтвердим же эти декреты грохотом пушек: переправимся через Рейн!»; «Воины свободы опрокинут троны тиранов!»... Быстро набирали авторитет новые люди, предлагавшие решения и находившие поддержку у народа. Даже Марат не исключал вступления в войну; только он предлагал прежде низложить короля и установить республику, которая сумеет подготовить страну к войне — оборонительной войне. Позднее идею оборонительной войны подхватит и Робеспьер. Но поддерживать кого-либо не в его привычках, даже если воинственные настроения, охватившие страну, поднимали революционный дух, упавший к концу работы Конституанты не только у законодателей, но и у всей страны. «Народ, который вершит революцию, непобедим»...

Чтобы идти против течения, требуются уверенность и сила духа. И тем и другим Робеспьер обладал в избытке. Но он политик, а потому тщательно обдумывал каждый шаг: он не мог действовать спонтанно, под влиянием момента. Бриссо и его друзья стремительно завоевывали поддержку у якобинцев, чего никак нельзя было допустить. Следовательно, надо начинать кампанию против войны, тем более что у него в клубе имелась достаточно мощная поддержка в лице Дантона, Демулена, Шабо, Дюбуа-Крансе. Правда, Дантон выступил всего один раз, да и то как-то невнятно, ибо не желал ссориться с Бриссо: «Да, фанфары войны протрубят... Но... не после ли того, как мы внимательно познакомимся с ситуацией... как установим все намерения исполнительной власти, которая нам предложит войну?»

Первым решительное слово против войны произнес поддерживавший Робеспьера Жак Никола Бийо-Варенн, адвокат, жесткий политик, член Якобинского клуба. В речи от 5 декабря он пространно и аргументированно представил опасности, грозящие стране в случае вступления ее в войну. Робеспьер, присутствовавший при его выступлении, не преминул воспользоваться аргументами Бийо в череде собственных речей о войне, произнесенных им в декабре 1791-го — феврале 1792 года.

Как и прежде, главных врагов народа и революции Робеспьер видел не за границей, а дома: «Война — самое большое бедствие, которое может угрожать свободе в нынешних обстоятельствах... Это будет война всех врагов французской конституции против французской революции. Кто эти враги? Они двоякого рода, внутренние враги и внешние». Если с внешними врагами все достаточно понятно, то, говоря о внутренних врагах, Робеспьер так или иначе непременно делал выпады в сторону своих политических соперников левого фланга, иначе говоря, нападал на «депутата-патриота» Бриссо и его сторонников. «Я не собираюсь ни подлаживаться к преходящим настроениям общественного мнения, ни льстить господствующей власти. Я пришел раскрыть перед вами глубокий заговор, который, полагаю, я довольно хорошо знаю. Я тоже хочу войны, но такой, какой требуют интересы нации: обуздаем наших внутренних врагов, а затем пойдем на наших внешних врагов, если они еще тогда будут... Какую войну мы можем предвидеть? <...> Это будет война врагов французской революции против французской революции. В Кобленце ли находятся самые многочисленные и самые опасные из этих врагов? Нет, они среди нас. <...> По каким признакам можно распознать заговор, который ткнут враги свободы?.. При настоящем положении вещей они хотят только таких перемен, которых требует их личный интерес и их честолюбие... Если нас предадут, сказал также тот депутат-патриот, против которого я выступаю, то народ окажется на месте... Но вы не можете не знать, что восстание, на которое вы здесь намекаете, это лекарство редкое, ненадежное и крайнее».

Законник Робеспьер, не мысливший себя ни революционером, ни нарушителем закона (что, в сущности, одно и то же), достаточно ясно намекал, что его соперники на политическом поле действуют из корыстных побуждений, и припугнул их народным восстанием. «Прежде чем броситься на Кобленц, — заявлял он, — приведите себя по крайней мере в состояние способности вести войну». И он был, безусловно, прав: вести победоносную революционную войну под руководством двора и генералов-аристократов вряд ли возможно. Отсюда: «Нельзя объявлять войну сейчас», «Наведите порядок у себя, прежде чем нести свободу за пределы страны»,

«Вооруженных миссионеров никто не любит». Добровольно оставшись за бортом корабля народных избранников, Неподкупный не переставал их поучать: «Величие народного представителя не в том, чтобы подлаживаться к мимолетному мнению, возбужденному интригами правительства... Величие состоит иногда в том, чтобы, черпая силу в своем сознании, бороться одному против предрассудков и клик. Он должен доверить общественное счастье мудрости, свое счастье — своей добродетели, свою славу — честным людям и потомству... Мы приближаемся к решающему для нашей революции кризису... Горе тем, кто при этих обстоятельствах не освободится от предвзятых мнений, от своих страстей и предрассудков. Сегодня я хотел оплатить родине, быть может, последний мой долг по отношению к ней. Я не надеюсь на то, что мои слова в данный момент будут иметь большую силу. Я желаю, чтобы опыт не оправдал моего мнения. Но если это даже случится, мне останется одно утешение: я смогу призвать мою страну в свидетели, что я не способствовал ее гибели». Возвышенно, пафосно, туманно и, как всегда, о себе — в подражание Руссо.

К привычной теме заговора, к которой Робеспьер постоянно возвращался, добавился новый активный мотив его речей: добродетель. Робеспьер не только неподкупен, он добродетелен, а потому прав. Хладнокровный препаратор событий и действий, все чаще в качестве политических критериев он выдвигал критерии моральные, живым воплощением которых считал себя. А он, как известно, всегда чувствовал себя одиночкой. И предложение союза со стороны Бриссо, который хотел бы видеть во главе народа «Петионов, Редереров, Робеспьеров», для него неприемлемо. Если он заключит союз, могут подумать, что его подкупили. Такую позицию многие считали позерством и относились к ней с иронией. «Он был готов заплатить, чтобы его подкупили и он мог сказать, что отверг предложенное ему золото», — писал Редерер.

Раздражение, которое испытывал Робеспьер, видя, как комитет по переписке Якобинского клуба рассылает речи жирондистов в провинции и какой пылкий отклик вызывают их речи в Собрании, едва не стало причиной раскола клуба. «Трудно делить народную любовь», — саркастически писала газета «Страж Конституции», и была недалеко от истины. Услышав, как бриссотинцы называют его «защитником народа», Неподкупный немедленно ответил: «Я никогда не претендовал на столь значительный титул; я часть народа и всегда был ею». Ибо «защитником народа» называли не одного только Робеспьера. Чтобы посвятить всего себя схватке за звание самого правильного защитника народных интересов,

Неподкупный отказался от должности общественного обвинителя (он не исполнял ее ни дня): «...в условиях бурного кризиса, от которого зависит свобода Франции и всего мира, есть долг еще более священный, чем тот, который состоит в обвинениях в преступлениях... Этот более священный долг состоит в том, чтобы... защищать дело человечества и свободы перед судом всего мира и потомства. <...> Я предпочитаю сохранить свободу расстраивать заговоры, направленные против общественного спасения».

Принимавшая все более ожесточенный словесный облик борьба против Бриссо, а значит, и большей части левого фланга Законодательного собрания, отшатнула от него часть сторонников, в то время как Бриссо со товарищи увлекал Собрание за собой. Народ, охваченный воинственным патриотизмом, надеялся, что война решит все его проблемы. Понимая, что только при поддержке народа он может сохранить свое положение лидера, Робеспьер несколько изменил курс: «Да, укротим наших внутренних врагов, а потом двинемся против Леопольда, против всех тиранов земного шара. При этом условии я тоже громко требую войны. Если это условие даже не будет выполнено, я все-таки требую войны, требую ее не как акта мудрости, а как акта отчаяния... Я требую ее в таком виде, в каком ее объявил бы дух свободы, в каком ее повел бы сам французский народ, а не в том виде, в каком она могла бы быть желательна гнусным интриганам». Речь постановили напечатать, а растроганный Бриссо благородно сказал своему противнику: «Умоляю, Робеспьер, кончим скандальную борьбу, выгодную только врагам общественного блага». Под аплодисменты и слезы расчувствовавшихся зрителей Неподкупный и Бриссо обнялись. Но когда на следующий день публицист Горса напечатал в своей газете, что прения завершились, Робеспьер тотчас прислал опровержение: «В сегодняшнем номере вашей газеты я заметил ошибку, которая заслуживает исправления... В статье, о которой я говорю, высказано предположение, будто я отрекся от своих основных взглядов по важному вопросу, который волнует теперь все умы, потому что все чувствуют его связь с общественным благом и сохранением свободы. Я счел бы себя недостойным уважения добрых граждан, если бы сыграл приписываемую мне в этой статье роль». Прения, а точнее раздоры, не прекратились.

Робеспьер все чаще, все интенсивнее нападал на Бриссо, который, разумеется, в долгу не оставался. Вскоре рядом с Бриссо замелькало имя Кондорсе, которого Неподкупный невзлюбил за то, что примкнувший к жирондистам философ высоко ценил Вольтера, которого в свое время знал лично. А Вольтер всегда критиковал Руссо... Еще одной постоянной мишенью Робеспьера стал Лафайет, которого он обвинял в расстреле на

Марсовом поле, сообщничестве с генералом Буйе в деле похищения короля и предательстве интересов народа.

В Учредительном собрании Робеспьер выступал с критикой предложений, внесенных комитетами; теперь он понимал, что на фоне законодательной активности Бриссо и жирондистов он тоже должен что-то предложить. И Неподкупный произнес речь, посвященную средствам спасения государства и общества. Что в условиях кризиса предлагал чуждый какой-либо практической деятельности Робеспьер? «Я всегда считал, что нашей революции не хватало двух элементов: глубоких писателей... и богатых людей, которые были в достаточной мере друзьями свободы, чтобы пожертвовать часть своего богатства на распространение образования и гражданского духа». «Во время кризиса, когда каждый день кажется чреватым преступлением и заговорами завтрашнего дня, только постоянная бдительность может спасти общественное дело: народ должен бодрствовать, чтобы защищаться, когда тирания бодрствует, чтобы погубить его... Представители народа, вы должны... оживить гражданский дух... Тот, кто будет непочтительно говорить о народе, будет приговорен к тюремному заключению». Никогда еще Робеспьер не давал Собранию — ибо обращался он прежде всего к депутатам-законодателям — столько высокоморальных советов. В частности, он рекомендовал Собранию «следить за двором непрестанно, карать, разоблачать перед нацией все преступления, которые министры совершают против конституции», а для «усиления гласности заседаний административных органов» воздвигнуть «величественное здание, которое могло бы вместить по меньшей мере десять тысяч зрителей», ибо «стыд не позволяет нагло предавать на глазах у народа». А чтобы народ тоже начал вкушать от плодов революции, предлагал взять «малую толику» средств из кассы чрезвычайных расходов, которые «поглощает двор». Если же Национальное собрание окажется слабым, «призвал бы меньшинство, чистое и мужественное, чтобы раздавить слабоумное и развращенное меньшинство». Что это — преддверие террора? Вседозволенность добродетели? Что имел в виду Робеспьер, когда писал эту фразу? Ведь он всегда тщательно обдумывал свои речи. «Ведите горизонтально меч закона, чтобы поразить головы всех крупных заговорщиков», — скажет он спустя три месяца, не называя имен. Впрочем, его слова пока не воспринимали как угрозу. Тем более что он — в отличие от Марата — пока не требовал ничьих голов: «Я не знаю во Франции такой головы, падение которой могло бы освободить мою родину от ига тирании... не мне можно вменять кровожадные желания и насилия, противоречащие подлинным интересам свободы».

Робеспьер говорил и выступал, выступал и говорил... «Какой патриотический дух жил в людях того времени... что полторы тысячи человек могли каждый вечер добровольно, целыми часами слушать речи Робеспьера и рукоплескать ему... А между тем редко более несносный человек открывал рот на ораторской трибуне», — писал Карлейль. «Нет, я никогда не поверю, чтобы... трусость, глупость и вероломство могли одержать победу над мужеством, гением и добродетелью. Если добродетельные люди отчаиваются в Национальном собрании... им остается умереть на трибуне... Смерть великого человека должна разбудить спящие народы, и счастье мира должно быть ее ценою». Есть уверенность, что под великим человеком Робеспьер полагал себя. Крылатый Танатос давно уже присутствовал в речах Неподкупного, а с приходом его к власти станет неразлучным спутником свободы. «Свобода или смерть!» — лозунг, который наряду с Декларацией прав вскоре будет висеть едва ли не в каждой секции.

Все чаще Неподкупный напоминал своим слушателям, что он «сам был членом предыдущей легислатуры»; отсутствие законодательной трибуны явно начинало ожесточать его. «Вы спрашиваете меня, что я сделал. <...> Я предложил Собранию, что никто из его членов не может быть переизбран во вторую легислатуру. Если бы не это... кто может ручаться, что парижский народ не выбрал бы меня же на место, которое нынче занимают Бриссо или Кондорсе?» И он все пространнее говорил о морали и о себе: «Любовь к справедливости, к человечеству, к свободе является такой же страстью, как многие другие; когда эта страсть преобладает, ей жертвуют всем; когда же открывают сердце страстям иного рода, таким, как жажда богатства или почестей, ради них жертвуют всем, и славой, и справедливостью, и человечеством, и народом, и родиной. Таков секрет человеческого сердца, и в этом заключается разница между преступлением и порядочностью, между тиранами и благодетелями человеческого рода». Если читать между строк, как советуют делать некоторые биографы, к благодетелям человеческого рода Неподкупный причислял себя: «Я мог притязать лишь на такие успехи, которые достигаются мужеством и верностью строгим обязанностям... я часто предпочитал вызывать ропот, который считал для себя почетным, чем добиваться позорных аплодисментов, я считал успехом, если заставлял слушать громкий голос правды...» Но слушатели постепенно уставали от его пространных речей, тем более что, по свидетельству современников, сам он становился все более неприступным и надменным. «Пары благовоний, что воскуряли в вашу честь, проникли во все ваши поры; идол

патриотов превратился в человека и обрел слабости, присущие человеческому роду», — писали газеты, обращаясь к Робеспьеру. Журналисты упрекали его в необузданном честолюбии, в том, что он слишком много внимания уделял самому себе. «Если слушать только его, получится, что начиная с 14 июля только он шел правильным путем, а кто не согласен с тем, что все, что сделано хорошо за время революции, сделал он один, тот не может быть хорошим патриотом... Но поверьте, есть еще немало патриотов, таких же, как вы, только они не считают это своей особой заслугой», — писали они. Некоторые шли еще дальше: «Мы считаем, что по причине либо безумия, либо тщеславия господин Робеспьер, без сомнения, стал причиной раскола общества». Не умаляя революционных заслуг Робеспьера, насмешливый публицист Горса писал: «Мы предлагаем господину Робеспьеру не доверять самому себе, ибо, не будучи Господом Богом, он может иногда ошибаться». Не один Робеспьер рисовал в своих речах собственный привлекательный образ, многие депутаты поступали так же, но никто не делал этого столь часто, столь пространно и столь навязчиво. Когда Верньо, один из лучших ораторов Жиронды, с трибуны заговорил о «теологах от политики», у которых на все есть готовое решение, опирающееся на целый ряд догм, он имел в виду Робеспьера, и все это поняли.

1 марта скончался Леопольд II, новым императором стал Франц II, превративший Австрию в координационный центр готовящейся интервенции против Франции; вдоль французской границы началось передвижение войск. Становилось понятно, что отражать интервенцию придется. В Якобинском клубе голоса жирондистов заглушили голос Робеспьера и его сторонников. Неподкупный даже призвал на помощь Провидение: «Провидение... особенно печется о французской революции... это чувство моего сердца... Как мог бы я один с моей душой выдержать борьбу, превышающую человеческую силу, если бы не возносился душой к Богу?» В ответ прозвучала удивленная реплика Гаде: «А я и не знал, что господин Робеспьер является рабом суеверий». Подобные слова были для Робеспьера самым худшим оскорблением, ибо затрагивали его веру в Бога, Верховное существо, царившее во Вселенной и опекавшее народ, свершивший революцию. Деист, основы веры которого сформировались под влиянием «Савойского викария» Руссо, Робеспьер, возможно, уже в то время стал задумываться о создании новой религии, более подходившей свободному народу, нежели одряхлевший католицизм. Главным проповедником этой религии он, скорее всего, видел себя. А

насмешник Гаде стал ему еще более ненавистен, равно как и его партия, точнее — клика, как называл он жирондистов. Внимательно следивший за выступлениями как левых, так и правительства, Робеспьер не упускал возможности указать на совпадение позиций двора и Жиронды.

Парижские якобинцы обратились с воззванием к провинциальным филиалам: «Спасение отечества зависит от решительной меры. Эта мера — война... Поспешим же скорее на помощь всем жертвам деспотизма, утвердим свободу во все странах, которые нас окружают... Заставим тиранов дрожать от страха на их пошатнувшихся тронах». Противопоставить речам жирондистов Неподкупный мог только посулы разоблачить очередной заговор, наличие которого уже воспринималось как само собой разумеющееся. Стремление видеть всюду заговор и заговорщиков становилось маниакальным не только у Робеспьера, но и у многих «добрых патриотов», внимавших ему как оракулу. Финансовый кризис повлек за собой безработицу и голод. Спекулянты прятали продукты, а народ громил продуктовые лавки. В условиях, когда за ассигнат в 100 ливров давали 63 ливра, Робеспьер вместе с членами клуба принес клятву не употреблять ни сахара, ни кофе — в связи с резким подорожанием этих продуктов.

Желая поддержать свою стремительно падающую популярность, Робеспьер согласился встретиться с Маратом, который, также выступая против войны, хотел обрести в нем союзника для совместной борьбы. Но они слишком разные: Марат, превратившийся и по внешнему виду, и по образу жизни в парижского пролетария, и Робеспьер в аккуратном парике, жабо и белых чулках, с виду настоящий буржуа. «Первыми словами, с которыми обратился ко мне Робеспьер, — писал Марат, — был упрек в том, что я сам себя разрушаю, а затем — слова о необыкновенном влиянии на революцию моей газеты, о том, что я окунаю перо свое в кровь свободы, постоянно говорю о кинжале и веревке... и он хотел бы убедиться, что это всего лишь слова, продиктованные обстоятельствами». Ответ Марата напугал Неподкупного. «Если бы после бойни на Марсовом поле нашлась бы пара тысяч вооруженных храбрецов, мысливших так же, как и я, я бы встал во главе их, заколол бы Лафайета, сжег бы деспота вместе с его дворцом и наделал бы чучел из наших представителей», — сказал Друг народа. Робеспьер слушал «с ужасом», «бледнел», «умолкал», и Марат еще раз убедился в том, что «в нем соединился мудрый сенатор, истинно добродетельный человек, желающий добра ближнему, и рьяный патриот, однако у него нет ни взглядов, ни дерзости истинного государственного мужа». Друг народа и Неподкупный не заключили союза, каждый пошел

своим путем, хотя в одну сторону и по одной дороге. В своих кровожадных статьях Марат всегда будет обгонять Робеспьера, и только гибель спасет его от прямого столкновения с Неподкупным, который, прикрываясь трескучими фразами о гражданских добродетелях, начнет уже не на бумаге, а на деле истреблять своих противников.

Король надеялся, что война вернет ему прежнюю власть: в случае, если победят интервенты, они восстановят его на троне, а если победа достанется французам, то на волне всеобщего подъема он сам вернет себе трон. Значительная часть законодателей и министров полагала, что победоносная война поднимет авторитет Франции, откроет новые рынки сбыта и заглушит недовольство беднейших масс, требовавших таксации цен и отмены свободы торговли; другая часть министров была против войны, ибо боялась поражения Франции; из сторонников войны многие желали победы интервентам: правительственный кризис был налицо.

10 марта Бриссо, Гаде и Верньо выступили в Собрании с разоблачением изменнической деятельности министра иностранных дел Лессара, а через две недели Жансонне и Бриссо сообщили о существовании при дворе так называемого «австрийского комитета» — группы придворных, поддерживавших сношения с Австрией, с помощью которой они надеялись совершить контрреволюционный переворот. Вынужденный распустить правительство король решил сформировать новый кабинет из представителей сторонников войны, иначе говоря, из жирондистов. Но так как согласно конституции законодатели не имели права занимать министерские посты, в правительство вошли друзья Бриссо, разделявшие его взгляды. Портфель министра внутренних дел получил Ролан де ла Платьер, честный резонер, занимавший прежде пост инспектора мануфактур в Лионе; его главное достоинство заключалось в том, что он был мужем очаровательной и умной Манон Филипон, более известной как госпожа Ролан, в чьем салоне собирались близкие ей по духу и образу мысли депутаты Жиронды. Через друзей и мужа она активно влияла на политику, проводимую правительством жирондистов. Пост министра финансов получил банкир и политик Этьен Клавьер, пост военного министра — военный инженер Серван, пост министра иностранных дел — беспринципный карьерист пятидесяти трех лет генерал Дюмурье. Поддерживая за спинами Жиронды активные сношения с двором и мечтая о короткой победоносной войне, которая бы в полной мере восстановила королевскую власть, Дюмурье, дабы прослыть министром-патриотом, явился в Якобинский клуб в красном фригийском колпаке и обратился к членам клуба с короткой речью, в которой обещал «исполнять волю

нации». Красный колпак, украсивший голову новоявленного патриот-якобинца, всем так понравился, что его стали натягивать и другие ораторы. Когда же на трибуну поднялся напудренный Робеспьер (остальные члены клуба пудрить волосы давно отказались), кто-то попытался надеть колпак и на него, но тот с гневом отшвырнул его, дав понять, что не одобряет дешевый популизм. Не оценил Неподкупный и создание «кабинета санкюлотов», как называли правительство Ролана аристократы и фельяны; он считал вновь сформированный кабинет плодом закулисных интриг Бриссо и иже с ним, сговорившихся через посредничество мадам де Сталь и мадам Ролан с Лафайетом и Нарбонном.

Молодые демократические силы рвались в бой, не желая слушать резонерских доводов Неподкупного: ему уже тридцать три, а те, кто стремился занять свое место в революции, едва дотягивали до двадцати пяти. От нового правительства санкюлоты Парижа потребовали десять тысяч пик. Даже Кутон считал, что война будет вполне уместна. И вот 20 апреля Людовик XVI, явившись в Манеж, где заседало Собрание, слабым голосом объявил Австрии войну, и законодатели практически единогласно вотировали декрет. Вскоре вместе с Австрией в войну вступила Пруссия. В то время никто даже помыслить не мог, что страна будет воевать больше двадцати лет, вплоть до 1815 года, а потом на восстановленный трон под именем Людовика XVIII взойдет бывший граф Прованский, брат Людовика XVI.

Вечером того же дня Робеспьер выступил в клубе с речью, направленной против войны: «Почему Франция объявила войну? Потому, что люди, окружающие короля, толкают Францию на авантюру, чтобы произвести контрреволюционный переворот». Он также высказал опасения, что в результате власть может захватить «честолюбивый генерал», подразумевая, разумеется, ненавистного ему Лафайета. Однако раз неизбежное свершилось, то «война должна носить совершенно иной характер, чем прежние войны. Ее должно вести не правительство, а весь вооруженный народ как за пределами страны, так и внутри нее». В унисон с Неподкупным звучал голос газеты «Парижские революции», издаваемой умеренным журналистом Прю-домом: «Свободный народ, вступивший в войну, должен воевать, рассчитывая исключительно на успех... но можно ли полагаться на успех, если вокруг только и делают, что устраивают заговоры против патриотов и свободы?.. Двор стремится ввергнуть нас в завоевательную войну... Французы, откройте глаза на пропасть, которая отверзается перед нами». Накаленная обстановка внесла раздор в Якобинский клуб: все обвиняли друг друга в предательстве дела революции

и в сговоре с «австрийским комитетом», а Робеспьер, не называя имен, обещал сорвать маски с предателей. Подобному заявлению значения не предали. Возможно, поэтому в трагические дни термидора он также будет грозить всем и никому конкретно, но тогда это его погубит...

Так как аплодисменты якобинцев и зрителей, приходивших на заседания, все чаще доставались ненавистному Бриссо, Неподкупный решил создать себе личную трибуну и при финансовой помощи Мориса Дюпле начал издавать газету «Защитник конституции». Он намеревался «защищать конституцию такую, как она есть», иными словами, защищать монархию, форму правления, прописанную в конституции. «Французы, представители, объединяйтесь вокруг конституции; защищайте ее против исполнительной власти... против всех мятежников... Ее недостатки — дело людей, но ее основы — произведение неба, и она несет в себе самой бессмертное начало своего совершенства», — писал он в первом номере «Защитника конституции», снова напоминая о союзе Неба и революции. «Я предпочитаю видеть народное представительное собрание и граждан, пользующихся свободой и уважением при наличии короля, чем рабский и униженный народ под палкой аристократического сената и диктатора». «Защитник конституции» имела меньший тираж, нежели «Французский патриот» Бриссо или «Парижская хроника» Кондорсе, но на ее страницах всегда можно было ознакомиться с взглядами и мыслями Неподкупного. Собственно, ничего иного в ней и не печаталось, разве что иногда отчеты о заседаниях Якобинского клуба и Законодательного собрания. Робеспьер понимал, что раз война объявлена, то скоро настанет его время, так как на первых порах французскую армию неминуемо ожидают поражения, и многие наверняка вспомнят, как он об этом предупреждал и выступал против войны. Теперь он открыто причислял Бриссо и жирондистов к «интриганам и врагам конституции» и утверждал, что они продались исполнительной власти, то есть двору.

Разоблачению жирондистов был целиком посвящен третий номер «Защитника конституции»: «Самыми известными главарями заговора, который я намерен разоблачить, являются господа Бриссо и Кондорсе. После них можно назвать... Гаде, Верньо, Жансонне». На протяжении месяцев Неподкупный формировал образ жирондистов как предателей и честолюбцев, готовых на сговор с Лафайетом. Со стороны жирондистов в адрес Неподкупного летели обвинения в принадлежности к «австрийскому комитету», в том, что «он не делает ничего, но вредит всем, кто делает хоть что-то». А Бриссо у себя в газете написал: «У публики существуют три мнения о господине Робеспьере. Одни считают его сумасшедшим, другие

приписывают его поведение оскорбительному тщеславию, а третьи полагают, что он приводится в действие цивильным листом. Мы никогда не верим в продажность, если только она не вполне доказана...» Подобного покушения на чистоту его одежд Неподкупный простить не мог: Бриссо стал его личным врагом.

Сторонники Неподкупного тоже не молчали. В поддержку Робеспьера высказался Марат: «Самый крупный упрек, который делают Робеспьеру, — это то, что он часто говорит о себе... как будто гражданин, обвиняемый врагами революции... не имеет печальной необходимости оправдываться». Эбер в своей газете «Папаша Дюшен», отличавшейся нарочито грубым площадным языком, предлагал якобинцам «перецеловаться, помириться и задать добрую выпивку, чтобы аристократы и фельяны лопнули с досады». В середине мая вышла брошюра под названием «Разоблаченная интрига, или Отмщенный Робеспьер», в которой разъяснялось, почему многие якобинцы буквально боготворили Неподкупного и почему его фигура приобрела практически мифические очертания. (В недалеком будущем автор ее, журналист Себастьян Лакруа, будет обвинен в сообщничестве с Эбером и Клоотсом и с согласия Робеспьера казнен вместе с ними.) Главными чертами характера Робеспьера журналист называл «постоянство принципов», «строгость нравов» и «отсутствие слабости».

По мнению Лакруа, сей сверхчеловек обладал «высшим даром», а именно знанием людских душ, позволявшим «разоблачать предателей». А еще он обладал даром «той кроткой и чувствительной речи, которая волнует душу и заставляет проливать слезы». «Сделанные им разоблачения, будь то ложные или же подлинные, в любом случае служат на пользу общему делу; они вселяют ужас в виноватых и побуждают честолюбцев прекращать плести интриги и прислушаться к голосу совести, который начинает все громче звучать у них в душе; тех же, кто еще не совершил преступления, голос сей может привести к миру и спокойствию, кои дарует добродетель, — писал Лакруа и делал вывод: — Чтобы выступать с разоблачениями, надобно самому быть безупречным». Брошюра не могла не понравиться (или не польстить?) Робеспьеру, ибо на протяжении всего срока Законодательного собрания он больше всего говорил именно о собственной безупречности. В ожидании, когда настанет его час, он вылепливал в сознании граждан свой недостижимый образ безупречной добродетели.

Французская армия не была готова к большой войне. «Надо иметь мужество признать, что наши войска не в состоянии противостоять

закаленному и дисциплинированному противнику... Нам не хватает холодного и расчетливого мужества, спокойствия при виде опасности, терпения, что превозмогает трудности и преодолевает препятствия...» — сообщал Бриссо комиссар-якобинец из Северной армии. В регулярных частях не хватало людей, батальоны волонтеров не подчинялись воинской дисциплине, не было регулярного снабжения войск. Поэтому, несмотря на численное превосходство (французские войска насчитывали 50 тысяч человек, а австрийские всего 35 тысяч), французская армия отступала, иногда даже не вступив в соприкосновение с неприятелем. Рошамбо быстро подал в отставку, а Лафайет отправил письмо двору, предлагая повернуть свою армию на Париж, дабы разогнать Собрание и пересмотреть конституцию; в ожидании ответа он тайно начал переговоры с австрийцами. Только ненависть Марии Антуанетты к «герою обоих полушарий» заставила отвергнуть предложения Лафайета, остро пахнувшие изменой революции. В качестве оборонных мер жирондисты убедили Собрание принять три декрета: о высылке неприсягнувших священников, о роспуске королевской гвардии и о формировании под Парижем лагеря федератов, куда со всех концов Франции придут 20 тысяч национальных гвардейцев, готовых в случае необходимости отразить нападение на столицу и предотвратить контрреволюционный переворот. Согласившись с роспуском своей гвардии, король наложил вето на два других декрета. В ответ министр внутренних дел Ролан направил королю довольно резкое по форме письмо (составленное супругой), в котором указывал, что вето на вышеозначенные декреты уводит короля в стан «заговорщиков», врагов революции и может вызвать возмущение народа. Тогда король разогнал кабинет жирондистов, сохранив пост только за Дюмурье; но генерал, не дожидаясь своей очереди, подал в отставку с министерского поста и уехал в армию. Обойти вето короля все же удалось: левые провели решение о приглашении федератов на праздник Федерации 14 июля. Интересно, что Робеспьер высказался против приглашения федератов, иначе говоря, под держал короля и двор. Ведь в случае необходимости эта сила встанет скорее на сторону жирондистов, а этого его честолюбие допустить никак не могло. Подчеркнем: фракция жирондистов состояла в основном из адвокатов и юристов, то есть людей, более близких по происхождению, воспитанию и образованию Робеспьеру, нежели плебеи, поддерживавшие Марата, а также мелкие лавочники, ремесленники и рабочие, составлявшие костяк Клуба кордельеров. Однако именно жирондисты стали первой жертвой методического преследования и клеветы со стороны Неподкупного. Впрочем, голословные обвинения в то

время можно было услышать практически от любого оратора, претендовавшего на лидерство: противники обменивались обвинениями, словно ударами шпаги, не затрудняясь поиском доказательств, ибо успех выступления заключался в его эмоциональном настрое. Каждый считал себя правым. Тем более что основным обвинением являлось обвинение в заговоре, атмосфера которого буквально вытесняла воздух.

Известие об отставке министров-жирондистов вызвало волнения в ряде секций Парижа и предместий. Организатором народных действий стала Коммуна Парижа во главе с мэром Петионом; 20 июня, в годовщину знаменитой клятвы в Зале для игры в мяч, она решила устроить демонстрацию для оказания давления на короля. И утром этого дня многолюдная колонна вооруженных чем попало демонстрантов в сопровождении национальных гвардейцев, тащивших с собой несколько пушек, прибыла к зданию Манежа. Манифестанты настояли, чтобы их делегацию допустили в зал. Потребовав вернуть министров-патриотов, санкюлоты со всей решимостью поставили вопрос: «Неужели счастье свободного народа будет зависеть от прихоти короля?» Прodefилировав перед трибунами Собрания, делегация вышла на улицу, где собралось более двадцати тысяч человек. Под предводительством уже снискавших известность народных вожаков — пивовара Сантерра и мясника Лежандра — санкюлоты отправились в Тюильри и, ворвавшись во дворец, потребовали от короля отменить вето и вернуть министров-жирондистов. Манифестанты предложили королю надеть красный колпак и выпить с ними стакан вина. Король колпак надел, вино выпил, но ничего не обещал. Несколько санкюлотов во главе с Сантерром ворвались в комнаты королевы, где вручили Марии Антуанетте красный колпак и заставили надеть его на дофина. К вечеру Петион с трудом увел манифестантов из дворца.

Демонстрация не дала практических результатов, но напомнила, сколь грозен гнев санкюлотов, а потому не стоит сбрасывать его со счетов. Результатом можно считать и фиаско Лафайета, примчавшегося в столицу с намерением наказать оскорбивших короля мятежников, но с удивлением обнаружившего, что может собрать вокруг себя не более сотни человек. Робеспьер к манифестации отношения не имел: в нем сидел страх перед народными выступлениями. Более того, он не одобрил ее, заявив, что она дискредитирует конституцию. И тут же потребовал осуждения Лафайета. Но его не поддержали. Убедившись, что все больше секций требуют отречения короля от власти (то есть нарушения конституции), Робеспьер не стал возражать Лежандру, призывавшему с трибуны якобинцев народ к

восстанию. По словам М. Галло, Робеспьер не делал политику, он умело за ней следовал, и следовал упорно. В сущности, Робеспьер являлся революционером против собственной воли, он против восстания, ибо оно непременно приведет к насилию, но, понимая, что остановить его невозможно, готов теоретически его возглавить, иначе говоря, найти убедительные аргументы, чтобы оправдать его. А так как призывы его и доводы весьма абстрактны, никто не мог упрекнуть его, что он готов нарушить закон: «Французы, неужто вы должны терять веру в себя? Нет. Интриганов — бесчисленное множество; они крайне развращены; неистовство и вероломство не знают границ. Но народ хорош, дело человечества священно, и небо справедливо».

11 июля Собрание приняло декрет, объявивший отечество в опасности и мобилизацию всех способных носить оружие мужчин. На улицах Парижа распевали «*Ça ira*» — «Дело пойдет», куплеты на все случаи политических катаклизмов, с припевом «Аристократов на фонарь!». Парижские секции заседали непрерывно. Марсельский батальон волонтеров принес в столицу знаменитую «Марсельезу», чьи скорбно-торжественная мелодия и слова, невероятно точно отражавшие настроения народа, мгновенно сделали ее гимном революции, а потом и Французской республики:

*Вперед, сыны Отчизны,
День славы настает,
К нам тирания черной силой
С кровавым знаменем идет!*

Все чаще от секций, клубов и народных обществ в Собрание поступали петиции с требованием отмены монархии и установления республики; на улицах Парижа расклеивали афиши с призывами низложить короля. По всей стране мужчины всех возрастов записывались в добровольцы, а мальчишки, чтобы попасть в армию, прибавляли себе количество лет. Это были знаменитые своей отвагой волонтеры 1792 года, из рядов которых выйдут талантливые революционные генералы и наполеоновские маршалы: Гош, Марсо, Массена, Мюрат, Клебер, Ожеро.

«В 1792 году Париж выглядел уже совсем не так, как в 1789-м и 1790-х годах; то была уже не рождающаяся революция, то был народ, упоенно рвущийся навстречу своей судьбе, невзирая на пропасти, не разбирая дороги. Толпа перестала быть шумной, любопытствующей, суетливой — она стала грозной», — писал о тех днях Шатобриан. После Дня Федерации

марсельские батальоны должны были отправиться в Суассон, но секция Французского театра, членами которой были Дантон, Марат, Демулен, взяла их под свое крыло. И довольно быстро из среды федератов стихийно выделился Центральный комитет, ставший одним из руководящих органов будущего восстания. А что рано или поздно восстание будет, в Париже не сомневался практически никто. На политическую сцену выходил парижский плебс, санкюлоты, «пассивные» граждане, постепенно занимавшие ключевые посты в секциях. Санкюлоты самостоятельно отменяли деление граждан на «активных» и «пассивных», исправляя, таким образом, несовершенство конституции. Наибольшую активность проявляли члены Клуба кордельеров: Дантон, Демулен, ступивший на стезю политика Фабр д'Эглантин, бывший офицер королевской армии Вестерман, Анаксагор Шометг. По инициативе снизу сформировалось Центральное бюро секций, будущий руководящий орган восстания. Роль объединяющего центра взял на себя Дантон, человек-стихия, неподражаемый оратор-импровизатор, никогда не заботившийся ни о литературной славе, ни о сохранности своих речей.

Якобинцы хранили настороженное молчание. Обращаясь к федератам, Робеспьер призывал их «сражаться с нашими общими врагами оружием законов». «Эмиссары и сообщники двора ни перед чем не остановятся, чтобы раздражить их нетерпение и толкнуть их на крайние и опрометчивые решения... Они должны вооружиться конституцией, чтобы спасти свободу. Принимаемые ими меры должны быть мудрыми, передовыми и мужественными», — говорил он о федератах. Недаром в те дни многие санкюлоты называли Якобинский клуб говорильней.

Однако Неподкупный внимательно следил за тем, как разворачивались события. 3 июля Верньо в своей пространной речи обвинил короля в предательстве революции внутри страны и за ее пределами, а также в использовании лазеек в конституции, чтобы не давать наступающему врагу должный отпор. Именно Верньо впервые с трибуны Собрания поставил вопрос о низложении Людовика XVI. «Вы больше ничто для конституции, которую вы столь бесчестно нарушили, ничто для народа, который вы так грубо предали», — сказал он, обращаясь к королю. После восстания 10 августа Верньо подаст мысль о необходимости приостановить действие исполнительной власти и предоставить решение вопроса о форме правления Чрезвычайному национальному комитету. 20 июля Робеспьер писал находившемуся на лечении Кутону: «В том положении, в котором мы находимся сейчас, друзья свободы не могут ни предвидеть события, ни руководить ими. Видимо, судьбу Франции будут решать интрига и случай».

25 июля герцог Брауншвейгский, назначенный командующим объединенной контрреволюционной армией, куда входили армии Австрии, Пруссии и составленная из эмигрантов армия Конде, выпустил манифест, в котором заявлял о своем намерении положить конец анархии во Франции, вернуть свободу королю и восстановить монархию в полном объеме. Ответственность за безопасность королевской семьи возлагалась на жителей Парижа, и прежде всего на членов Собрания и муниципалитета. В случае неповиновения городу грозили казнями и военной экзекуцией. Наглый тон манифеста вызвал всеобщий взрыв республиканских чувств и антимонархических настроений. 3 августа Петион представил Законодательному собранию петицию парижских секций, требовавших низложения короля. Неожиданно жирондисты, всегда ратовавшие за республику, отступили, а Бриссо в своей речи стал громить «партию цареубийц, стремящуюся установить республику»: «Если есть люди, желающие создать ныне республику на развалинах конституции, то их должен поразить меч правосудия... как и контрреволюционеров из Кобленца». (Впоследствии этим высказыванием воспользуется Сен-Жюст в своем выступлении против жирондистов.) Вместе с выжидавшими якобинцами жирондисты надеялись, что король пойдет на уступки или хотя бы на некое подобие компромисса, но этого не случилось. Позднее будет обнаружено письмо, свидетельствовавшее, что накануне восстания вожди жирондистов через третьих лиц начали переговоры с королем, требуя возвращения их партии министерских портфелей; взамен они обещали предотвратить восстание. Надеясь на наступление интервентов, монарх занял выжидательную позицию и не пытался ни бежать, ни договариваться.

Но Робеспьер прозорлив, он верно оценивал обстановку и вовремя порвал и с Собранием, и с конституцией. «Тяжелые недуги требуют сильных лекарств, — заявил он незадолго до 10 августа, — а главная причина наших недугов заключается... в исполнительной власти, стремящейся погубить государство, и в законодательной, которая не может или не хочет спасти его... Разве Людовик XVI управляет? Нет... он находится во власти то одних, то других интриганов. Лишенный доверия общества, этого единственного источника силы королей, он сам по себе ничто. <...> Следовательно, смещение или временное отстранение Людовика XVI от власти... недостаточно для уничтожения источника наших бед... Какие же кормчие спасут нас?.. Необходимо Собрание новое, чистое, неподкупное». Помимо нового Собрания нации следовало дать возможность контролировать своих избранников, чтобы «первичные

собрания могли выносить свои суждения о поведении своих избранников, а также иметь право согласно узаконенной процедуре отзывать тех, кто злоупотребил их доверием». Неподкупный предложил сменить всех депутатов, ибо причиной разразившегося кризиса явился заговор большинства народных избранников против народа. Бриссо помнил, что именно Робеспьер был инициатором декрета о непереизбрании депутатов Конституанты и, раскусив его замысел, на него не поддался.

Отказ Собрания осудить Лафайета стал последней каплей, переполнившей чашу терпения санкюлотов. Восстание становилось неизбежностью. К 5 августа требование низложения короля поддерживало подавляющее большинство парижских секций; народ требовал от Собрания покончить с монархией, иначе он сделает это сам. Дантон, заместитель прокурора Коммуны, предоставил Центральному повстанческому комитету зал в ратуше для непрерывных заседаний. Страстные речи Дантона, взывавшего к справедливости и законному гневу, зажигали в сердцах ответные чувства. Но Дантон прагматик, и ничто человеческое ему не чуждо. «Эта сукина дочь революция не удалась: она еще ничего не дала патриотам!» — восклицал он. И во многом был прав: положение санкюлотов, городской бедноты после революции лишь ухудшилось. Робеспьер подобных слов не произнес бы даже сгоряча, а потому он не любил Дантона, считая его чуждым добродетели, и терпел его только потому, что тот пока шел в одну сторону с ним, причем на шаг позади.

Барбару, уроженец Марселя и организатор марсельского батальона, в своих «Мемуарах», к которым крайне скептически относится Амель, рассказывает о встрече, состоявшейся незадолго до восстания в доме Дюпле, куда Барбару пришел вместе с Ребеки. По словам Барбару, Робеспьер, принимавший в это время Паниса, друга Марата, хвастался тем, что ускорил наступление революции, и утверждал, что революция остановится, если кто-нибудь из наиболее популярных личностей не возглавит ее и не придаст ей нужное направление. «Мне одинаково претит и диктатор, и король», — неожиданно произнес Ребеки, и беседа застопорилась. Когда Барбару и Ребеки покидали дом, Панис, пожимая им руки, сказал: «Вы плохо его поняли. Речь шла о временной передаче власти, а Робеспьер именно такой человек, который более всего подходит, чтобы встать во главе народа». «Уже тогда Робеспьер мечтал узурпировать власть в стране», — писал Барбару.

О том, что восстание назначено на 10 августа, знали все — и в Тюильри, и в Собрании. В этот день народные вожди исчезли — Марат, Бриссо, Робеспьер; последний не появлялся на людях уже с 29 июля.

Якобинец и будущий термидорианец Тальен, руководивший одним из батальонов, штурмовавших Тюильрийский дворец, писал, что Робеспьер «три дня и три ночи скрывался у себя в норе и вышел оттуда только для того, чтобы воспользоваться плодами восстания». По сути, он был прав. 9 августа Робеспьер писал Кутону: «Недовольство достигло наивысшей степени, все говорит о том, что сегодня ночью ожидаются великие потрясения. Парижские секции, исполненные энергии и мудрости, достойны служить примером для всей страны». Но секции — это прежде всего простой народ Парижа, «гадкие землистые лица, длинные космы сальных волос черного или медного цвета и глубоко запавшие глаза», как писал в своих воспоминаниях Бюзо, а еще «противные голоса», которыми изрыгают «грубые ругательства». Робеспьер никогда бы не написал таких строк о парижском плебсе, хотя так же, как и жирондисты, опасался и брезгливо сторонился его. В отличие от своих политических соперников он говорил лишь о «добром народе», каким он виделся ему через призму семейства Дюпле: народ добродетельный, грамотный, трудолюбивый, владеющий небольшой собственностью. Задавленных нищетой бедняков, выросших в окружении насилия, он предпочитал не замечать. И когда загудел набат, подавая сигнал к восстанию, Робеспьер, сидя у себя в кабинете в доме Дюпле, с тревогой вслушивался в его звуки. Впоследствии, когда его спросят, где он находился 9 и 10 августа, он ответит: «Я был везде, где того требовали интересы моего доброго народа». Но, может, ему действительно грозили кинжалы убийц? «Хотят убить Робеспьера», — записала в своем дневнике Люсиль Демулен.

Прозвище «человек 10 августа» снискал Дантон. Вечером 9-го он отправился в ратушу, где заседала повстанческая Коммуна, и присоединился к ее работе. В предрассветных сумерках граждане Парижа вместе с марсельскими федератами двинулись в сторону Тюильрийского дворца. Говорят, что накануне восстания 10 августа к предводителю марсельцев Барбару обратился напуганный нарастающей грозой Марат с просьбой помочь ему переодеться угольщиком и бежать из Парижа в Марсель. Пока граждане тащили пушки на площадь Карузель, прокурор Редерер, как и Дантон, в ту ночь спать не ложившийся, уговорил короля с семьей удалиться в Манеж под защиту Собранин; оборонять дворец остались швейцарские гвардейцы и горстка аристократов из тех, кого называли «рыцарями кинжала». Силы оказались неравны, Национальная гвардия почти полностью перешла на сторону восставших, и через три часа дворец был взят.

По словам очевидцев, к вечеру сад Тюильри напоминал заснеженное

пожарище: на земле вперемежку с обломками мебели и прочей утвари лежали трупы, припорошенные, словно снегом, перьями из распоротых подушек и перин. Вместе с тем свидетели пишут, что резня не сопровождалась грабежами, по крайней мере безнаказанными: кого замечали за попыткой украсть дворцовое имущество, убивали на месте, а найденные в королевских покоях ценности относили в Собрание. Но сколько варварства прошло незамеченным... Подсчитывая число жертв со стороны восставшего народа, называли цифры от трехсот пятидесяти до тысячи человек, со стороны защитников монархии — около шестисот. Когда дворец был взят, возбужденная толпа двинулась по улицам, убивая фельянов, роялистов и подвернувшихся под горячую руку лавочников. Робеспьер наверняка был осведомлен о ходе восстания, ибо, как только стрельба закончилась, он вышел из дома и быстрым шагом направился в свою секцию Вандомской площади (вскоре переименованную в секцию Пик), где его немедленно выбрали представителем в Коммуну. Проходя по площади, у подножия статуи Людовика XIV он мог увидеть сложенные головы сторонников монархии, павших от руки «добродетельного народа». Впрочем, он мог и не смотреть в ту сторону, сделать вид, что не видит головы журналиста Сюло, не раз высмеивавшего его в роялистской газете «Деяния апостолов». Вечером Робеспьер отправился в Якобинский клуб, где снова потребовал осуждения изменника Лафайета и созыва Национального конвента. Он также предложил послать комиссаров во все 83 департамента, дабы «ознакомить их с нашим истинным положением». Как пишет Н. Молчанов, когда смолкли пушки, настало время для политических речей. Но и в революционной Коммуне, и в секциях мало кто из ораторов обладал способностью «закрепить результаты вооруженной борьбы в политических формулах».

Собственно, требования Робеспьера совпадали с требованиями революционной Коммуны. Растерявшееся и напуганное большинство Собрания, пытаясь дать шанс монархии, приняло решение «временно отстранить короля от власти», назначив ему местом временного пребывания Люксембургский дворец. Однако новая Коммуна воспротивилась, и короля вместе с семьей отвезли в замок-крепость Тампль, где, по словам прокурора, сменившего Редерера, их было легче охранять и препятствовать переписке с «предателями». Специальным декретом Собрание ликвидировало деление граждан на «активных» и «пассивных» и объявило выборы в Национальный конвент на основе всеобщего избирательного права (разумеется, только для мужчин). Борьба за демократические выборы, которую начиная со времен Генеральных

штатов последовательно вел Робеспьер, завершилась победой, но добился ее не Неподкупный, а вооруженные санкюлоты. Собрание, уволив прежних министров, вернуло на свои посты Ролана, Сервана и Клавьера, добавив к ним трех новых министров, образовавших Временный исполнительный совет. Воплощением революционного движения в совете стал Дантон, получивший портфель министра юстиции. «Если бы я был побежден, меня бы назвали преступником», — заявил он в Собрании. «Но дело свободы восторжествовало», — писал Камилл Демулен, которого вместе с Фабром д'Эглантинем Дантон назначил своими секретарями. На трибуне снова появился Бриссо и заявил о необходимости прекратить революцию и начать выработать законы: «Мы совершили революцию против деспотизма, революцию против монархии, теперь остается совершить последнюю— против анархии». Вышедший из подполья Марат, которого немедленно сделали членом Наблюдательного комитета Коммуны, возражал: «Единственный способ установить свободу и обеспечить себе покой заключается в том, чтобы беспощадно уничтожить предателей отечества и утопить вождей заговорщиков в их собственной крови».

Одним из первых шагов Коммуны стало закрытие застав и отмена действия паспортов, дабы мятежники не могли бежать. Были освобождены все, кто находился в тюрьмах по обвинению в оскорблении величеств, их места заняли контрреволюционеры и противники новой власти. Под прямым давлением Коммуны Собрание принимало декрет за декретом. Окончательно отменили пережитки феодализма в деревне, что привлекло на сторону революции крестьянские массы. Обращение «сударь», «сударыня» заменили на «гражданин» и «гражданка». Арестовали всех «имеющих дурное влияние на общество» издателей роялистских газет, а их помещения, станки и шрифты передали патриотическим типографиям. Первым захватил королевскую типографию Марат. Издали закон о разводе, сделав, таким образом, первый шаг к установлению равноправия мужчин и женщин. Даровали звание французских граждан иностранцам, известным своим свободомыслием, среди которых были Костюшко, Клопшток, Вашингтон и Шиллер (когда установится диктатура якобинцев, Шиллер в ужасе откажется от этого звания). Отправили комиссаров в армии — разъяснять суть событий 10 августа и сменить монархически настроенных генералов. Место Лафайета в Северной армии занял Дюмурье, Люкнера сменил Келлерман, генерал Монтескью, в свое время заменивший Рошамбо, свое место сохранил. Под угрозой ссылки в Гвиану неприсягнувшим священникам предписали в двухнедельный срок покинуть Францию. В Париже декрет повлек за собой многочисленные аресты

неприсягнувших священников, в том числе и тех, кто бежал в столицу, спасаясь от преследований на местах. Семьи эмигрантов взяли под особый контроль. Разъехавшись по всей стране, комиссары, наделенные практически неограниченными полномочиями, начали работу в департаментах: производили чистки в администрациях, выявляли подозрительных и создавали комитеты по надзору.

А Робеспьер? Несмотря на явный анахронизм названия, ибо «Защитник конституции» теперь означало «защитник монархии», он выпустил последний номер своей газеты, почти целиком посвященный легитимизации народного восстания 10 августа. «Народ... осуществил свой признанный суверенитет и развернул свою власть и свое правосудие, чтобы обеспечить свое спасение и свое счастье... Это... не был бесцельный мятеж, затеянный какими-нибудь смутьянами... не был заговор, скрывающийся во мраке. Обсуждение происходило открыто, перед лицом всей нации. Весь народ в целом осуществлял, таким образом, свои права», — писал он и тут же напоминал французам, что они не должны засыпать «на ложе победы», ибо плодом всеобщих усилий, жертв и побед «должна быть самая лучшая конституция». «Это будет целью того Национального конвента, который вы скоро образуете. Не допустите в Конвент никого из ваших естественных врагов... Нельзя доверять интриге, честолюбию и эгоизму того, что должно быть создано добродетелью и гением... Пусть все пробуждаются, пусть все вооружаются, пусть враги свободы скроются во мраке... Отныне вы в войне со всеми вашими угнетателями. Вы добьетесь мира только тогда, когда вы их покараете. Отбросьте малодушную слабость или трусливую снисходительность... Безнаказанность породила все их преступления и все ваши беды. Да падут они от меча законов! Милосердие, которое прощает их, есть варварство и преступление против человечества». Не впервые Робеспьер напоминал о мече. Но если прежде это напоминание можно было отнести скорее к фигурам речи, то в нынешней обстановке оно звучало не столько призывом к законному наказанию, сколько к расправе. И, возможно, про себя Неподкупный радовался, что наконец-то объявленный Собранием изменником маркиз де Лафайет, против которого он не раз направлял острие своих речей, перешел к австрийцам и ему не придется требовать кары для маркиза, что впоследствии смогут ему припомнить. Лафайета наказали австрийцы: по наущению французских роялистов они пять лет продержали его в крепости.

В те августовские дни все решения принимались в ратуше, где новая Коммуна устанавливала власть секционных комиссаров, так что Неподкупный довольно редко появлялся в Якобинском клубе. Будучи

представителем своей секции, Робеспьер чувствовал за собой не просто силу, а силу вооруженную: во время подготовки к восстанию Дантон и Центральный повстанческий комитет щедро раздавали оружие революционно настроенным гражданам. Речи Неподкупного начали звучать грозно, словно призывы к будущему террору: «Граждане, вы только тогда будете жить в мире, когда ваши глаза всегда будут открыты на все предательства, а ваша рука будет готова ударить по всем предателям». Робеспьер ощущал себя избранником, призванным обеспечивать «общественное спасение и свободу», и когда Собрание предложило учредить специальную Директорию для контроля за Коммуной, он от имени Коммуны заявил, что именно она «должна обладать всей полнотой власти, подобающей суверену», ибо спасла революцию. Собрание пошло на попятный. Выступая от имени народа, чья «жажда мщения еще не получила удовлетворения», Неподкупный тем не менее отказался от предложения Дантона войти во Временный исполнительный совет, который «будет заседать всего три раза в неделю, да и то по утрам». Точно так же он отказался возглавить Чрезвычайный судебный трибунал, прообраз будущего революционного трибунала, созданный 17 августа для суда над заговорщиками и оставшимися в живых швейцарскими гвардейцами, защищавшими Тюильри. Он был готов пользоваться поддержкой народа, давать народу советы, призывать и предсказывать, но не был готов действовать, ибо действие влечет за собой ответственность. В преддверии надвигавшихся выборов в Конвент Неподкупный хотел выглядеть перед своими избирателями безупречно. Однако слова его все чаще становились смертоносным оружием: с его подачи приговор Чрезвычайного трибунала стал окончательным и обжалованию не подлежал. Многие историки сходятся во мнении, что если бы Неподкупный принял пост верховного судьи, то, возможно, сентябрьских кровопролитий удалось бы избежать или по крайней мере жертв было бы меньше. Ибо, отказавшись принять этот пост, он как бы негласно отдавал исполнение правосудия на произвол ослепленной гневом толпы.

Может показаться странным, но для себя Робеспьер еще не определил, является ли республика наилучшим государственным устройством. Поэтому в его тщательно прописанных инвективах в адрес «жестоких тиранов и трусливых рабов» слово «республика» не прозвучало ни разу. Он не привык принимать скоропалительные решения. Тем временем республиканские настроения победоносно шествовали по всей стране, и даже роялисты и конституционалисты вынуждены были славить республику и «торжество свободы над деспотизмом», дабы не попасть в

разряд «подозрительных», подлежащих немедленному аресту. Представители революционной власти добились разрешения (точнее, сами выдали его себе) под предлогом поисков оружия проводить обыски в домах «подозрительных» и «предателей». Воспользовавшись «узаконенным беззаконием», Робеспьер попробовал руками Коммуны расправиться со своими врагами и политическими противниками — Бриссо и жирондистами, конкурентами на выборах, и обвинил Бриссо в заговоре с целью возвести на трон герцога Брауншвейгского. Обвинение явно клеветническое и абсурдное. Неподкупный добился даже проведения обыска у Бриссо и выдачи ордеров на арест Ролана и еще нескольких видных деятелей Жиронды. У Бриссо ничего не нашли, а ордера аннулировал Дантон. Но Робеспьер не намеревался заключать мир. «Самые преступные заговорщики не вышли на свет 10 августа, дабы их нельзя было покарать по закону. Скрываясь под маской патриотизма, эти люди убивают патриотизм; делая вид, что они говорят на языке закона, эти люди уничтожают законы... и думают, что им удастся уйти от народного мщения!» — говорил он, подразумевая под «этими людьми» жирондистов.

На политической сцене воздвигли гильотину. Доктор Гильотен был уверен, что его машина послужит совсем недолго, а потом добродетельная Республика смертную казнь отменит вовсе. Но, как с грустью заметил Верньо, «революция подобна Сатурну: она пожрет своих детей». Чрезвычайный трибунал велел перевезти гильотину на площадь Карузель, что напротив Лувра. По мнению судей, площади, бывшей «театром преступления», предстояло стать «местом искупления». 21 августа там казнили первого «политического» — аристократа Кольно д'Ангремона, 23 августа — еще двоих: интенданта гражданского листа Лапорта и журналиста-роялиста Дюрозуа. Национальная бритва, как тотчас прозвали гильотину, стала поистине символом равенства, уравнивая в смерти и короля, и нищего; дорога к всеобщему устрашению, иначе говоря к террору, была открыта. Напомним: от 14 июля отсчитывали «эру свободы», от 10 августа стали отсчитывать «эру равенства». Но равенство и свобода — как гений и злодейство — несовместны. Руссо, представлявший их в образе обнявшихся сестер, явно не разглядел зажатые в сестринских руках кинжалы, готовые в любую минуту вонзиться в спину соперницы. Опьянение равенством порождало тиранов, ибо среди равных всегда находились те, кто равнее других. Стали раздаваться призывы к диктатуре, в ответ летели обвинения в диктаторских замашках. «Вы вынуждены будете ради спасения народа назначить триумвират», — предрекал Марат в своей газете, именовавшейся теперь «Газетой революции». Жирондисты,

напротив, требовали декрета против тех, кто «предложит диктатуру, трибунал или триумвират», и обвиняли Робеспьера в гордыне и стремлении к единовластию. Робеспьер «невероятно ревнив», он хочет «опорочить Петиона, чтобы занять его место», убеждали жирондистские листки. «Вошел какой-то человек, и собравшиеся тотчас оживились. Я взглянул и не поверил своим глазам: это был он, он собственной персоной! Сейчас он сядет рядом с нами. Но я ошибся, он уже занял место за столом президиума; уже давно он не видел вокруг никого, равного себе... А я застыл в глубоком изумлении, ибо, признаюсь, нисколько не ожидал его появления. Неужели сам Робеспьер? Надменный Робеспьер... Робеспьер, милостиво согласившийся стать, как и мы, всего лишь муниципальным должностным лицом», — писал литератор и журналист, автор известного фривольного романа «Похождения кавалера Фобласа» Луве де Кувре, избранный, как и Неподкупный, в Коммуну от своей секции.

В ответ на фактический арест Людовика XVI восьмидесятитысячная армия герцога Брауншвейгского перешла границу Франции и 20 августа осадила крепость Лонгви; через три дня крепость капитулировала. 29 августа враги подошли к Вердену, взятие которого открывало путь на Париж. Обстановка в столице накалялась. Ролан, а точнее, мадам Ролан, при поддержке жирондистов разработал план эвакуации из Парижа Законодательного собрания и правительства и предложил созвать Конвент где-нибудь подальше от столицы. «Сейчас Франция здесь, в Париже, и его надо удержать любой ценой!» — ответил ему Дантон. Говорят, именно он разработал план нанесения одновременных ударов по врагам внешним и внутренним. Слухи о заговорах, плетущихся аристократами с целью освободить короля и восстановить монархию, порождали недовольство медленной работой трибунала. Возбуждение народа росло; казалось, в любую минуту может произойти нечто страшное, чего ни монтаньяры, ни жирондисты предвидеть не могли. Робеспьер занимался выборами, Якобинский клуб сник; ставшая неприкрытой вражда Неподкупного с Жирондой побуждала жирондистов покидать клуб. Обыски, проводимые повсеместно в домах аристократов и подозрительных, обнаруживали все новых шпионов, сотрудничавших с врагами нации. Коммуна лихорадочно готовила город к обороне. Министры во главе с Дантоном подписали разрешение на производство реквизиций продовольствия и фуража для нужд армии, но при условии вознаграждения собственников; из церковных колоколов отливали пушки, из железных оград делали пики, женщины щипали корпию. Призывая граждан дать отпор врагу, Дантон произнес свои ставшие знаменитыми слова: «Чтобы победить, нужна смелость,

смелость и еще раз смелость!»

Когда первые отряды добровольцев, воодушевленных любовью к свободе и отечеству, покидали Париж, разнесся слух, что заключенные в тюрьмы аристократы и неприсягнувшие священники раздобыли оружие и готовят заговор, чтобы, когда все мужчины уйдут на фронт, перебить оставшихся в столице женщин и детей. Набат, призывавший граждан встать на защиту отечества, был воспринят как сигнал к «народной мести», и толпы санкюлотов — ремесленников, мелких торговцев, кабатчиков, кухарок и жандармов — двинулись взламывать двери тюрем и убивать заключенных. Три дня — 2, 3 и 4 сентября — взволнованная, напуганная и озлобленная толпа вырезала, расстреливала и самыми варварскими способами истребляла узников парижских тюрем, не слишком заботясь о том, кого она приносит в жертву своему паническому страху — аристократа или лавочника, монахиню или фальшивомонетчика. Хотя некоторые источники сообщают, что накануне, чтобы освободить места для священников и аристократов, из тюрем выпустили всех воров и разбойников. Тревога, страх, накал страстей, отсутствие реальной власти у Собрания и попустительство Коммуны, даже не пытавшейся бороться с охватившим граждан ужасом, порожденным дурными вестями с фронта... Начавшись в Париже, зверское истребление узников тюрем кровавым колесом прокатилось по всей Франции. По словам Луи Блана, страну охватила нравственная эпидемия, и «не нашлось человека, который воскликнул бы с негодованием, что убийство не должно быть прологом к самопожертвованию».

Все знали, что убивать начнут 2 сентября, но никто из вождей революции даже не попытался остановить кровавое безумие: его считали справедливой народной мстью. Но только Дантон, министр юстиции, обязанный предотвратить расправу, цинично и честно признался: «Это было необходимо», ибо «в настоящее время только крутые меры могут принести пользу, все остальное бесполезно». Бездействовал новый начальник Национальной гвардии пивовар Сантерр. Горса в своей газете писал о 2 сентября: «Этот день был ужасен, но справедлив; он был неизбежным последствием народного гнева». «Вчерашний день был таков... что его события следует предать забвению», — сказал о 2 сентября Ролан. Марата в эти кровавые дни никто не видел, но из подполья постоянно звучал его призыв: «Истреблять!» А народный трибун Робеспьер 1 сентября посоветовал Коммуне Парижа не противиться народному гневу и исчез, скрылся за стенами дома Дюпле. Он никогда открыто не порицал страшные события сентября, называя их «народным правосудием» и

признавая в них закономерные последствия революции 10 августа, трагическое осуществление суверенных прав народа. Ж. Артари пишет, что в те дни Робеспьер нашел способ оправдывать любые низости и преступления, совершенные народом: он начинал доказывать, что признание этих преступлений послужит делу врагов народа. Тем не менее личный врач Робеспьера Су-бербьель писал, что его пациент всегда с ужасом говорил о сентябрьских днях. «Кровь! Все кровь! Несчастные! Они потопили в ней революцию», — восклицал он. Но такие признания Робеспьер делал только под защитой комфортных стен Дюпле. Пишут, что именно в сентябре Робеспьер бесповоротно порвал с Петионом, ибо тот, будучи мэром Парижа, не использовал свой авторитет, чтобы помешать разгулу бесчинств. На что Петион ответил: «Все, что я могу вам сказать, так это то, что не в силах человеческих было воспрепятствовать этим людям».

Редкие депутаты пытались спасти от разъяренной черни хотя бы нескольких узников; Дантон выписал заграничный паспорт Талейрану, прокурор Коммуны Манюэль освободил Бомарше; говорят, Робеспьер освободил своих бывших преподавателей из коллежа Людовика Великого... Точных данных о погибших в тюрьмах Парижа в те сентябрьские дни нет, большинство приводит цифру в 1500 человек; пишут также, что в монастырях, превращенных в тюрьмы, было уничтожено еще 600 священнослужителей. «10 августа обновило и завершило революцию; 2, 3, 4 и 5 сентября набросили на нее покров мрачного ужаса. О, сколь злобен человек непросвещенный!» — писал зоркий наблюдатель парижской жизни Ретиф де ла Бретон.

Со 2 сентября и до начала работы Конвента Робеспьер молчал, его практически не было видно. Неожиданно он столкнулся с огромным клубком проблем, и здоровье его не выдержало: он заболел. Но болезнь его, по мнению многих, носила скорее психологический характер. Те, кто знал его раньше, отмечали его желтый нездоровый цвет лица и лихорадочную озлобленность, проявлявшуюся по пустякам. Скорее всего, он мучился бессонницей, ибо привык вставать рано, а засыпал поздно. До 10 августа его активность протекала в довольно ограниченном пространстве: улица Сент-Оноре, где находились дом Дюпле, Якобинский клуб и кафе «Режанс», куда он, как говорят, иногда заходил. Говорят также, что герцог Орлеанский-Эгалите тоже любил посещать это кафе. Если судить по рассказам современников, после того, как Робеспьер поселился у Дюпле, он редко принимал чьи-либо приглашения. Размеренная жизнь в замкнутом кругу соответствовала педантичному характеру Робеспьера. Жизнь эта

была совершенно прозрачна, что соответствовало тому образу, который создавал Неподкупный: образ лидера, которому нечего скрывать. Революция 10 августа и последующие события вырвали его из привычной среды, столкнули лицом к лицу с грубым, голодным и неуправляемым народом, тем самым народом, от имени и во имя которого он постоянно выступал. И это столкновение не могло остаться без последствий. Как бы ни старался он затвориться в стенах дома Дюпле, он не мог не почувствовать лихорадочного биения сердца опьяненного убийствами города, тем более что расправы происходили в том числе и в нескольких кварталах от Вандомской площади, где заседала секция Пик^[12]. Постоянно говоря возвышенными словами о кинжалах тиранов и грозящей ему гибели от рук заговорщиков, Робеспьер не мог не испугаться уродливого лика Смерти, явленного несчастным жертвам народной мести. Чистые одежды Революции запятнала кровь множества невинных людей, погибших в страшные сентябрьские дни. Соседние государства ужаснулись, иностранные послы спешно покидали Францию. Межпартийная борьба приобретала кровавый характер: нападая в эти дни на Бриссо и бриссотинцев, Робеспьер, по сути, попытался физически уничтожить своих противников.

Подготовка к выборам требовала от Неподкупного много сил: приходилось изворачиваться, чтобы отстранить от участия нежелательных, но активных лиц из бывших фельянов и конституционалистов. Жирондисты, которым он предрекал провал, в Париже не получили ни одного голоса. К политическим тревогам Робеспьера добавились домашние заботы: из Арраса приехал Огюстен, чтобы баллотироваться в Конвент, а за ним Шарлотта, хотя ее никто не приглашал. После неудачной попытки «похитить» старшего брата и убедить его поселиться с ней в квартирке на улице Сен-Флорантен Шарлотта продолжила «усердно навещать» его, посылая варенье и засахаренные фрукты, которые тот «очень любил», вызывая этим великое недовольство мадам Дюпле. Однажды, увидев служанку с очередными баночками от Шарлотты, мадам Дюпле возмущенно воскликнула: «Несите это обратно, я не хочу, чтобы она отравляла Робеспьера!» Как пишет Шарлотта, боясь причинить огорчение брату, она не стала поднимать скандал. Присутствие сестры с ее тяжелым вздорным характером тяготило Робеспьера, привыкшего в доме Дюпле к спокойной жизни.

Трагический и одновременно героический сентябрь 1792 года явился едва ли не самым насыщенным месяцем революции. 20 сентября в сражении возле городка Вальми французская армия под командованием

генерала Дюмурье одержала первую победу. После длительной артиллерийской канонады с обеих сторон австро-прусские войска стали отходить, а французы, двинувшись в наступление, начали вытеснять интервентов с территории Франции и к 7 октября окончательно вытеснили их за пределы государства. «Блицкриг» герцога Брауншвейгского провалился. Недовольные таким исходом французские аристократы-эмигранты обвинили герцога в том, что он продался Дантону. Вряд ли в министерстве Дантона нашлось столько денег, чтобы купить герцога, но вот бриллианты вполне могли его соблазнить. А за несколько дней до сражения при Вальми в Париже из здания, где хранились ценности королевской семьи, действительно пропали бриллианты, в том числе и довольно крупные. Когда герцог умер, среди его драгоценностей обнаружилось несколько бриллиантов из тех, что загадочным образом исчезли из парижского хранилища. Была ли это случайность или Дантон в самом деле решил подстраховаться, дабы наверняка обеспечить победу при Вальми? Эта победа была нужна республике как воздух: на следующий день в Париже открывался вновь избранный Национальный конвент.

Депутатом номер один от Парижа стал Робеспьер, затем шли Дантон и актер и драматург Колло д'Эрбуа. Прошли Камилл Демулен, Бийо-Варенн, художник Давид, Сержан, Марат и его друг Панис, Лежандр, Фабр д'Эглантин, Робеспьер-младший. Относительно последнего многие пожимали плечами, но вопрос, почему его избрали в Париже, а не в Аррасе, вслух не задавали. Один лишь Петион дерзнул заметить в присутствии Робеспьера, что вряд ли в Париже найдется хотя бы десяток людей, которые знают Огюстена Робеспьера. Уязвленный Неподкупный ответил, что его брата «знают патриоты Парижа и члены Якобинского клуба, бывшие свидетелями его гражданской доблести». Самым молодым депутатом оказался Сен-Жюст: ему едва исполнилось 25 лет, возраст, по достижении которого дозволялось выставлять свою кандидатуру на выборах. Составом парижской делегации Робеспьер был удовлетворен — несмотря на то, что Дантон против его воли протолкнул герцога Орлеанского, alias Филиппа Эгалите, занявшего место среди монтаньяров. А вот результаты голосования в департаментах вызвали раздражение, ибо не соответствовали его чаяниям. Почти две сотни депутатов пришли в Конвент из Законодательного собрания; почти сто в свое время избирались в Учредительное собрание. Депутатов-жирондистов, получивших широкую поддержку в провинции, оказалось в два раза больше, чем депутатов-якобинцев. Возможно, потому, что, несмотря на отмену имущественного ценза, большая часть бывших «пассивных» граждан по-прежнему не

принимала участия в выборах. Выступая единым блоком, жирондисты сумели занять руководящие посты почти во всех комиссиях Конвента. Робеспьер по обыкновению держался особняком, с депутатами-якобинцами его пока объединяли лишь верхние ряды зала заседаний; там же разместились и кордельеры, к которым он не питал особого доверия. «Гора», таким образом, не представляла собой единого политического монолита. Подавляющее большинство депутатов принадлежали к так называемому центру, иначе говоря, к «болоту», обладавшему обостренным чувством самосохранения и собственной значимости, особенно в периоды голосований, так как для получения большинства и жирондистам, и монтаньярам приходилось привлекать «болото» в союзники.

21 сентября открылось первое заседание вновь избранного Конвента. Сосредоточивший в себе власть и исполнительную, и законодательную, Конвент декретировал отмену королевской власти во Франции. 22 сентября Франция была провозглашена Республикой. Бийо-Варенн при единодушной поддержке депутатов предложил считать этот день первым днем первого года Республики. 25 сентября Конвент принял декрет о «Французской республике единой и неделимой». Но за занавесом красивых слов и постановлений уже начиналась ожесточенная борьба за власть — «неумолимая, пагубная, безумная, которая нанесла французской революции роковой удар». Первым председателем Конвента, собравшим 235 голосов, стал Петсион. Робеспьер, претендовавший на это место, получил только шесть голосов и этого не забыл. Сентябрьские убийства, в подстрекательстве к которым противоборствующие стороны обвиняли друг друга, стали вопиющим примером вседозволенности, примером, который, казалось, развязывал всем руки.

Для многих депутатов, прибывших из провинции, имена Марата, Дантона и Робеспьера были связаны с революционным насилием и анархией. Выступление с трибуны Конвента бывшего морского офицер Керсена, потребовавшего поставить эшафот для убийц и их подстрекателей, стало своеобразным сигналом к началу яростной и трагической борьбы «горы» и Жиронды. Бриссо и его товарищи не могли простить Робеспьеру попытку арестовать их и отдать на растерзание разъяренному народу. Протестантский пастор Ласурс высказал с трибуны свои опасения относительно деспотизма Парижа: «Я не хочу, чтобы Париж, руководимый интриганами, стал во французской империи тем же, чем стал Рим в Римской империи. Париж должен сократить свое влияние до 1/83, как любой из департаментов». Имен он также не называл, но всем было ясно, что он намекал на Парижскую коммуну и лидеров Парижа —

Дантона, Марата и Робеспьера, триумвиров, стремившихся, по мнению Жиронды, захватить власть в стране. Примирить во имя революции «гору» и Жиронду попытался Дантон, оставивший министерское кресло ради места народного избранника в Конвенте. В речи, произнесенной в первый день работы Собрания, он обратился к депутатам: «Необходимо, чтобы вы... ознакомили народ с чувствами и принципами, которыми вы будете руководствоваться в вашей деятельности... До сих пор мы будоражили народ, ибо надо было поднять его против тиранов. Сейчас... необходимо, чтобы законы... были беспощадны против тех, кто эти законы нарушает... чтобы законы карали всех виновных, чтобы народ в этом отношении был вполне удовлетворен... Откажемся от всяких крайностей, провозгласим, что всякого рода собственность — земельная, личная, промышленная — должна на вечные времена оставаться неприкосновенной». Эти слова снискали ему бурные аплодисменты всех фракций, включая «болото», где сидело очень много собственников, скупивших национальное имущество.

Робеспьер имел свое видение Республики. Для него Республика была не столько способом правления, сколько сводом правил и принципов. «Провозгласив Республику, мы еще не установили ее, — писал он. — Нам еще предстоит заключить наш общественный договор». Ибо, по мнению Робеспьера, внутренний враг, иначе говоря, политический конкурент, еще не побежден. Если раньше народ «делился на две партии — роялистов и защитников народного дела», то сейчас: «...когда общий враг раздавлен, вы увидите, как те, кого смешивали под общим наименованием патриотов, неизбежно разделятся на два класса. Одни захотят построить республику для себя, а другие для народа, в зависимости от того, что возбудило их революционный пыл. Первые будут стараться изменить форму правления в соответствии с аристократическими принципами и интересами богачей и государственных должностных лиц, другие захотят построить ее на принципах равенства и общественных интересов... К первым примкнут... все дурные граждане... другие будут исключительно людьми чистой совести... Интриганы объявят им войну еще более жестокую, чем та, которую вели с ними двор и аристократия». Как теперь распознавать врагов свободы? Их придется «выявлять по более тонким признакам отсутствия гражданских чувств и интриганства. <...> В республике есть лишь две партии, партия добрых граждан и партия дурных граждан, иначе говоря, партия французского народа и партия честолюбцев и стяжателей».

Несмотря на миротворческие усилия Дантона, Жиронда пошла в атаку и обвинила Марата, Дантона и Робеспьера в стремлении к диктатуре. По-прежнему исполненный миролюбия, Дантон кратко обрисовал «картину

своей общественной жизни», выразил несогласие с Маратом, добавил, что постоянные преувеличения «этого гражданина» следует приписать «тем преследованиям, которым он подвергался», а чтобы покончить с обвинениями в диктаторских замашках, предложил принять закон, «карающий смертью каждого, кто выскажется в пользу диктатуры или триумvirата». Энергичную речь Дантона, завершившуюся призывом к «святому единству», встретили аплодисментами. Робеспьер в свойственной ему манере принялся утомительно говорить о себе, в очередной раз перечисляя свои заслуги перед революцией: «Я в течение трех лет давал неопровержимые доказательства моего патриотизма и отвергал все соблазны тщеславия и честолюбия. Мое имя было связано с именами тех, кто мужественно защищал права народа. Я не боялся ни ярости аристократов, ни коварства лицемеров...» Вялая речь Робеспьера постоянно прерывалась криками «Короче!» и «К сути дела!», однако его уже не запугать: «Я не буду говорить короче... мне придется заставить вас выслушать меня... Я утверждаю, что я не считаю себя обвиняемым. Я утверждаю, что это обвинение является преступлением». В заключение речи он, как и Дантон, потребовал «выносить смертный приговор всякому, кто предложит диктатуру, триумvirат или любую иную форму власти, наносящую вред режиму свободы, установленному Французской республикой». Марат, постоянно требовавший «назначить трибуна для расправы с врагами», также выступил в свое оправдание. Непривычно спокойный, он неожиданно взял вину за возникновение подобных слухов на себя: «В интересах справедливости я должен заявить, что мои коллеги, а именно Робеспьер, Дантон и все другие, всегда отвергали идею диктатуры, которую я изложил в своих статьях, и мне пришлось даже с ними сломать несколько копий по этому вопросу... во Франции я... единственный политический писатель, пустивший в обращение эту идею как единственное средство уничтожить предателей и заговорщиков». Но обвинения продолжали сыпаться, послышалось предложение арестовать Марата. Тогда Марат выхватил пистолет, приставил его к виску и заявил, что убьет себя, если его попытаются арестовать. Народ на трибунах приветствовал поступок Марата. Наступление на предполагаемый триумvirат провалилось.

Неудачные выступления Робеспьера в начале работы Конвента многие объясняют ухудшившимся состоянием его здоровья. Несомненно, он тяжело переживал трагические события революции, к которой никогда не призывал, равно как и провозглашение Республики, в необходимости установления которой долго сомневался, и травлю его жирондистами. И

хотя — по крайней мере в Париже — он по-прежнему являлся фигурой номер один в революции, у него наверняка бывали минуты душевного разлада. Его позиция безупречного одиночки стала уязвима; он понимал, что если хочет побеждать в Конвенте, то должен не только привлечь к себе единомышленников, но и заручиться поддержкой «болота». Его беспокоил Якобинский клуб, количество членов в котором резко сократилось: жирондисты покидали его, а оставшиеся члены клуба, не уверенные в праведности свершившейся революции, ощущали себя заблудившимися на перекрестке. У него начались кожные высыпания, на ногах открылись язвы, а перевязки доктора Субербьеля приносили лишь временное облегчение. От постоянной работы слабело зрение, и он иногда являлся в Конвент в двух парах очков. Нервное подергивание, которым он страдал и раньше, проявлялось все чаще, и от этого улыбка его становилась недоброй. Но восторженное поклонение народа поддерживало его уверенность в собственной правоте и изгоняло из мыслей остатки сомнений. Когда к нему обратились с предложением стать мэром Парижа, он ответил, что «нет такой силы, которая смогла бы заставить его сменить пост народного представителя на какой-либо иной, сколь бы высок он ни был».

Состав Якобинского клуба обновился: в него пришли новые депутаты-монтаньяры, среди которых было немало кордельеров. Клуб вновь становился трибуной Робеспьера и его единомышленников. Постепенно он превратился в высший духовный орган страны, без одобрения которого фактически не проводилось ни одно решение; проекты декретов, поддержанных в клубе, гарантированно утверждались Конвентом. Клуб поменял название: из «Общества друзей конституции» стал «Обществом друзей свободы и равенства».

28 сентября Неподкупный выступил перед якобинцами с пространной речью под названием «О влиянии клеветы на революцию», значительную часть которой посвятил разоблачению клеветнических измышлений Лафайета, уже сидевшего в австрийской тюрьме, а оставшуюся часть — разоблачению «интриганов республики», в которых нетрудно было узнать жирондистов. «Посмотрите, каких успехов с начала революции добилась клевета, и вы убедитесь, что она является причиной всех злосчастных событий, которые нарушили или обагрили кровью ход революции», — говорил он, обрушиваясь с той же самой клеветой, против которой выступал, на своих конкурентов-жирондистов. Он переводил борьбу «горы» и Жиронды в сферу морали, борьбы добра со злом. Чувствуя, что такое противостояние может окончиться только гибелью одной из сторон, депутаты Жиронды не доверяли Коммуне и санкюлотам Парижа.

«Революционное движение принадлежит всей Франции, — писал Бюзо, — но, сосредоточив его в Париже, его развратили, озлобили, сделали похожим на жителей этого города».

Устами Бюзо жирондисты потребовали создать «департаментскую стражу» — прислать из провинции вооруженных людей для охраны Конвента. Предложение вызвало негодование Робеспьера и многих монтаньяров, увидевших в этом требовании желание уничтожить Париж, «потушить тот маяк, который должен светить всей Франции». В Париж действительно прибыли 15 тысяч молодых людей, дабы отправить на гильотину Марата, Дантона и Робеспьера. Но, как пишут, парижане взяли их в такой оборот, что скоро все они как один встали в ряды защитников Коммуны. А новые выборы в Коммуну, на которые рассчитывали жирондисты, принесли победу якобинцам. Прокурором Коммуны стал левый радикал Шометг, его заместителем — столь же радикальный Эбер, издатель «Папаши Дюшена». Как писал Бюзо, якобинцы «лучше нас знали народ», которым они управляли, «его характер, его особый талант, степень его просвещенности и энергию его напора. Но у нас никогда бы не хватило ни желания, ни дерзости настолько презирать этот народ, чтобы от имени свободы управлять им способами, которые употребляют азиатские деспоты, чтобы управлять своими рабами».

Вражда между жирондистами и якобинцами во многом определялась личными антипатиями, ибо взгляды на революцию у сторонников обеих партий, по сути, были сходны. Обе партии выступали за неприкосновенность частной собственности и против так называемого аграрного закона — уравнительного передела конфискованных земель эмигрантов. Обе поддерживали республиканский строй. Но, пользуясь терминологией Л. Блана, жирондисты были «людьми свободы», для которых идеальная республика представлялась чем-то вроде Афинской республики времен Солона и Писистрата, а монтаньяры — «людьми равенства», республиканский идеал которых восходил к ранней Римской республике. Свобода жирондистов предполагала либеральную экономическую свободу в рамках закона и выборное правление, опирающееся на указы избирателей. Свобода монтаньяров, немислимая без равенства, загоняла свободу в жесткие рамки государственных интересов и во имя этих интересов оправдывала подавление свободы индивида. Жирондисты намеревались остановить революцию, монтаньяры ее продолжали — по крайней мере на словах, ибо вряд ли кто-нибудь четко представлял себе, где и как надо поставить точку.

29 октября Робеспьер продолжил наступление на «интриганов

республики» в Конвенте, но его постоянно прерывали, опровергая его слова; тогда он заявил, что никто не осмелится высказать ему обвинения в лицо. Тогда вскочил Луве и, вытащив из кармана толстую пачку заготовленных листков, направился к трибуне. Он говорил почти два часа, обвиняя Робеспьера в стремлении к узурпации власти, в обмане народа, в заговоре, в клевете на патриотов, в том, что он позволяет поклоняться себе как божеству, что допускает в своем присутствии говорить о нем как о единственном добродетельном человеке во всей Франции... Словом, основные претензии мало чем отличались от тех, которые Робеспьер сам предъявлял своим противникам. Обвиняя Неподкупного в попустительстве сентябрьским убийствам, Луве сделал выпад в сторону Коммуны, подчеркнув, что во главе убийц стояли офицеры в трехцветных шарфах, подчинявшиеся Парижской коммуне, членом которой являлся Робеспьер. Не обладая талантом импровизатора, Робеспьер молча выслушал отточенные инвективы Луве и холодным от ярости голосом пообещал через неделю дать ответ.

Желая закрепить успех своей партии, на следующий день Барбару вновь выступил с речью против Робеспьера, а министр внутренних дел Ролан напечатал эту речь, дабы распространить в провинции. Но в Париже нападки на Неподкупного ни к чему не привели. 5 ноября, когда «дело Робеспьера» встало на повестку дня, на зрительских трибунах Конвента теснилось больше тысячи почитателей Неподкупного, почти две трети которых составляли женщины. Спокойный и сосредоточенный, с подготовленной заранее речью, достойной античных ораторов, Робеспьер поднялся на трибуну, надел очки и с присущим ему пафосом произнес: «В чем же меня обвиняют? В том, что я составил заговор с целью достигнуть диктатуры, или триумvirата, или должности трибуна?» Иронически посоветовав противнику определиться, к какой же «верховой власти» он, по его мнению, стремится, Робеспьер отверг обвинение в «деспотизме взглядов», «если только под этим не подразумевать естественное влияние принципов. Но это влияние не является личным влиянием того, кто эти принципы проповедует: оно принадлежит мировому разуму и всем тем, кто готов прислушиваться к его голосу».

Отступив от ставшего привычным перечисления собственных заслуг, он, отождествив себя с Коммуной и революцией, встал на их защиту, защищая, таким образом, и себя. Был ли это ораторский прием или то самое ощущение внутреннего слияния с революцией, благодаря которому он стал главным ее человеком? Для кого-то героем, для кого-то диктатором, но в любом случае главным. «Я горжусь тем, что мне приходится защищать

здесь дело Коммуны и свое собственное... Я видел здесь граждан... в напыщенных словах изобличавших поведение Совета Парижской коммуны. Незаконные аресты? Да разве можно оценивать со Сводом законов в руках те благодетельные меры, к которым приходится прибегать ради общественного спасения в критические моменты, вызванные бессилием самого закона?.. Все это было так же незаконно, как революция, как ниспровержение трона, как разрушение Бастилии, как сама свобода!.. Граждане, неужели вам нужна была революция без революции?.. Возможно ли учесть последствия, которые повлечет за собой этот великий переворот?» — вопрошал Неподкупный. Подведя к тому, что сентябрьские расправы явились естественным продолжением штурма Тюильри, он назвал их «народным движением», а затем, опровергнув обвинение в подстрекательстве, напомнил, что в те дни Луве в своей газете «Часовой» писал: «Честь и слава Главному совету Коммуны: он забил в набат, он спас отечество!»^[13] Отвергнув все обвинения и показав, что практически все они могут быть предъявлены его противникам, Робеспьер предложил заключить мир: «Предадим, если возможно, эти жалкие происки вечному забвению! Постараемся скрыть от взоров потомства те бесславные дни нашей истории, когда народные представители, введенные в заблуждение подлыми интригами, словно забыли о том великом поприще, на которое они были призваны! Я же воздержусь от каких-либо личных заявлений и отказываюсь отвечать на клевету моих противников еще более грозными разоблачениями, отказываюсь от законного мщения, которого я мог бы добиваться в отношении моих клеветников. Я хочу лишь восстановления мира и торжества свободы». По обыкновению долгая, однако выразительная и содержательная речь — ее считают одной из лучших речей Робеспьера — была встречена аплодисментами, в которых потонули попытки Луве и Барбару выкрикнуть против него новые обвинения. Конвент продолжил работу в обычном порядке. У выхода из Конвента Робеспьера встретила толпа и с пением «Марсельезы» и «Карманьолы» проводила его до Якобинского клуба.

Не все поверили в искренность стремления Робеспьера к миру. «Робеспьер, ты сообщил нам, что отказался от законного мщения твоим обвинителям, коего мог бы потребовать, сказал, что хочешь мира и забвения всех распрей... Какая внезапная метаморфоза! Но, как говорится, если злодей делает добро, значит, он подготавливает еще большее зло, — писала ему в открытом письме Олимпия де Гуж. — Убеждена, ты по-прежнему надеешься захватить власть, желая уподобиться узурпаторам античности». А дальше она предлагала ему «вместе искупаться в Сене»:

«...но, чтобы ты полностью мог смыть грязь, запятнавшую тебя 10 [августа], мы привяжем к ногам шестнадцати-или двадцатичетырехфунтовые ядра и вместе бросимся в волны. Твоя смерть успокоит умы... твоя кончина избавит страну от еще более ужасных бедствий, и, быть может, так я послужу ей наилучшим образом... Подобное мужество присуще великим характерам, о которых ты говоришь, но которым не обладаешь сам».

Продолжая нападать, жирондисты обвинили Робеспьера в роялизме (впрочем, и он обвинял жирондистов в том же самом пороке) и заявили, что он хотел сменить династию, посадив на трон Филиппа Эгалите, который в ожидании сидит на одних скамьях с монтаньярами. С обвинением Робеспьера в стремлении к диктатуре выступил и некогда верный его соратник Петион: «Робеспьер очень угрюмый и подозрительный, ему всюду мерещатся заговоры, измены, пропасти. Он никогда не прощает того, кто задел его самолюбие, и никогда не признает своих ошибок... Желая снискать расположение народа, он постоянно заискивает перед ним и жаждет сорвать его аплодисменты». Слова Петиона оскорбили Неподкупного, и он произнес ответную речь, черновики которой особенно изобилуют правкой и исправлениями. Преисполнившись сарказма, Робеспьер «исправлял» Петиона (не «угрюмый и подозрительный», а «здравомыслящий») и утверждал, что ему нет нужды «заискивать перед народом», ибо, как говорил Жан Жак, «истинный государственный муж сеет в одном веке, а пожинает в веках следующих». Атак как Петион высоко ценил Бриссо, Робеспьер не мог не сделать выпадов и в его сторону, ибо почитал главным своим врагом. Среди клубка обвинений в адрес Бриссо он, в частности, привел высказывание Клоотса: «...глядя на извилистую походку Бриссо, на то, как он лжет... можно подумать, что он подкуплен всеми врагами Франции и человеческого рода». Что ж, в те времена ораторский пафос и беспощадность в оценках были свойственны не только Робеспьеру. Пути Неподкупного и Непреклонного разошлись окончательно.

Несмотря на то что 5 ноября после выступления Робеспьера среди депутатов «болота» произошел сдвиг влево, ставший для монтаньяров большой победой, сам он ожесточился и любые нападки на себя воспринимал как нападки на революцию; ощущение собственной непогрешимости вытесняло любые сомнения. Мир потерял краски, начал делиться на черное и белое, а политический мир — на мир добродетели и коварства. У якобинцев Робеспьер открыто называл Бриссо и его «клику» мошенниками и говорил, что «готов подставить свою грудь под их

кинжалы, ибо уверен, что они хотят уничтожить патриотов». Нападки его разнообразием не отличались, поэтому ему вновь, как в Учредительном собрании, приходилось бороться за трибуну Конвента, ибо его все чаще лишали слова. «Я все равно буду говорить, невзирая на пристрастного председателя и министров-заговорщиков!» — выкрикивал он в ответ на призыв председателя Собрания к порядку. «Диктатор, он хочет привилегий!», «Долой деспотизм Робеспьера!» — несло с депутатских мест. «Пусть меня выслушают или убьют!» — отвечал он. Газеты являлись проверенным способом убеждения провинции, поэтому он снова стал издавать газету, назвав ее «Письма к своим доверителям». Как и прежде в «Защитнике конституции», в новой газете он излагал исключительно собственные взгляды: революция не завершена, «царство равенства» не достигнуто, «слабый» еще не получил защиту от «сильного», а «новые интриганы» хотят создать республику аристократии денежного мешка.

Наступление на фронтах стало весомой поддержкой правительства жирондистов, в свое время больше всех ратовавших за войну. С конца сентября французские войска перешли в наступление по всем направлениям. Армия Монтеスキю подошла к границам Савойи, входившей в состав Сардинского королевства, а перешедший границу Бельгии Дюмурье 6 ноября дал сражение австрийцам при Жемаппе и одержал убедительную победу; к концу месяца Австрийские Нидерланды были освобождены от австрийцев^[14]. Вогезская армия под командованием генерала Кюстина заняла Майнц. Поначалу население занятых территорий с энтузиазмом приветствовало войска республики, так что 19 ноября Конвент даже объявил, что «французская нация окажет братскую помощь всем народам, которые захотят обрести свободу». Однако Робеспьер считал, что французы не должны «в качестве Дон Кихотов рода человеческого обойти весь мир, свергая все троны». Не поддерживая Дантона с его требованием «естественных границ» («воды Рейна и океана, вершины Альп и Пиренеев»), он тем не менее соглашался с «присоединением» тех народов, которые «хотели бы соединиться с нами». В свое время он уже поддержал просьбу жителей папских владений Авиньон и Конта-Венессен о присоединении к Франции. В начале 1793 года он писал: «Предоставим народам взять свою судьбу в их собственные руки». По активной просьбе граждан Савойи и Ниццы эти территории присоединили к Франции; под нажимом французов к Франции присоединилась Бельгия. В Майнце под влиянием революционных идей образовалась Майнцкая республика, однако продержалась она недолго, и, когда пруссаки пошли в наступление, горожане сами открыли им ворота.

Ликование от военных успехов прошло быстро: начались крестьянские и рабочие выступления, связанные с повышением цен на продукты, особенно на хлеб; остро встал вопрос о регламентации хлебной торговли. Опасаясь реквизиций на нужды армии и не желая продавать хлеб за стремительно обесценивавшиеся ассигнаты, крестьяне прятали зерно, так что, несмотря на хороший урожай, повсюду начался голод. На местах создавались народные продовольственные комитеты, следившие, чтобы спекулянты не скупали товар. Борьба между богатыми и бедными особенно обострилась в городах, где значительное число населения, ранее занятого обслуживанием аристократов и производством предметов роскоши, осталось без работы. В Париже у булочных выстраивались очереди, начались погромы, народ требовал карать спекулянтов. Выразителями интересов парижского плебса выступили «бешеные», как стали именовать крайне левую фракцию, состоявшую в основном из кордельеров, выходцев из народа и живших с ним одной жизнью.

Конвент отверг требования «бешеных» и единодушно высказался против отмены свободы торговли и таксации цен на продовольствие. Несмотря на близость позиций, нападки на «бешеных» поддержал Марат; он даже потребовал контроля над печатью, ибо «для ускорения возврата к Старому порядку достаточно, чтобы какой-нибудь ловкий мошенник у себя в газете сравнил цены на продукты питания при деспотизме и при Республике»^[15]. А «разграбление нескольких магазинов и повешение у их дверей перекупщиков» должны были, по мнению Марата, «положить конец злоупотреблениям». Повышенное внимание к экономическим проблемам проявил самый юный депутат Антуан де Сен-Жюст. «Изобилие есть результат хорошего управления, а его-то нам и не хватает... а в нашем государстве я вижу только нищету, гордыню и бумагу... Нищета породила революцию, нищета может погубить ее», — уверенно заявил он с трибуны Конвента. Поддержав свободу торговли и связав повышение цен с инфляцией бумажных денег, он предложил конкретные меры по борьбе с дефицитом продовольствия, сделав особый упор на запрет вывоза зерна за границу. Сен-Жюст первым или одним из первых инстинктивно угадал возросшую по сравнению со Старым порядком роль бюрократии в общественных структурах и, как следствие, увеличение числа чиновников: «Чем больше функционеров занимают место народа, тем больше будет вреда для демократии».

В отличие от жирондистов, требовавших наказания для тех, кто посягал на свободу торговли, Робеспьер заявил, что «использование штыков для подавления голода чудовищно»; тем не менее его речь,

посвященная продовольственному вопросу, выглядела какой-то половинчатой. «Необходимые человеку продукты питания так же священны, как сама жизнь. Все, что необходимо для ее сохранения, является общим достоянием всего общества. Лишь избыток является личной собственностью и может быть отдан на откуп торговцам... Всякая торговая спекуляция, которую я совершаю в ущерб жизни мне подобного, не торговля, а разбой и братоубийство», — говорил он, однако требования таксации также не поддержал. Пытаясь усидеть на двух стульях, иначе говоря, понравиться и беднякам, и людям состоятельным, заинтересованным в свободной торговле, Неподкупный, по его собственным словам, отстаивал интересы не одних лишь неимущих граждан, но «также интересы собственников и торговцев». Подобно Сен-Жюсту, он называл причиной голода «пороки администрации, либо изъяны самих законов», а в качестве меры борьбы со спекуляцией предлагал содействовать свободному обращению зерна, ибо «товарооборот делает доступным для всех граждан продукты первой необходимости и приносит в хижины изобилие и жизнь». Для этого следовало «определить, сколько зерна произвела каждая область и сколько зерна собрал каждый землевладелец и земледелец», иначе говоря, ввести учет и контроль и «заставить каждого торговца зерном продавать его на рынке и запретить всякую перевозку закупленного зерна ночью». Неясно, каким образом предполагалось выполнять подобного рода предписания, тем более что «самая большая услуга, которую может оказать законодатель, — это заставить людей быть честными». Иными словами, в ход снова шли моральные критерии. «Богатые себялюбцы, поймите, к каким страшным последствиям может привести борьба, которую спесь и низменные страсти ведут против справедливости и человечности... Учитесь вкушать прелести равенства и радости добродетели или, по крайней мере, довольствуйтесь теми преимуществами, которые дает вам богатство, и оставьте народу хлеб, работу и добрые нравы».

Вторым по важности после продовольственного вопроса был вопрос об участии короля. Сен-Жюст уже говорил в своем выступлении, что «все злоупотребления сохранятся, пока жив король». Но толчком к началу дебатов послужило сообщение слесаря Гамена, наставника Людовика XVI в слесарном деле, которым тот давно увлекался. Вместе с Гаменом Людовик соорудил в Тюильри железный шкаф, замаскировав его под стену; в этом подобии сейфа он хранил секретные документы. Признание Гамен сделал министру Ролану, и тот собственноручно изъял королевские бумаги из шкафа. Впоследствии Ролана обвинят в том, что он уничтожил

документы, уличавшие жирондистов в сношениях с двором. Обвинение недоказуемое, ибо значительную часть переписки двора Мария Антуанетта передала своей доверенной чтице мадам Кампан, которая часть писем сожгла, а часть сумела спрятать. Но и представленных Роланом бумаг хватило, чтобы поднять бурю негодования среди республиканцев. Особенное возмущение вызвало подтверждение ходивших в свое время слухов, что кумир народа Мирабо получал деньги от короля; разъяренный народ расколотил бюсты своего кумира и выбросил его прах из пантеона. Переписка Людовика, одним из корреспондентов которого, к изумлению многих, оказался Дюмурье, давала повод обвинить короля в двуличии и ведении тайных переговоров с вражескими державами. Жирондист Валазе, представивший доклад о деятельности Людовика XVI со времени взятия Бастилии, сказал, что «за свои преступления король подлежит наказанию». Но Конституция 1791 года, которую формально никто не отменял, гарантировала монарху неприкосновенность. Валазе нашел выход из положения: «Королевская неприкосновенность вовсе не есть абсолютное понятие. <...> Если король совершает беззакония... он не имеет права уклоняться от наказания под предлогом неприкосновенности. <...> Король должен быть судим за них как простой гражданин». Однако Валазе не сказал, какого наказания заслуживал Людовик XVI. Соглашаясь предать короля суду, жирондисты не желали его казни, ибо были убеждены, что падение головы монарха повлечет за собой новые и новые жертвы и осложнит внешнеполитическое положение страны.

Робеспьер, для которого дебаты о судьбе короля являлись очередным этапом борьбы с Жирондой, не хотел устраивать процесс, так как, по его мнению, вина Людовика XVI, или, как его теперь называли, гражданина Капета (по имени основателя династии Гуго Капета), не требовала доказательств. Однако он, как всегда, крайне осторожно подбирал слова, оставляя возможность для различной их трактовки. Предлагая судить короля «на основании законов вечной справедливости», он говорил: «Король должен быть наказан, иначе Французская республика есть химера... Национальный конвент должен объявить Людовика изменником родины и преступником в отношении человечества и приказать покарать его как такового». Не исключено, что, подобно депутатам Жиронды, Неподкупный был бы не прочь сохранить короля как дальнейшую разменную политическую монету; но он не мог себе позволить оказаться в одном лагере со своими врагами. И тогда выступил Сен-Жюст. Прекрасный, как Антиной, холодный и самоуверенный, он без колебаний заявил: «Мы должны не столько судить Людовика, сколько поразить его.

<...> Невозможно царствовать и не быть виновным... Всякий король — мятежник и узурпатор». Сен-Жюста поддержала Коммуна, от имени санкюлотов Парижа потребовавшая мести за страдания, причиненные Людовиком XVI народу. Иначе говоря, Конвенту предлагалось просто проголосовать за казнь короля. Приговорить Людовика Капета без суда и следствия.

Но депутаты, включая монтаньяров и Марата, не могли согласиться с тем, что исторически сложившееся королевское правление являлось преступлением, и потребовали судить короля. Тем более что в целом по стране все еще верили в светлый образ монарха. Робеспьер не был уверен в решении, какое примут депутаты, многие из которых хотели прикрыть короля неприкосновенностью, гарантированной ему отмененной де-факто Конституцией 1791 года. Поэтому 3 декабря с трибуны Конвента он заявил, что речь пойдет не о судебном процессе, ибо члены Конвента — не судьи, а о «мерах общественного спасения», об «акте государственной прозорливости». Судить короля означало судить саму Революцию. «Народы судят не как судебные палаты; не приговоры выносят они. Они мечут молнию; они не осуждают королей, они повергают их в небытие». «Людовик должен умереть, чтобы здравствовало отечество», — завершил свою речь Неподкупный. Такой вывод отвечал желаниям Коммуны и санкюлотов Парижа, и это ободряло оратора. А если верить Пруару, то своим соратникам-якобинцам Робеспьер сказал: «Разве вы не понимаете, что если Людовик не заслужил смерти, значит, ее заслужили мы!» Но так как многие помнили, что во времена Конституанты Робеспьер активно выступал против смертной казни, в своей речи он объяснил, что заставило его поступиться своими принципами: «Что касается меня, я ненавижу смертную казнь, которую расточают ваши законы, и я не испытываю в отношении Людовика ни любви, ни ненависти: я ненавижу лишь его злодеяния. Я обратился с требованием об отмене смертной казни к Собранию, которое вы все еще называете учредительным, и не моя вина, что основные положения разума были восприняты этим собранием как нравственные и политические ереси. Но если вам никогда не приходило в голову опротестовать эти законы, чтобы смягчить участь стольких несчастных, в преступлениях которых виновато скорее правительство, чем они сами, что заставляет вас вспомнить об этом лишь тогда, когда речь идет о защите величайшего из преступников? Вы просите сделать исключение и не применять смертную казнь в отношении того единственного, кто может служить ей оправданием?»

Робеспьер требовал от Конвента объявить Людовика «предателем

французской нации, преступником против человечества». Конвент принял решение судить Людовика Капета согласно революционной процедуре, с предоставлением ему защитников; ими стали адвокаты Мальзерб, Тронше и де Сез. Защитники сразу заявили, что если Людовика судят как простого гражданина, то надобно выбрать присяжных и дать подсудимому право апелляции. Ибо, сказал де Сез, «я ищу среди вас судей, но нахожу только обвинителей». Разумеется, все понимали, что никаких апелляций не будет. Приговор вынесут единожды, и это будет смерть. На этот случай жирондисты предложили передать вынесенный Конвентом смертный приговор на обсуждение первичным собраниям граждан, иначе говоря, предоставить народу самому решить участь монарха. Они надеялись, что народ проголосует против смертной казни, которой настойчиво требовали монтаньяры во главе с Робеспьером, и тогда при поддержке разгневанных масс они уберут своих противников с политического пути. В ответ Робеспьер снова выступил в Конвенте с пространной речью и убедительно доказал, что обращение к народу вызовет лишь хаос, раскол страны и гражданскую войну. Если уж в Конвенте нет согласия, как смогут найти его члены сорока тысяч первичных организаций? «Я требую, чтобы Национальный конвент объявил Людовика виновным и заслуживающим смерти», — завершил свою речь Неподкупный.

Последней попыткой спасти жизнь короля явилось выступление 16 января 1793 года жирондиста Ланжюине, предложившего установить для принятия решения о казни большинство в две трети голосов. Предложение отвергли. «Я голосую за смертную казнь», — в тот же день с трибуны Конвента заявил Робеспьер. Марат предложил устроить открытое поименное голосование, иначе говоря, предложил депутатам повязать друг друга кровью короля. Конвент практически единодушно признал Людовика виновным и осудил на смерть с небольшим перевесом голосов. «Пути к отступлению отрезаны», — сказал тогда Леба. «Мы заключили договор со смертью», — промолвил Базир. Возможно, если бы голосование было закрытым, результаты оказались бы иными. Но обратного хода уже не было. Утром 21 января 1793 года Людовик XVI был казнен. Революция перешла черту, отшатнувшую от нее многих. У других же, напротив, появилось чувство безнаказанности. Герцогиня де Ла Тур дю Пен, бывшая в тот день в Париже, писала: «Мы не могли поверить, что столь страшное преступление свершилось. <...> Увы! В городе-цареубийце царила мертвая тишина. В половине одиннадцатого открыли городские ворота, и все завертелось, как и прежде... не произошло ни малейших изменений».

В очередном номере «Писем к своим доверителям», вышедшем после казни короля, Робеспьер писал: «Граждане, тиран пал от меча закона... И весь народ в едином возвышенном порыве воскликнул: «Да здравствует Республика!» — дабы весь мир узнал, что вместе с тираном погибла и тирания». Про закон Робеспьер лукавил, видимо, полагая, что народ, требовавший головы короля, не будет разбираться в его хитросплетениях; так и случилось. Для якобинцев казнь короля омрачило случившееся накануне убийство Лепелетье, маркиза де Сен-Фаржо, депутата-монтаньяра, который с первых дней революции встал на сторону демократии и «без слов отдавал часть своих богатств для обеспечения победы дела свободы и для облегчения человеческих страданий». Монархист Пари заколол Лепелетье в трактире за то, что тот голосовал за казнь короля. В своей речи, посвященной памяти мученика революции Лепелетье, Робеспьер призвал граждан оросить урну с прахом первой жертвы революции «слезами, грозными для всех тиранов». Главными праздниками революции становились погребальные торжества. Грань, отделявшая закон от беззакония, была стерта.

После казни Людовика XVI Франции, по словам Бриссо, «предстояло сражаться на суше и на море со всеми тиранами Европы». Ибо если за полгода пребывания Людовика в темнице народ привык обходиться без короля и встретил его гибель довольно равнодушно, то этого нельзя сказать о европейских дворах, где казнь короля вызвала возмущение и гнев. К австро-прусской коалиции присоединились Англия, Россия, Нидерланды и чуть позже Испания. Англия и Россия не только заключили военный союз против Франции, но и закрыли французским товарам доступ в свои порты, а вскоре это сделали и все участники коалиции, включая герцогство Тосканское, хотя оно Франции войну и не объявляло. Экономическая блокада Франции была прежде всего делом рук английского премьер-министра Питта, в свое время отказавшего в финансовой помощи роялистам, пытавшимся спасти короля: разодранная гражданской войной Франция была гораздо более выгодна его стране. Ведь, по мнению англичан, лучшую жемчужину британской короны, а именно ее владения в Северной Америке похитили при активной помощи именно французов.

Необходимость вести войну почти на всех границах еще больше разобщила жирондистов и монтаньяров. Для партии жирондистов казнь монарха стала поражением; отставка Ролана с поста министра внутренних дел ослабила их позиции в правительстве. «Ради блага Республики Ролан не должен больше быть министром... он вообразил, что Париж хочет обрести главенство над всеми остальными коммунами», — говорил

Дантон. Однако в Конвенте позиция Жиронды была по-прежнему сильна. И Робеспьер, предпочитавший парламентскую борьбу любой другой, начал исподволь сколачивать вокруг себя обширную группу, на которую «гора» могла бы положиться при голосовании. К этому времени Конституционный комитет, в состав которого из именитых якобинцев вошел только Дантон, завершил работу над новой республиканской конституцией, автором проекта которой явился Кондорсе. Но монтаньяры, и прежде всего Робеспьер, не могли принять конституцию, исходившую от жирондистов, ибо новая конституция означала новые выборы, в победе на которых монтаньяры уверены не были — в отличие от жирондистов, по-прежнему полагавшихся на поддержку департаментов.

Весь январь, февраль и март Робеспьер развенчивал Жиронду, утверждая, что она клеветает на Париж и «гору» и подбивает народ на восстание. «Нет ни одного заседания, которое не преследовало бы цель погубить патриотов, настроить департаменты против славного народа Парижа... Вам известны уловки, к которым прибегали, чтобы убедить, будто народом Парижа верховодит небольшая кучка мятежников... Совершенно очевидно, что замысел интриганов заключается в том, чтобы вызвать в Париже серьезные беспорядки». Жирондисты действительно предлагали собрать вдали от столицы своего рода «запасной» Конвент, и беспорядки могли стать весомым предлогом для перевода Собрания в провинцию. «Наш долг в настоящее время заключается в том, чтобы не допустить восстания, ибо восстание, которое является одной из самых священных обязанностей, может стать опасным, если оно направлено против Конвента», — заявлял Неподкупный и в Собрании, и у якобинцев, и у кордельеров. Понимая, что сила жирондистов заключается в их поддержке провинцией, Робеспьер стремился реабилитировать столицу в глазах провинциалов и убедить их «любить «гору», а не бояться ее». В Конвенте все меньше депутатов дерзали напрямую нападать на Неподкупного. Сам же он говорил: «Да, я претендую удостоиться чести стать первой жертвой бриссотинцев, но прежде, чем меня убьют, я хочу доставить себе удовольствие разоблачить их». Если судить по скудной страстями жизни Робеспьера, возможно, процесс разоблачения и в самом деле доставлял ему удовольствие.

Тем временем цены на хлеб, сахар, кофе и продукты первой необходимости стремительно росли. В столице Конвент доплачивал булочникам, чтобы фунт хлеба стоил не более трех су. Народ требовал введения максимума или твердых цен, а некоторые даже «аграрного закона», дабы каждому бедняку был предоставлен кусок земли, который он

смог бы обрабатывать своими силами. Предводители «бешеных» — священник Жак Ру, некогда укрывавший у себя в доме Марата, почтовый чиновник Жан Варле, мелкий служащий Теофиль Леклерк — от имени народа требовали от депутатов Конвента выполнения обязательств, взятых перед избирателями. «Бедняк, как и богатый, даже больше, чем богатый, совершил революцию. Все изменилось вокруг бедняка — только он остался в прежнем положении», — вторил «бешеным» прокурор Коммуны Шометт.

12 февраля Жак Ру представил в Конвент петицию от всех сорока восьми секций Парижа, «поддержанную всеми 83 департаментами», в которой говорилось, что депутатам мало быть республиканцами, надо еще дать народу хлеба, «ибо там, где нет хлеба, там нет законов, нет республики, нет свободы». И «гора», и Жиронда встретили «бешеных» в штыки; ярые враги единодушно выступили против новых политических соперников — санкюлотских вожаков, за которыми стояла реальная сила, готовая в любую минуту взорваться новым восстанием. И жирондисты, и монтаньяры называли «бешеных» агентами Питта и переодетыми аристократами. «Я сказал бы, что в сочинении петиционеров не хватает анализа общих или особенных для города Парижа причин того искусственного или стихийного голода, который они перед нами разоблачают. Исследование этих причин должно было быть главным предметом их рвения, если оно было чистым и просвещенным. <...> Народ руководствуется всегда чистыми мотивами. Он может любить только общественное благо, ибо благо общества отвечает интересам народа. Но интриганы, столь же хитрые, сколь народ прост, и столь же извращенные, сколь народ добр, пытаются иногда злоупотреблять его добродетелями, — говорил Робеспьер, через фразу вознося хвалы народу и умело утопив в словах суть петиции. — Народ умерен, потому что он горд; он мягок, потому что он силен; он терпелив, потому что непобедим». Даже Марат, всегда поддерживавший требования разгневанного народа, заявил, что среди петиционеров «есть подлые аристократы». Возможно, сам того не желая, Марат стал для «горы» своего рода щитом против «бешеных», с которыми у него было гораздо больше общего, чем с Робеспьером. В итоге ораторы, которые «ужинали каждый день», отвергли петицию парижской бедноты.

Остановить санкюлотов, выступавших против скупщиков и спекулянтов, уже было невозможно. 24, 25 и 26 февраля в Париже начались столкновения народа с лавочниками. Парижские прачки задержали баржу с мылом, расхватили его и отправились в Конвент, где во всеуслышание заявили, что если мыло подорожает, то санкюлотам придется обходиться

без чистого белья. Толпы разгневанных женщин штурмовали бакалейные лавки и насильно отбирали мыло и сахар по низким, ими же назначенным ценам. Не обходилось и без грабежей и погромов. Ряд историков полагают, что, как и в начале октября 1789 года, голод в Париже был отчасти спровоцирован, ибо запасов муки хватало, а среди арестованных за грабежи обнаруживали мужчин и женщин с холеными руками. Было это происками роялистов или, как считал Галарт де Монжуа, результатом интриг «банды Робеспьера», распространявшей по городу тревожные слухи о надвигавшемся голоде? Возможно, доля истины в его предположении есть, ибо руками «бешеных» Робеспьер хотел разделаться с жирондистами.

И жирондисты, и монтаньяры, все, как один, отвергли требования санкюлотов, усмотрев в нем покушение на собственность. Народ, обитавший в воображении Робеспьера, «терпеливо переносит неудобства, неизбежно связанные с великой Революцией», ведь сам он, проживая у Дюпле на всем готовом, далек от борьбы за пропитание, а как юрист исполнен уважения к собственности. Поэтому 25 февраля в речи в Якобинском клубе Неподкупный вновь говорил о «коварных планах врагов свободы»: «Налицо заговор, направленный против патриотов. <...> Народ никогда не бывает не прав. <...> Я не говорю вам, что народ виноват... что его волнения составляют преступления. Но разве когда народ поднимается, он не должен иметь перед собой достойную его цель? Разве какие-то жалкие товары должны его занимать?.. Народ должен подняться не для того, чтобы подобрать сахар, а для того, чтобы раздавить разбойников». Народ, к которому всегда апеллировал Робеспьер, должен был выходить на улицу, чтобы потребовать головы заговорщиков, а не хлеба или масла. «Свергнуть Бастилию, уничтожить монархию, разгромить тиранов и наказать предателей, вот чем заняты патриоты, вот каковы подвиги французского народа. Все остальное исходит от его врагов», — заявлял Робеспьер. Депутата, выступившего у якобинцев с гневной речью против тех, кто грабил лавки, освистали зрительские трибуны.

Искушенный политик, для противостояния «бешеным» Робеспьер был готов на временный союз с жирондистами. При этом он ни на минуту не забывал, что Жиронда по-прежнему враг, и исподволь внушал парижанам, что «заговорщики», «мошенники» и «разбойники», подбивающие народ на мятеж, чтобы потом «иметь возможность расстрелять его», — это партия Жиронды. И, быть может, даже сам верил в то, что волнения организованы жирондистами с целью перед всей страной выставить парижан «анархистами» и врагами собственности. «Народ Парижа умеет поражать молнией тиранов; но он не совершает налетов на бакалейные лавки», —

говорил Неподкупный, уверенный, что народ согласен с ним, так как он избранник этого народа. Ибо, по мысли Руссо, «чтобы открыть наилучшие правила общежития, надо иметь ум высокий, который бы видел страсти людей и не испытывал ни одной из них». Именно таким умом обладал Робеспьер, народный избранник, облаченный в доспех добродетели, защищавший его от любых страстей. Но, похоже, в этом доспехе все же имелась брешь: когда мимо дома Дюпле везли на казнь короля, Неподкупный велел мадам Дюпле закрыть все окна.

В тревожные февральские дни Робеспьер, узнав о кончине любимой жены Дантона Габриэль, написал своему соратнику соболезнующее письмо, которое приводят в пример, когда хотят показать, что Робеспьеру были присущи простые человеческие чувства: «Если в том несчастье, которое одно способно потрясти душу такого человека, как ты, уверенность в сердечной преданности друга может принести тебе утешение, ты найдешь его во мне. Я люблю тебя больше, чем когда-либо, и буду любить до самой смерти. В эти минуты я нераздельно с тобой. Не закрывай своего сердца перед другом, который переживает со всей полнотой твою горе. Будем вместе оплакивать наших близких, и пусть действие нашей глубокой печали вскоре почувствуют тираны, виновники наших общих и личных несчастий. Мой дорогой, я посылаю тебе эти слова, идущие из глубины сердца; я бы уже прилетел к тебе, если бы не щадил первые минуты твоей справедливой скорби». Слова о «тиранах, виновниках наших общих и личных несчастий» удивили Дантона, равно как и весь тон письма, резко отличавшийся от обычной строгой чинности Робеспьера; возможно, поэтому он и сохранил его. Но был ли искренен Робеспьер? Ведь с самого начала он видел в Дантоне главным образом полезного союзника. Союзника, который, став опасным, подлежит уничтожению...

10 марта несколько секций попытались поднять восстание против Конвента, но ни большинство секций, ни кордельеры, ни Коммуна восстания не поддержали. Разгромив пару жирондистских типографий, депутация от воинственных секций явилась в Конвент с петицией и потребовала очистить Конвент от жирондистов, «депутатов-изменников». Возмущенные жирондисты хотели арестовать петиционеров, монтаньяры спасли их от ареста, однако требование не поддержали: посягательство на депутатскую неприкосновенность являлось оружием обоюдоострым. К тому же обе враждующие партии придерживались социально-политической теории Руссо, полагавшего частную собственность неприкосновенной основой общества. Тем не менее, увидев, что народный гнев направлен более в сторону Жиронды, нежели «горы», Робеспьер с новыми силами

атаковал противника, заявляя, что «главный источник наших бед — ажиотаж. <...> Ажиотаж повсюду создает голод, он делает продукты недоступными для бедных граждан». И в качестве неотложной меры предложил «обратиться к народу с призывом против внутренних и внешних врагов». «Когда народ будет просить хлеба, мы дадим ему речь Робеспьера», — ответила Неподкупному Жиронда.

Вместо действий в Конвенте кипели страсти. Называя противников интриганам и заговорщиками, Робеспьер обвинял жирондистов в умеренности и даже потребовал предать суду. Отметим: определение «умеренный» становилось все более опасным, а вскоре его и вовсе приравняют к определению «контрреволюционный». С ответом выступил пламенный оратор Жиронды Верньо, чья эмоциональная импровизация привлекла на сторону жирондистов большинство «болота», так как, несмотря на нападки на якобинцев, лейтмотивом ее стала именно умеренность: «Я знаю, во время революций мечтать успокоить своей волей народное волнение было бы таким же безумием, как если бы кто-то вздумал приказать утихнуть волнам, подгоняемым ветром. Обязанность законодателя — насколько возможно, предупреждать мудрыми советами бедствия, причиняемые революцией, и если для того, чтобы быть патриотом, придется объявить себя защитником насилий и убийств, то — да! — я умеренный!»

На фронте дела принимали дурной оборот. Австрийцы начали наступление, французским войскам пришлось покинуть территорию Бельгии, армия Дюмурье — вопреки приказу — оставила Голландию... Война снова грозила захлестнуть территорию Франции, а значит, революция и свобода вновь оказались под угрозой. Армии срочно требовалось пополнение, и Конвент издал декрет об обязательном призыве трехсот тысяч рекрутов. В Лионе, Бордо, Марселе начались волнения, возглавленные «бешеными», к которым присоединялись роялисты; возрастала активность обществ «революционных гражданок» и всевозможных общественных объединений, стоявших на позициях эгалитаризма. Кто-то должен был пробудить увязший в межпартийных дразгах Конвент. Этим человеком стал Дантон. В трехчасовой импровизированной речи он указал на грозящую стране опасность и, призвав депутатов обратиться к департаментам и секциям, разъяснил необходимость отправить во все уголки страны представителей Конвента, которые будут поднимать революционный дух и формировать новые батальоны волонтеров. «Пусть ваши комиссары отправятся в путь немедленно, в эту же ночь. Пусть они скажут богачам: у народа есть только

кровь. Он ее расточает. Давайте же, трусливые мерзавцы, жертвуйте вашими богатствами». Призыв Дантона был услышан. Уверенные в своей популярности в провинции жирондисты допустили, чтобы комиссарами назначали якобинцев, а те — помимо обложения богатых военным налогом — сделали все, чтобы дискредитировать своих противников.

От имени Коммуны Шометг потребовал, чтобы Конвент учредил «чрезвычайный уголовный суд (то есть революционный трибунал), который будет безапелляционно и без участия кассационного суда судить всех изменников, заговорщиков и контрреволюционеров». Монтаньяры поддержали предложение, в то время как жирондисты стали отговаривать Собрание от столь опасного, в том числе и для самих депутатов, декрета. Часть монтаньяров поддержала жирондистов. Тогда выступил Дантон, напомнив, что если депутаты не дадут законной возможности покарать врагов революции, то могут повториться события сентября прошлого года. «Спасение народа требует великих средств и жестких мер... Я не вижу среднего между обычным правосудием и революционным трибуналом... Учредим трибунал... наименее плохой, дабы меч закона висел над головой всех его врагов». И несмотря на протесты, к которым присоединилась и часть монтаньяров, декрет об учреждении чрезвычайного трибунала был принят. Следом приняли декрет, согласно которому каждый, кто станет призывать к исполнению «аграрного закона», будет казнен. А в конце марта во имя «общественного спасения» создали комитеты революционной бдительности, главные органы будущего террора. Если верить Пруару, гасконец Барер де Вьёзак, избравшийся в Конституанту и избранный в Конвент, член первого и второго Комитетов общественного спасения, довел число этих комитетов до двадцати одной тысячи, содержание их стоило Франции 432 миллиона франков в год, и у них «не было иного дела, как пить народную кровь и путем преступлений и убийств продвигать вперед революцию». Наверное, сейчас уже сложно сказать, насколько в своей оценке был прав или не прав современник революции аббат Пруар.

«Обязанностью революционного трибунала является карать авторов сочинений, клеветующих на принципы свободы, пробуждающих фанатичную привязанность к королевской власти и вызывающих у народа сострадание к гибели тирана; тех, кто очерняет в глазах общественного мнения патриотов, проголосовавших за смерть Капета», — сформулировал задачу нового карательного органа Робеспьер; он сразу назвал новый трибунал «революционным». Но при этом, видимо, забыл, что согласно Декларации прав человека и гражданина «никто не должен быть притесняем за свои взгляды», так как «свободное выражение мыслей и

мнений есть одно из драгоценнейших прав человека». Таким образом, первый шаг по пути притеснения свободы мнений был сделан, причем при полной поддержке санкюлотской Коммуны. «Интересы революции могут потребовать для пресечения заговора принять ряд мер, направленных на ограничение свободы прессы», — заявил Робеспьер в апреле, имея в виду газеты жирондистов. Пройдет немного времени, и под запретом окажется мнение всех, кто отважится возражать Неподкупному. Согласные же с ним пойдут в своих пожеланиях еще дальше. «Мне бы хотелось только одну газету, но чтобы она издавалась под контролем Конвента. <...> Конвент бы сэкономил бумагу, а читатели получали правдивую и полную информацию», — писал Робеспьеру из Арраса его друг Бюиссар.

История вершилась не в пользу жирондистов. В марте стало известно об измене генерала Дюмурье, чье имя — во многом благодаря стараниям Марата — связывали с Жирондой. Однако Дюмурье был дружен не только с Бриссо, но и с Дантоном; даже Робеспьер до последнего открыто заявлял, что доверяет «главной военной надежде Республики». Однако в заговоре и измене обвинили фракцию «государственных людей», как ехидно именовал жирондистов Марат. Конвент вызвал генерала в Париж, но тот не явился, а написал дерзкое письмо, в котором, называя Конвент сборищем дураков во главе с негодяями, потребовал разогнать Якобинский клуб, отменить республику и восстановить монархическую конституцию. Войска Дюмурье не поддержали, и он, сдав австрийцам четырех комиссаров, присланных Конвентом для разбирательства его дела, перешел на сторону врага.

Известие о предательстве Дюмурье дошло до Парижа в первых числах апреля. Опасаясь паники, жирондисты, сколько могли, сглаживали сообщения с фронта; все же по городу поползли самые разные слухи, пугая парижан наступлением австрийцев и сдачей столицы врагу. Популярность «бешеных» сильно возросла: они еще в начале марта называли Дюмурье предателем, а ответственность за предательство генерала возлагали на поддерживавших его жирондистов (2 апреля газета Бриссо «Французский патриот» напечатала похвалу Дюмурье). 3 апреля на вечернем заседании Конвента Неподкупный заявил: «Пора покончить с этой комедией. <...> Конвенту пора принять революционные меры. До сих пор все предложения, что я слышал, являлись исключительно полумерами, скрывавшими истинные размеры наших бедствий». И, обвинив созданный неделю назад Комитет обороны в малодушии, заявил, что выходит из его состава.

Еще один удар в спину Республики нанес мятеж на западе Франции, в департаменте Вандея, что на побережье Атлантического океана. Там возник

мощный очаг сопротивления революции; поводом для восстания послужил новый набор волонтеров для армии. Мятеж разгорался стремительно, первые его жертвы пали в городке Шоле; в Машкуле и Нуармутье счет убитым республиканцам пошел на сотни. Вскоре за оружие взялись более ста тысяч крестьян, что дало повод обвинить жирондистов в бездеятельности и нежелании подавить мятеж, стремительно перераставший в гражданскую войну. В этой напряженной обстановке Робеспьер вспомнил о «вдове Капет» и рекомендовал судить ее, ибо «смерть Марии Антуанетты должна пробудить во всех сердцах священную ненависть к королевской власти». Всех членов семейства Капет обязали «в кратчайший срок покинуть территорию республики». Неподкупный требовал «очистить Париж от многочисленных интриганов, негодяев и эмиссаров аристократии», так как «первейшей обязанностью народа является изгнание контрреволюционеров»; призывал секции «очиститься от дурных граждан», ибо «как только враги свободы окажутся вдали от нас, свобода восторжествует». Он продолжал делать политику в категориях морали: зло надобно искоренять, тогда его не будет. Откуда берется зло? Зло творят интриганы и мошенники, следовательно, если интриганы и мошенники будут уничтожены, будет уничтожено и зло. Но если раньше все его «интриганы», «аристократы», «федералисты», «добродетельные труженики», «добрый народ» были всего лишь боевым политическим лексиконом, теперь тот, кого причисляли к стану зла, рисковал расстаться с головой.

День за днем выступая в Конвенте, Робеспьер призывал: «Именем родины заклинаю вас изменить нынешнюю систему нашего правительства». За месяц до создания Комитета общественного спасения он уже определил его предназначение: «Необходимо доверить исполнение законов комиссии, состоящей из истинных патриотов, комиссии столь надежной, что больше не нужно будет скрывать от вас ни имен предателей, ни предательских интриг». Малейшая попытка прервать его речь вызывала у него искреннее возмущение: «Удивительно, когда говорят о благе отечества, дюжина индивидов позволяет себе беспрестанно прерывать оратора. Неужели надо отказаться от служения своей стране, раз подобные беспорядки доставляют кому-то удовольствие?» Уверенный в том, что слова его правдивы, необходимы и справедливы, он не понимал, как можно его не слушать. Он говорил у якобинцев: «Никогда еще никто не замышлял такого коварного заговора. Никогда еще измена, что окружает нас, не чувствовала себя столь вольготно». И это из-за того, что ему, Робеспьеру, не дали говорить в Конвенте: «Я не мог возвысить голос из-за слабости своего

голосового органа, а потому не смог должным образом указать на опасности, что угрожают патриотам»; «Народ должен спасти Конвент, а Конвент, со своей стороны, спасет народ».

Какой Конвент имел в виду Робеспьер, если предложения депутатов-жирондистов по-прежнему собирали большинство голосов? Видимо, он все же надеялся очистить Собрание от жирондистов. Атак как все помнили сентябрьские убийства, то, вероятно, можно было устранить Жиронду законным путем, припугнув «болото» народным восстанием. Конвент 1 апреля принял декрет, лишавший права личной неприкосновенности каждого депутата, против которого возникло более или менее обоснованное подозрение в сообщничестве с врагами свободы, равенства и республики.

Робеспьер колебался: он сам опасался мятежников, готовых двинуться на Конвент с требованием голов спекулянтов и перекупщиков и установления твердых цен на продукты первой необходимости. Но дальше выжидать нельзя, и Неподкупный решился на несвойственный ему шаг: 3 апреля он, привыкший раскрывать заговоры и призывать кары на головы заговорщиков, не называя конкретных имен, заявил, что «для спасения общества необходимо прежде всего декретировать виновными всех, кто был уличен в сообщничестве с Дюмурье, и прежде всего Бриссо».

После этой речи Робеспьер целую неделю не появлялся ни в Конвенте, ни в клубе; скорее всего, это был испытанный тактический прием — выждать время и посмотреть, как станут разворачиваться события. Без него якобинцы направили в провинциальные филиалы клубов циркуляр, призывавший требовать отозвания депутатов-жирондистов. Без него сформировали Комитет общественного спасения, заменивший распущенный Комитет обороны. Новый комитет состоял из девяти членов, его заседания проходили за закрытыми дверями, а решения исполнялись немедленно. Именно таким и видел комитет Неподкупный. Из якобинцев в новый орган власти попали только Дантон и Делакура, остальные — во главе с Барером — не принадлежали ни к одной фракции.

Жирондисты тотчас заговорили о «диктатуре комитета». В ответ прозвучала реплика Марата: «Свободу должно насаждать силой, и сейчас настал момент, когда надо немедленно организовать деспотизм свободы, дабы смести с лица земли деспотизм королей». Слова Марата нашли поддержку у Робеспьера. Появившись в Конвенте 10 апреля, он с необычайной яростью напал на жирондистов, «влиятельную клику», состоявшую в заговоре с тиранами всей Европы, дабы навязать народу «короля с какой-нибудь аристократической конституцией». В привычной манере — указывать, разоблачать, осуждать — он громил своих

противников, не забывая очередной раз выставить себя жертвой их клеветы: «Они сочинили и постоянно повторяли нелепую басню о диктатуре, обвиняя в стремлении к таковой гражданина без влияния и без честолюбия, и таким образом пытались отвлечь внимание как от осуществляемой ими самими ужасной олигархии, так и от плана новой тирании, которую они хотят возродить. Этим путем они хотели также вызвать у французского народа отвращение к новорожденной республике и пресечь распространение нашей революции в соседних странах». Смешивая факты с клеветой и щедро приправляя их словами гнева — «вероломство», «махинации», «беспорядки», «преступления», «жестокость», «коварство», — Робеспьер излагал придуманное им видение истории жирондистов и возлагал на них всю ответственность за нынешние беды страны. В конце речи он потребовал призвать к ответу перед революционным трибуналом «таких патриотов, как Бриссо, Верньо, Жансонне, Гаде». И тотчас отступил: «Я полагаюсь на мудрость Конвента». В ответ пылкий Верньо воскликнул: «Когда я участвовал в событиях 10 августа, ты, Робеспьер, прятался в подвале!» Конвент в привлечении к ответственности жирондистов отказал.

Конвент напоминал вулкан. После речи Робеспьера Жиронда пошла в наступление. Петион обратился с письмом к парижанам, в котором вину за беспорядки в городе возложил на монтаньяров: «Ваша собственность под угрозой... Парижане, очнитесь наконец от вашей летаргии и заставьте этих ядовитых насекомых убраться в свои щели!» В Конвенте Робеспьер, сцепившись в словесной схватке с Петионом, потребовал «осудить пособников предателей». В ответ Петион пообещал преследовать предателей и клеветников до тех пор, пока они не сложат головы на эшафоте; он лично будет преследовать Робеспьера. Главный удар жирондисты решили направить на Марата. 12 апреля Гаде зачитал инвективы Марата против жирондистов, а также апрельское обращение Якобинского клуба к своим филиалам, в котором парижане призывали своих братьев выступить против сторонников Жиронды: «Контрреволюция гнездится в правительстве, в Конвенте; именно там преступные обманщики плетут сеть заговора... вознегодуем же, республиканцы, и вооружимся!» Гаде потребовал привлечь Марата к суду за клевету, и жирондисты тотчас заговорили о его аресте. А так как одержимый поисками заговорщиков Марат мог записать в «преступную клику» любого, монтаньяры не решились открыто поддержать его. В результате поименного голосования (такой чести удостоивался только король Людовик XVI) 226 голосами против 93 прошло решение привлечь

Марата к суду. Ни Дантон, ни Робеспьер не подписали распоряжение об аресте Друга народа. Робеспьер сказал: «Обвинительный декрет направлен не только против него, но и против вас, против истинных республиканцев, против меня самого, быть может».

Постоянное, едва ли не болезненное желание говорить о себе ярко проявилось в речи Робеспьера в защиту Марата, с которой он выступил в Конвенте: «В этом странном деле... я имею право различать то, что касается меня: я заслуживаю обвинительного декрета, ибо я разоблачаю и всегда буду разоблачать врагов свободы... Есть некоторая разница... между тем, что писал я, и что писал Марат... Вы можете угнетать, убивать, но вам не удастся заглушить мой голос». Робеспьер словно ревновал Марата к его популярности среди санкюлотов и все время старался напомнить о своем положении главного защитника народных интересов: «Я отрекся от всех преимуществ, которыми в течение длительного времени мог пользоваться в связи с моим высоким положением представителя народа». Но если проследить его выступления с самого начала работы Конвента, а тем более после казни короля, получится, что представитель народа Робеспьер думал не столько о нуждах народа, сколько о фракционной борьбе, иначе говоря, о свержении противоборствующей группы и захвате власти.

Из-за несоблюдения ряда формальностей Марат не подчинился решению о своем аресте и покинул зал. В тот же день вечером в Якобинском клубе Робеспьер призвал всех «устрашить врагов своим внушительным спокойствием». В назначенный день Марат явился в трибунал, где его единодушно оправдали. Его защитительная речь превратилась в инвективу, направленную против жирондистов. Толпа санкюлотов, ожидавшая своего кумира возле выхода, увенчала его лавровым венком и на руках отнесла в Конвент. После провала суда над Маратом борьба между «горой» и Жирондой пошла не на жизнь, а на смерть.

15 апреля в Конвент явилась депутация от парижских секций во главе с новоизбранным мэром Пашем и представила адрес с требованием изгнания из Собрания двадцати двух депутатов-жирондистов, правда, с условием: в случае, если департаменты также признают их не оправдавшими доверие избирателей и внесшими смуту в Конвент. Жирондистам удалось провести постановление, признавшее адрес клеветническим, убедив депутатов «горы», что без поддержки народа они вряд ли сумеют одержать победу.

В народе тем временем многие были настроены против всех депутатов, без различий. Парижане говорили: «Когда у нас был один

король, мы были не столь бедны, как теперь, когда их у нас семьсот сорок пять». Дантон, чутко улавливавший настроения масс, предложил, чтобы «во всей Франции цена хлеба была в справедливом соотношении с заработком бедняка». 18 апреля Коммуна Парижа потребовала установления твердых цен на хлеб, и 4 мая под давлением народных масс Конвент — несмотря на сопротивление жирондистов — принял первый максимум на зерно и муку. Начавший свою работу Комитет общественного спасения потребовал чрезвычайного налога на богатых в размере миллиарда ливров для снаряжения армии, находившейся в критическом положении: не было ни оружия, ни обмундирования, а войска интервентов грозили вот-вот вторгнуться в страну. Закон о принудительном займе — также при сопротивлении жирондистов — был принят во второй половине мая. Хотя состоятельные люди на этом сильно не пострадали: квитанции о внесенных в счет займа деньгах принимались в уплату при покупке имений эмигрантов.

Далекий от вопросов хлеба насущного, Робеспьер внес свою лепту в поддержку народных требований, выступив с проектом новой конституции. Отвергая конституционный проект жирондистов, Неподкупный сам написал основу для новой конституции, а именно Декларацию прав, «более совершенную», по его словам, чем прежняя. Новой конституции предстояло стать «основой счастья нашей нации и, быть может, источником счастья всех наций». «Когда дело идет о конституции, о построении трона свободы, будем думать лишь о том вечном законе, который должен стать источником всех последующих законов. Будем думать лишь о мире, который на нас смотрит!» — витиевато и туманно говорил Робеспьер.

В сложившейся обстановке ему надо было привлечь к себе санкюлотов, иначе говоря, поддержать свою репутацию «непреклонного защитника прав народа» и успокоить собственников. Так как «республика зиждется только на добродетели», «пусть грязные души, уважающие только золото, знают, что я отнюдь не хочу касаться их сокровищ, каким бы нечистым ни был их источник. <...> Не нужно было революции, чтобы мир узнал, что крайнее неравенство имуществ есть источник многих бед и преступлений. И тем не менее мы убеждены в том, что имущественное равенство есть химера. <...> Гораздо важнее сделать бедность почтенной, чем осудить богатство». В отличие от жирондистов, закреплявших за каждым гражданином право располагать своим имуществом без всяких ограничений, Робеспьер признавал за каждым гражданином право пользоваться и распоряжаться только той частью имущества, которая ему обеспечена законом. «Право собственности... ограничено обязанностью

уважать права других. Оно не должно наносить ущерб безопасности, свободе, существованию и собственности подобных нам. Всякое владение и всякая торговля, нарушающие этот принцип, являются незаконными и безнравственными». Подобная формулировка открывала путь к реквизициям, принудительным займам и конфискациям. Декларация Робеспьера гласила: «Общество обязано обеспечить всех своих членов средствами к существованию, либо предоставлением им работы, либо снабжением средствами к существованию тех, кто не в состоянии работать. <...> Граждане, доходы которых не превышают того, что необходимо для их существования, освобождаются от участия в покрытии государственных расходов. Другие граждане должны нести бремя этих расходов прогрессивно, в зависимости от размеров своего имущества». И прогрессивный налог, и ограничительное толкование права собственности не могли не встретить поддержки «бешеных» и санкюлотов, равно как и право на восстание против угнетения. Однако именно пункты о налоге и ограничении права собственности выпали при окончательной редакции якобинской конституции, выдвинутой на голосование и утвержденной в июне 1793 года. «Во время прений о конституции монтаньяры и жирондисты только с виду расходились между собой о правах собственности: обе партии... одинаково хотели отсрочить всякую дальнейшую социальную революцию», — писал историк А. Олар.

В мае неприятельские армии вторглись на территорию Франции; республиканская армия терпела поражение от вооруженных отрядов крестьян в Вандее, сражавшихся с именем Бога и короля на устах. На повестку дня ставилась мобилизация всех сил против Вандеи. В это время жирондисты выпустили обращение к провинции, в котором призвали: «Опустите меч террора на головы наших Мариев!»^[16] — предоставив, таким образом, прекрасный повод для обвинения их в предательстве. Робеспьер выступил в Якобинском клубе с речью о мерах общественного спасения, с присущим ему максимализмом заявив: «Во Франции осталось лишь две партии — народ и его враги... Кто не за народ, тот против народа, кто ходит в шитых золотом штанах, тот враг всех санкюлотов. Есть только две партии — партия честных людей и партия развращенных людей. Людей надо различать не по их имуществу и не по принадлежности к тому или другому состоянию, а по их характеру. Есть только два класса людей: друзья свободы и равенства, защитники угнетенных, друзья бедных с одной стороны и деятели несправедливо приобретенного богатства и тиранической аристократии — с другой». Он успокаивал собственников и

одновременно восхвалял «честную бедность», ибо на повестке дня стоял союз «горы» с Коммуной и «бешеными». Ведь со стороны санкюлотов уже раздавались голоса, что надо не столько изгнать из Конвента жирондистов, сколько, пожалуй, разогнать весь Конвент, заменив его революционной Парижской коммуной^[17]. Делая тактически верные шаги, Робеспьер выстраивал политику, опираясь на понятия нравственности, обращаясь не к разуму, а к чувствам депутатов, ибо своей главной политической целью считал установление царства добродетели и посрамление порока. Но кто лучше его мог служить примером добродетели? И он снова говорил о себе: «Санкюлоты... никогда не претендовали на имущественное равенство, а только на равенство прав и счастья. Часть защитников народа позволила себя подкупить. Я тоже мог бы продать душу за богатство. Но я в богатстве вижу не только плату за преступление, но и кару за преступление, и я хочу быть бедным, чтобы не быть несчастным». И снова — то ли лицемерие, то ли искреннее непонимание того, что значит нищета.

Ряд авторов утверждают, что «состояние», оставшееся после Робеспьера, равнялось 425 ливрам, вдобавок он задолжал за несколько месяцев за квартиру. Их опровергают, утверждая, что после обоих братьев осталось имущества на 12 тысяч ливров. Но кто бы ни был прав, богатым Робеспьера не назовешь. Семья Дюпле, например, владела имуществом на значительно большую сумму. Однако подлинной нужды Неподкупный не испытывал никогда. «Честная бедность» Робеспьера укладывалась в три тысячи ливров годового дохода; те, кто имел больше, честными, по его мнению, быть уже не могли. Три тысячи ливров — это доход мелкого рантье, каковым в своем безупречном старомодном костюме выглядел Робеспьер. Собственно, мелкие рантье, мелкие буржуа и являлись основными почитателями Неподкупного. Те, кто начинал день поисками хлеба насущного, следовали за «бешеными».

В Конвент каждый день прибывали депутации и излагали свои требования. Посланцы провинции грозились пойти войной на Париж, если он посягнет на неприкосновенность народных избранников. Жирондисты предложили распустить Коммуну и созвать в Бурже «запасной» Конвент. Чтобы Конвент окончательно не раскололся, Барер выдвинул предложение создать так называемую «Комиссию двенадцати», призванную обеспечить общественное спокойствие и расследовать деятельность Коммуны. Но так как в комиссию вошли только жирондисты, ее деятельность тотчас стала мишенью для нападок монтаньяров во главе с Маратом, выступавшим в авангарде борьбы против Жиронды. Робеспьер же, по своему обыкновению, исчез, как исчезал всегда, когда ожидалось события. В такие

моменты его охватывали болезненная усталость и панический страх и он искал убежища в доме Дюпле, где забота о нем являлась главной задачей каждого члена семьи.

«Комиссия двенадцати» суетилась, пытаясь раскрыть заговор в недрах парижского муниципалитета: после создания трибунала клеймо «заговорщик» равнялось направлению на гильотину. Созданный «бешеными» революционный комитет перманентно заседал в епископском дворце, столь же непрерывно заседали секции, откуда доносились наиболее грозные призывы к чистке Конвента. Стремясь отвести от себя угрозу, жирондисты направили в секции своих людей, не заинтересованных ни в новом 10 августа, ни в новых «септембриздах» (как называли сентябрьскую резню), ни в реализации брошенного «бешеными» лозунга «Грабь награбленное!». В ряде секций жирондистские миротворцы имели успех, и ободренные депутаты Жиронды распорядились арестовать Варле — за то, что он в общественных местах и с трибуны кордельеров призывал к восстанию. За исполненную клеветы статью, приписавшую жирондистам подстрекательство народа к грабежу лавок, дабы получить предлог для обвинения парижан, арестовали также Эбера. Тотчас в Конвент прибыла депутация от Коммуны с требованием освободить любимого массами журналиста. А так как Эбер занимал должность заместителя прокурора Коммуны, его арест восприняли как покушение на свободу самой Коммуны. Взволнованный Инар, бывший в тот день председателем, встал и заявил: «Если будет нанесен удар по национальному представительству, то я объявляю вам от имени всей Франции, что на берегах Сены скоро будут искать то место, где некогда стоял Париж...» Его вопль отчаяния парижане восприняли как угрозу; негодовали все — и в зале Конвента, и за его дверями, где санкюлоты ожидали своих делегатов. Кордельеры приняли резолюцию освободить Эбера силой. После бурных дебатов Эбера освободили, а монтаньяры добились роспуска «Комиссии двенадцати». Однако когда заседание Конвента возобновилось, жирондисты небольшим перевесом голосов отменили постановление. По словам А. Матьеза, историка, внесшего едва ли не самый большой вклад в изучение наследия Робеспьера, жирондисты начинали, но не умели завершать: объявили войну за границей, но не сумели одержать победу над врагом; разоблачили короля, но не решились устранить его; требовали республику, но не сумели управлять ею; и так во всем. А по словам Мишле, политика жирондистов сводилась к понятию «ждать», а революция ждать не могла.

Движение против жирондистов охватило весь Париж. «Бешеные» в открытую готовили восстание. Кипучую деятельность развернул Марат.

Уяснив расклад сил, Робеспьер покинул свою уютную нору. 26 мая у якобинцев он произнес речь против преступных депутатов, в которой впервые призвал народ к восстанию: «...народ должен полагаться на свою силу, но когда народ угнетен, тогда он может рассчитывать только на самого себя, и было бы трусостью не призвать его к восстанию». Призыв прозвучал не прямо, а косвенно, ибо Робеспьеру, всегда питавшему почтение к закону, наверняка даже столь робкий призыв дался с трудом. Но, обладая острым чутьем момента, он понимал, что если сейчас он не поставит себя (разумеется, фигурально!) во главе событий, то может утратить свое заработанное упорным трудом влияние. Ведь против Жиронды выступали не только парижане и «бешеные», но и наиболее влиятельные монтаньяры: Марат и Дантон. Правда, Дантон, опасаясь, что поднявший восстание народ может уничтожить и сам Конвент, сделал все, чтобы хоть как-то примирить противоборствующие партии. Но безуспешно. Марат был настроен исключительно решительно и призвал народ, толпившийся возле дворца Тюильри, куда из Манежа недавно перебрался Конвент, поддержать «гору».

Робеспьер восстания боялся, а потому призвал объявить в Национальном конвенте восстание против всех «подкупленных депутатов»: «Я заявляю, что, если будут проявлять преступное презрение к санкюлотам, я подниму восстание против подкупленных депутатов». Народ, санкюлоты для Робеспьера — всего лишь идейный образ; люди из жизни, озлобленные, зачастую голодные и оборванные, те люди, что сделали революцию 10 августа, а теперь заседали в секциях, готовые вновь взяться за оружие, пугали его. Он предпочел бы без них свергнуть жирондистов и поэтому избрал путь, по которому всегда шел: путь словесных баталий внутри Собрания. Именно этот путь привел его на вершину революционной славы, сделал его неформальным главой партии «горы». И он в привычном русле продолжил обвинять жирондистов во всех смертных грехах. Но момент был слишком напряженным, чтобы выслушивать однообразные тирады, и депутатские выкрики с мест то и дело прерывали Робеспьера. «Я физически не в состоянии сказать все то, что подсказывают мне чувства, вызванные во мне опасностями, нависшими над родиной, — отбивался он, пытаясь перекричать противников. — Вы видите, как пользуются слабостью моего голоса, чтобы мешать мне сказать правду». Правда эта заключалась в том, что, помня, как быстро революция расправлялась со своими кумирами, как стремительно забывала их, он, преодолевая страх и растерянность, изо всех сил стремился удержаться на своей высоте. В речи, произнесенной в Якобинском клубе, он сказал, что

если Коммуна не соединится с народом, она нарушит свой долг: «Когда становится очевидным, что отечеству угрожает величайшая опасность, обязанность представителей народа умереть за свободу или добиться ее торжества». Но так как Коммуна поддерживала подготовку к восстанию, то слова Робеспьера можно было воспринять как своего рода передачу руководства Коммуне на время восстания. Ибо накануне восстания Робеспьер с трибуны якобинцев заявил: «Я не могу предписать народу, какими средствами надлежит спасаться. Это не в силах отдельного человека. Это не в моих силах, ибо я изнурен четырьмя годами революции и душераздирающим зрелищем торжества тирании и всего, что есть самого подлого и развращенного. Не мне указывать эти средства, ибо я страдаю длительной лихорадкой и особенно лихорадкой патриотизма. Я сказал, и в данный момент у меня нет иного долга». В этих словах — крик души, раздираемой бессилием, усталостью и какой-то безысходностью: напряжение майских дней явно сказалось на здоровье Неподкупного. Впрочем, безысходностью веяло от многих его высказываний; он часто напоминал об ожидавшей его скорой смерти от рук врагов.

В ночь на 31 мая в Париже забил набат и началось восстание. Говорят, в ту ночь звонил сам Марат, забравшийся на каланчу. На улицы вышли вооруженные отряды санкюлотов и Национальной гвардии, командующим которой в этот день назначили Анрио, человека с темным прошлым и склонного к злоупотреблению спиртным. Но, несмотря на большое скопление вооруженных людей, ничего не происходило. В повстанческом комитете, как и в Конвенте, заседали слишком разные люди, а потому не способные прийти к единому решению. Депутаты приободрились и вызвали в Конвент мэра столицы, дабы он дал отчет о состоянии города. Мэр Паш прибыл и сказал, что атмосфера в Париже напряженная, однако всё под контролем. Как пишут историки, всего пять парижских секций дали своим представителям неограниченные полномочия. Наиболее отчетливым требованием большинства секций было принятие обвинительного декрета против двадцати двух депутатов-жироялистов и членов «Комиссии двенадцати». Требование поддержали Шометт, Эбер и Паш, но они намеревались получить приказ об аресте неудобных депутатов законным путем. Примиритель Барер предложил посланцам секций распустить «Комиссию двенадцати» и передать вооруженные силы города под начало Конвента. Под давлением вторгшихся в зал восставших масс решение не прошло. Столкнувшись в словесном поединке с Верньо, Робеспьер сделал решительный шаг: потребовал «обвинительный декрет против всех сообщников Дюмурье и против всех тех, кто только что был здесь

изобличен».

1 июня повстанческий комитет приказал окружить Конвент. «Комиссия двенадцати» была распущена, и все ее документы легли на стол Комитета общественного спасения. Собрание удовлетворило требование о ежедневной выплате 40 су каждому рабочему, вставшему под ружье, вплоть до окончательной победы над контрреволюцией. К утру 2 июня 24 тысячи национальных гвардейцев и несколько отрядов вооруженных санкюлотов под командованием Анрио расположились вокруг дворца Тюильри; туда же подтащили пушки. Очередная делегация от Коммуны потребовала ареста двадцати девяти депутатов-жирондистов. Пока Конвент пребывал в замешательстве, Барер предложил всему депутатскому корпусу выйти навстречу штыкам и пушкам Национальной гвардии. Зачем? Трудно сказать; возможно, чтобы выиграть время на обдумывание дальнейших шагов. Но, скорее всего, это был некий театральный жест, к которым была столь расположена революция. Ведь революционный энтузиазм передавался исключительно в коллективе, в толпе, где один «заряжался» от другого. Депутаты, за исключением небольшой горстки во главе с Робеспьером, вышли из дворца, но дальше ворот парка их не пустили. «Канониры, по местам!» — решительноскомандовал Анрио, и депутатам пришлось вернуться в зал заседаний. Когда все вошли, на трибуну взбежал Кутон и предложил подвергнуть депутатов Жиронды домашнему аресту. Не ожидавший, видимо, такого постановления, Верньо воскликнул: «Дайте Кутону стакан крови, он изнывает от жажды!» Предложение приняли без голосования. Робеспьер не изрек ни слова. Сидя на депутатской скамье, он наблюдал, как Конвент исторгал из своего лона людей, с которыми он больше года вел упорную борьбу. Но чувствовал ли он себя победителем?

ЧАСТЬ III

СВЯТОЙ ПАЛАЧ ИДЕИ ^[18]

*О, свобода, сколько преступлений совершено во имя
твое!*

Мадам Ролан

2 мая 1793 года к власти в Конвенте пришли монтаньяры; с этой даты начинается период якобинской диктатуры. Свершилась революция? Нет, правительственный переворот, так как ни в государственном устройстве, ни в распределении собственности изменений не произошло. Робеспьер назвал событие «мирной революцией», ибо обошлось без кровопролития. Была ли это победа народа? Скорее, парижан, ибо в провинции жирондисты имели довольно сильную поддержку. И победа монтаньярского триумvirата — Дантона, Марата и Робеспьера, где каждый сыграл свою, особенную роль. Дантон не сумел примирить «гору» и Жиронду, Марат выступил главным могильщиком Жиронды, а Робеспьер лишился козла отпущения в лице жирондистов, на которых привычно возлагал всю ответственность за тяжелое положение Республики. Хотя обе фракции — и жирондисты, и монтаньяры — вышли из одного сословия, оформились во время революции и были далеки от тех, кто требовал улучшения жизни простых людей. Но это требование шло вразрез с интересами собственников, главного класса, сложившегося за период революции, того энергичного и предприимчивого слоя третьего сословия, который в 1789 году хотел «стать чем-нибудь». Эти люди не мыслили возврата к Старому порядку и были готовы поддерживать революцию до тех пор, пока она не покусилась на их имущество и жизнь. То самое «болото», что составляло большую часть депутатского корпуса и чаще склонялось на сторону жирондистов, нежели монтаньяров. Надо отметить, что среди монтаньяров собственно робеспьеристов насчитывалось не слишком много: два-три десятка депутатов, что остались сидеть на местах, когда остальной депутатский корпус совершил свой, в сущности бессмысленный, выход к окружившему Тюильри вооруженному народу. Широкою коалицию единомышленников Неподкупный создать не мог и не стремился.

Успех переворота 31 мая — 2 июня оказался для монтаньяров относительным, победу их никак нельзя было назвать безоговорочной. Многие депутаты возмущались насилием над Национальным конвентом и унижением его членов. 75 депутатов подписали протест в связи с восстанием 2 июня. Депутатам-жирондистам не предъявили обвинение, а всего лишь поместили их под домашний арест, что не мешало им свободно передвигаться по городу; многие из них бежали к себе в департаменты, чтобы возмутить местные власти против парижского Собрания. Центром жирондистской эмиграции стал город Кан в Нормандии, где под руководством бывшего участника Войны за независимость Американских Штатов генерала Вимпфена начали собирать армию, готовую идти на Париж, дабы подавить анархию и восстановить в правах изгнанных из Конвента депутатов.

В Бордо, Марселе и Лионе вспыхнули контрреволюционные мятежи. Ширился мятеж в Вандее. На северные границы Республики надвигались австрийцы во главе с герцогом Кобургским, на Дюнкерк — англичане, пруссаки заняли Майнц, король Сардинии захватил Савойю и угрожал Ницце, англичане захватили Тулон. В армии нарастал кризис: не хватало оружия, обмундирования, продовольствия, шла постоянная чехарда с командирами, ибо всех подозревали в предательстве и измене. Немудрено: из военных касс исчезали огромные суммы, выделяемые на покупку оружия и обмундирования. В махинациях с кредитами на оружие оказался замешан даже знаменитый Бомарше.

На армейских поставках наживались не только спекулянты и авантюристы, как барон де Батц и аббат д'Эспаньяк, но и бывший министр Серван, и депутат Конвента Фабр д'Эглантин. Посланных на места комиссаров Конвента встречали в штыки, всюду царили споры, раздор, взаимные обвинения. В Париже «бешеные» по-прежнему противостояли Конвенту, согласившемуся исполнить лишь одно из предъявленных ими требований, а именно требование о реорганизации армии. Раздавались голоса протеста против Дантона и самих монтаньяров. Вопрос о власти, способной спасти страну и революцию, вставал с особенной остротой.

Понимая, что изгнание жирондистов из Конвента явилось лишь первым шагом на пути к утверждению новой власти, Робеспьер проявил поразительную активность: в июне он более сорока раз выступил в Конвенте и у якобинцев. И это несмотря на сделанное в середине месяца заявление: «Я признаю свою неспособность, у меня нет необходимых сил для борьбы с интригами аристократии. Истощенный четырьмя годами мучительного и бесплодного труда, я чувствую, что мои физические и

моральные способности не находятся на уровне великой революции, и я заявляю, что подам в отставку». Вряд ли он помышлял об отставке; скорее всего, как и в мае, когда он говорил, что «изнурен четырьмя годами революции», это был ораторский прием, дабы убедиться в поддержке своих сторонников и услышать в ответ громкое: «Нет! Нет!» — свидетельствующее о правильности того, что он сделал и продолжал делать. Ибо и в мае, и в июне в душе его явно царил разлад. С одной стороны, последние противники в Конвенте уничтожены, а с другой... Свои июньские выступления он начинал с привычной фразы об «оставшихся в Конвенте интриганах», а затем призывал к объединению; но кого и с кем? Если судить по обнаруженной в его бумагах весьма любопытной записке, написанной сразу после 2 июня, в голове его бродили совершенно иные мысли:

«Нужна единая воля.

Нужно, чтобы она была республиканской или роялистской.

Чтобы она была республиканской, нужны республиканские министры, республиканские газеты, республиканские депутаты, республиканское правительство.

Внешняя война — смертельная болезнь (губительная эпидемия), когда политический организм болен революцией и отсутствием единой воли.

Внутренние опасности проистекают от буржуазии; чтобы победить буржуазию, надо сплотить народ. Все было задумано так, чтобы народ оказался под гнетом буржуазии, а защитники Республики погибли на эшафоте; они восторжествовали в Марселе, в Бордо, в Лионе, и если бы не нынешнее восстание, восторжествовали бы в Париже. Надо, чтобы нынешнее восстание продолжалось, пока не будут приняты меры, необходимые для спасения Республики. Надо, чтобы народ присоединился к Конвенту, а Конвент опирался на народ.

Надо, чтобы восстание постепенно распространялось по одному и тому же плану.

Чтобы санкюлоты получали плату и оставались в городах.

Надо снабжать их оружием, договариваться с ними, просвещать их.

Следует всеми возможными способами возбуждать республиканский энтузиазм.

Если депутаты будут отправлены в отставку, Республика погибла; они продолжат вводить в заблуждение департаменты, а те, кто их заменят, вряд ли будут лучше».

Предполагают, что эти записи — своеобразный конспект произнесенной речи, ибо мысли, прописанные в нем, оказались

разбросаны по разным выступлениям Неподкупного. Кто или что подразумевалось под единой волей? Однопартийный Конвент? Или республиканский диктатор? Или возвращение монарха? Или?.. Робеспьер не мог не задумываться о единоличном правлении, тем более что в Древнем Риме, через опыт которого столь часто смотрели на себя и на других революционеры той поры, диктаторов избирали (или назначали) именно в тяжелое для страны время. Абстрактная риторика речей Робеспьера как нельзя лучше соответствовала суровому образу неподкупного народного вождя, борющегося против продажной верхушки аристократии. А аббат Пруар утверждает, что еще в 1792 году Робеспьер писал: «Монархическая форма правления является единственной, которая соответствует такой обширной и древней империи, как Франция». Вряд ли Пруар полностью измыслил эту фразу, чрезвычайно созвучную мыслям Руссо о «соразмерности государства», Руссо, утверждавшего, что «политический организм» измеряется площадью территории и численностью населения, а республиканский способ правления более всего подходит небольшим по территории и населению государствам.

Размышления об установлении правления «единой воли» не могли не посещать Робеспьера. Но вряд ли он видел воплощением этой воли нового монарха; скорее всего, он подразумевал под ней себя самого. Одиночка по жизни, одиночка в политике. Заключить союз он был не в состоянии, ибо в каждой политике видел конкурента, а народ представлял абстрактным набором добродетелей. В те лихорадочные июньские дни Марат писал: «Робеспьер... совершенно не создан, чтобы возглавить партию, он избегает всякой шумной группы и бледнеет при виде обнаженной сабли». Многие считали, что Робеспьер витал в пустом пространстве, а Дантон утверждал, что Неподкупный «не способен сварить яйцо».

Тем временем опасность контрреволюции возрастала. В середине июня 60 департаментов из 83 были охвачены мятежом. Следовало срочно вернуть доверие народа к Конвенту и к Парижу. 3 и 10 июня, а затем 10 июля был принят ряд декретов, привязывавших к революции крестьян: декрет, устанавливавший льготный порядок продажи земель эмигрантов (мелкими участками с рассрочкой на десять лет), декрет, возвращавший крестьянам общинные земли и определявший порядок их раздела поровну на душу, а также декрет о полном, окончательном и безвозмездном уничтожении всех феодальных прав, привилегий и поборов. (Хотя последний декрет во многих провинциях давно реализовали де-факто.) Этими декретами, по словам Дантона, депутаты «за неделю сделали для счастья народа больше, чем измученный интригами Конвент с самого

начала своего существования». И сделали эти важные шаги навстречу народным требованиям монтаньяры. «Отныне народное собрание перестало быть представительством: оно обратилось в правительство. Оно самостоятельно правило, судило, чеканило монету, сражалось. Это была сплотившаяся Франция: одновременно голова и рука. Эта коллективная диктатура имела перед диктатурой одного лица то преимущество, что была неуязвима и не могла быть прервана или уничтожена ударом кинжала», — писал воспевавший жирондистов поэт-романтик Ламартин.

Хотя его политических и личных врагов из Конвента устранили, Робеспьер по обыкновению выжидал. «Нам угрожают с двух сторон подводные камни: упадок духа и самонадеянность, крайнее недоверие и еще более опасная умеренность», — говорил он. Понимая, что у него есть все шансы стать наиболее влиятельной фигурой Собрания, иначе говоря, сделать единственной именно свою волю, он выступал достаточно осмотрительно. Поддержал Кутона, предложившего принять воззвание, одобряющее восстание в Париже 31 мая, и отверг предложение Барера распустить революционные комитеты. Призвал народ объединиться вокруг Парижа: «Народ прекрасен... во время революционной бури необходимо объединиться. Народ в массе не может сам управлять страной. Местом объединения должен быть Париж». Обходил вопрос о революционно настроенных секциях, не желая ссориться ни с санкюлотами, ни с Собранием. В условиях, когда Дантон бездействовал, с головой уйдя в личную жизнь, а Марат перестал бывать в Конвенте из-за обострения кожной болезни, Робеспьер остался единственным кандидатом в лидеры.

«Все люди рождаются свободными, но повсюду они в цепях», — писал Жан Жак Руссо. Вынужденный искать объединяющий элемент, руссоист Робеспьер поставил на повестку дня принятие новой конституции, для выработки которой, собственно, и созывался Национальный конвент. Отредактированный проект якобинской конституции представил член Комитета общественного спасения Эро де Сешель, взявший за основу документ, вышедший из-под пера жирондистов. Робеспьера документ удовлетворил: «Вот наш ответ всем клеветникам, всем заговорщикам, которые обвиняли нас в том, что мы хотим анархии».

Во время обсуждения проекта он не менее двадцати раз выступил со своими поправками и предложениями. Французская республика признавалась единой и неделимой. Однако для общественных актов Робеспьер предложил иную формулировку: «Я предлагаю, чтобы вместо слов «Французская республика» были поставлены слова «французский народ». Слово «республика» характеризует правительство; народ

характеризует верховную власть». Вернувшись к мысли об освобождении от налогов «граждан, доходы которых ниже прожиточного минимума», он признал ее неверной: «Меня просветил здравый смысл народа, понимающего, что милость, которую ему предоставляют, оскорбительна. <...> Если вы внесете в конституцию пункт о том, что бедность исключает почетную обязанность принимать участие в удовлетворении нужд отечества, то вы декретируете унижение наиболее чистой части нации... Я требую... чтобы бедняк, который должен внести один грош налога, получал его от отечества для внесения обратно в общественную казну». По его предложению внесли статью о всеобщем образовании и исключили строки об обязанностях народа: «Надлежит просто установить общие принципы прав народа, откуда естественно проистекают и его обязанности». Вместе с большинством Собрания Неподкупный проголосовал за двухступенчатые выборы в Исполнительный совет, которому в будущем отводилась роль правительства. Обсужденный и утвержденный за две недели текст конституции, ярко демократической по сравнению с Конституцией 1791 года, получил одобрение даже в тех департаментах, где жирондистов предпочитали якобинцам.

Рассчитывал ли Робеспьер на ввод Конституции 1793 года в действие? Трудно сказать. История распорядилась, чтобы эта конституция осталась на бумаге, ибо в Республике, борющейся с врагами как внешними, так и внутренними, «простое выполнение конституционных законов, предназначенных для мирного времени, было бы недостаточно среди окружающих ее заговоров». Изгнание жирондистов из Конвента «отняло голос у революции», но не решило ее проблем. В летние месяцы 1793 года обстановка в стране продолжала ухудшаться. Армии интервентов наступали, создавая угрозу Парижу, а значит, самой революции; экономическое положение страны оставляло желать лучшего; в Париже и других городах резко ощущалась нехватка продовольствия. Созданный в апреле Комитет общественного спасения, лидером которого стал Дантон, явно не справлялся с возложенными на него задачами; злоязыкий Марат пренебрежительно называл комитет Дантона «Комитетом общественной гибели». Неудачи на дипломатическом поприще, соперничество генералов на фронтах, ощутимые удары, наносимые крестьянской армией Вандеи плохо организованным отрядам республиканской армии, неспособность погасить федералистский мятеж привели к очередному обновлению состава комитета и уходу из него Дантона, к которому Робеспьер испытывал все большую антипатию.

Робеспьер вошел в состав Комитета общественного спасения 27 июля

1793 года. Как вспоминал Барер, ввести в комитет Робеспьера «предложил Кутон, аргументируя это тем, что Робеспьер только и делал, что противоречил всем предложениям, которые исходили не от него». Вместе с тем прошлое Неподкупного, его популярность и влияние у якобинцев делали его реальной политической силой. Бывший заместитель прокурора Коммуны Бийо-Варенн говорил: «Когда он пришел в Комитет общественного спасения, он уже был самой значительной личностью во Франции. Если бы меня спросили, как он достиг такого положения, я бы ответил, что благодаря самым суровым добродетелям, абсолютной преданности революции и самым чистым принципам». Неподкупный стал неофициальным, но признанным руководителем комитета: он определял политику и общее направление его деятельности, подписывал аресты, прочитывал донесения агентов. Позже при содействии Кутона и Сен-Жюста он создал бюро политической полиции, «удаленное», по словам Барера, ибо деятельность его протекала за пределами помещений, занимаемых комитетом. Бюро сразу стало конкурентом Комитета общественной безопасности, отчего руководители комитета преисполнились личной неприязнью к новому триумvirату, как стали называть Робеспьера, Кутона и Сен-Жюста.

На что все же рассчитывал Неподкупный? К чему стремился? К установлению конституционного строя или к власти «единой воли»? Среди бумаг Робеспьера комиссия Куртуа обнаружила сделанные его рукой заметки относительно конституции, написанные летом 1793 года и известные под названием «Катехизис Робеспьера»:

«Какова цель? Выполнение конституции в интересах народа.

Кто будет нашими врагами? Порочные люди и богачи.

К каким средствам они прибегнут? К клевете и лицемерию.

Какие причины могут благоприятствовать использованию этих средств? Невежество санкюлотов.

Следовательно, надо просвещать народ. Но каковы препятствия для просвещения народа? Наемные писаки, которые изо дня в день вводят его в заблуждение бесстыдной ложью.

Какой из этого вывод?

1. Надо изгнать этих писаков как самых опасных врагов отечества.

2. Надо в изобилии распространять добросовестные сочинения.

Каковы другие препятствия для установления свободы? Война внешняя и война гражданская.

Какими средствами можно покончить с внешней войной? Поставить во главе наших армий республиканских генералов и покарать тех, кто нас

предал.

Какими средствами можно покончить с гражданской войной?

Покарать предателей и заговорщиков, прежде всего преступных депутатов и администраторов; послать патриотические отряды под командованием начальников-патриотов, чтобы уничтожить аристократов Лиона, Марсея, Тулона, Вандеи, Юры и всех остальных областей, где подняли знамя мятежники и роялисты, и жестоко покарать всех злодеев, которые нанесли оскорбление свободе и пролили кровь патриотов.

1. Изгнание коварных и контрреволюционных писак; распространение добросовестных сочинений.

2. Наказание предателей и заговорщиков, и прежде всего преступных депутатов и администраторов.

3. Назначение генералов-патриотов; смещение и наказание иных генералов.

4. Обеспечение продовольствием и народными законами».

После слова «заговорщиков» в рукописи имеется несколько фраз, зачеркнутых рукой Неподкупного:

«Народ... Какое еще существует препятствие для просвещения народа? — Нищета.

Когда же народ будет просвещенным? — Когда у него будет хлеб и когда богачи и правительство перестанут подкупать лицемерные перья и языки для того, чтобы его обманывать.

Когда их интересы совпадут с интересами народа.

Но когда же их интересы совпадут с интересами народа? Никогда».

Так как заметки написаны в то время, когда Робеспьер вошел в Комитет общественного спасения, исполнявший функции правительства Республики, значит ли это, что он вообще не верил в наступление мирного времени, когда вступит в действие конституция? Или не надеялся дожить до него? Или надеялся заменить конституцию «единой волей», то есть диктатурой? Во всяком случае, если судить по приведенным строкам, к правительству он себя не причислял.

Робеспьер остро ощущал навалившуюся на него усталость. Его измотало долгое сражение с конкурентами в лице жирондистов, также выступавших от имени народа, о котором они имели столь же абстрактное представление, как и он сам^[19]. Но сражаться с жирондистами, которых он называл «мошенниками и интриганами», было неизмеримо легче, чем с «бешеными», ведь они представляли интересы не абстрактного народа, «возвышенного и справедливого», а вполне конкретного, грубого,

оборванного, страдающего от голода и непомерных цен. Народа, сбивавшегося в толпы, громившего лавки и буквально в ключья раздиравшего тех, кто имел несчастье ему не понравиться. Лидеры «бешеных» Жак Ру, Леклерк, Варле критиковали конституцию, в которой не осталось даже робких попыток ограничить собственность, а кордельеры аплодисментами встречали ораторов, предлагавших покончить с собственностью и установить республику равенства. Жак Ру 22 июня в Клубе кордельеров заявил: «Пусть народ окружит Конвент и в один голос воскликнет: мы любим свободу, но мы не хотим умирать от голода!» Робеспьер не мог позволить себе выпустить из рук власть, ибо твердо знал: никто, кроме него, не мог, не имел права знать, что для народа благо, а что нет.

23 июня Ру от имени кордельеров и двух парижских секций выступил перед депутатами Конвента с речью, исполненной не только упреков, но и угроз: «Уполномоченные французского народа, вы уже давно обещали покончить с несчастьями народа. Но что вы для этого сделали? Конституция вскоре будет представлена на утверждение суверена. Но осудили ли вы в ней спекуляцию? Нет! Обещали наказать спекулянтов и монополистов? Нет! Так вот, мы заявляем, что вы сделали далеко не все для счастья народа. Вы пребываете на вершине «горы», но неужели вы считаете, что будете пребывать там вечно? Депутаты «горы», зайдите в любой дом, где живет народ, поднимитесь по лестнице до последнего этажа, узрите слезы простого народа, не имеющего ни хлеба, ни одежды. Неужели и тогда душа ваша останется равнодушна к его стенаниям? Свобода — лишь пустой призрак, когда богатые могут безнаказанно заставлять голодать бедных. Республика — лишь пустой призрак, когда контрреволюция изо дня в день повышает цены на продукты до такой степени, что они становятся недоступными для трех четвертей граждан, которым остается лишь проливать слезы». Свою речь Ру завершал среди выкриков возмущенных монтаньяров, уверенных, что «республиканской конституцией они навеки зарыли тиранию в могилу». Робеспьер дал гневную отповедь Жаку Ру и его сторонникам: «Якобинцы, монтаньяры, члены Клуба кордельеров — эти старые борцы за свободу оклеветаны. Человек, укрывшийся под плащом патриотизма, намерения которого по крайней мере подозрительны, оскорбляет его величество Национальный конвент. <...> Люди, без слов любящие народ, те, кто без отдыха работает для его блага, не кичась этим, будут крайне удивлены, услышав, что их труд антинароден и что они представляют собой скрытую аристократию».

Робеспьер привык считать себя едва ли не единственным истинным

защитником народа, ему нелегко было слушать слова «бешеного» священника. Впервые в стенах Конвента народ с его насущными требованиями предстал не риторической фигурой, бесплотным величественным образом, разящим «интриганов и заговорщиков», а грубым, зримым, в дурно пахнущем рубище, не разбирающимся в тонкостях межфракционной борьбы, но готовым отстаивать свое право на жизнь. Сначала Неподкупный пытался определить Ру и его сторонников как «нечто незначительное»: «Нет ничего более губительного для отечества, чем говорить ему о бесполезных и незначительных вещах... заниматься каким-то священником... мелкими делами, когда на республику нападают со всех сторон». Затем упрекнул священника Ру в вероломстве: «Вы легко могли отметить вероломное намерение оратора: он хочет придать взглядам патриотов оттенок модерантизма и тем лишить их доверия народа». Следом за Робеспьером на Ру обрушились и другие монтаньяры: Бийо-Варенн, Тюрио, Лежандр, Колло д'Эрбуа... А когда прачки, разгневанные новым подорожанием, снова разграбили баржу с мылом, Робеспьер стал громить «бешеных» со всем пылом своего холодного выверенного красноречия.

Выступая 28 июня у якобинцев, он привычно назвал Жака Ру «интриганом», «лжепатриотом», «агентом Питта и Кобурга»^[20], иначе говоря, использовал всю лексику, синонимом которой выступало понятие «враг» — революции, народа... «Неужели вы верите, что можно одним ударом преодолеть Австрию, Испанию, Питта, бриссотинцев и Жака Ру? — вопрошал Неподкупный. — ...Граждане, предоставьте нам бороться с ним и не добавляйте своих усилий к... усилиям аристократов... честные патриоты убедятся, что интриган, который хочет возвыситься над обломками разбитых нами сил... не добьется прав дерзостью... Несчастья отечества еще не кончились, и я осмелюсь даже сказать, что предвижу новое преступление в будущем». Определив речи Ру как «бредовую брань бешеного священника», Робеспьер сказал: «Меры, которые надо принять для спасения народа, не всегда одни и те же... Если использование сил в борьбе с врагами бесполезно, мы должны употребить хитрость, тонкость и лукавство, оружие, которое все они использовали против нас и которое принесло им большие успехи». Сделав открытое по сути заявление, что в борьбе с политическими противниками все средства хороши, он продолжал называть Ру злоумышленником, «известным своей преступной агитацией за истребление всех купцов и лавочников, так как они слишком дорого продают свои товары», и утверждать, что Леклерк «находится в сообщничестве с Ру». Эти люди «подстрекают народ к беспорядкам, имея

при этом тройкую цель: ограбить магазины руками народа или, вернее, руками подлецов, переодетых в одежду, которую носит народ, в почетную одежду бедности; повести народ к тюрьмам и возобновить сентябрьские ужасы; направиться к арсеналу и захватить там всякого рода боеприпасы». В любых народных возмущениях Неподкупный просматривал борьбу за власть, к которой, вводя народ в заблуждение, рвались интриганы. В данном случае надежды на захват власти могли лелеять лидеры Коммуны, которых активно поддерживали кордельеры и «бешеные»; чувствуя за собой поддержку народных масс, лидеры этих новых группировок не признавали никаких авторитетов.

Желая поддержать «счастливое возбуждение народа», 13 июля Робеспьер поставил на повестку дня Конвента обсуждение доклада о народном образовании, составленного погибшим в январе Лепелетье де Сен-Фаржо. Народное образование, да еще в руссоистском духе — подлинная стихия Робеспьера, где можно долго говорить о том, как путем просвещения решатся все социальные проблемы народа. Ведь как писал сам Лепелетье, «это революция бедняка... революция мягкая и мирная, революция, которая совершается, не затрагивая собственности и не попирая справедливости». Революция законов, без передела собственности — это революция Робеспьера, и она не имела ничего общего с революцией «бешеных». В проекте Лепелетье говорилось не столько об образовании, сколько о воспитании, которое ставилось выше образования^[21]. По мнению Лепелетье, созвучному мнению Робеспьера и многих якобинцев, государство обязано прежде всего воспитывать в детях гражданские чувства, республиканские доблести, уважение к законам и главенству общественного интереса. Для этого государству предлагалось на пять лет забирать детей у родителей, дабы уберечь их от влияния коррумпированного общества... Оплачивать государственное обучение предполагалось за счет специального налога на богатых. Проект не прошел голосование.

В тот же день, 13 июля, армия федералистов (состоявшая в большинстве своем из республиканцев) под командованием генерала Вимпфена потерпела поражение от республиканских войск. А вечером 13 июля мученик революции пополнился еще одним мучеником: от кинжала юной Шарлотты Корде погиб Друг народа Марат. Мадемуазель Корде прибыла в Париж из Кана, а потому якобинцы немедленно заявили, что совершить преступление ее послали жирондистские заговорщики. Снова всколыхнулась ненависть к партии Жиронды; вспомнили, что 22 гаваря все еще ожидают в тюрьме своей участи, а 75 «подписантов»,

мелкой жирондистской сошки, и вовсе находятся на свободе. Так что когда мадемуазель Корде заявила, что «убила одного человека, чтобы спасти сто тысяч», ей не поверили. «Над нами занесен убийственный кинжал!» — восклицали монтаньяры в Конвенте. В то время, кажется, никто не заметил, что Шарлотта Корде буквально осуществила постулат Марата, требовавшего отсечь 500 голов ради спасения пятисот тысяч. Корде отправили на гильотину.

Смерть Марата пробудила скорбь и гнев санкюлотов. В Клубе кордельеров установили агатовую урну с сердцем Марата. Чтобы почтить память Друга народа, устраивали процессии и театральные действия. Художник Давид «писал сердцем» картину «Смерть Марата». Народ требовал поместить тело Марата в пантеон. Против выступил Робеспьер, мотивируя это тем, что сейчас не время показывать народу «зрелище торжественных похорон», ибо при созерцании «похоронной церемонии» «желание отомстить потухает». Сам же Робеспьер наверняка не смог сдержать вздох облегчения: Провидение само устранило с его пути опасного конкурента, ведь для парижского плебса Марат всегда являлся бóльшим авторитетом, нежели он сам. Даже когда после революции 10 августа Марат все чаще поддерживал Неподкупного и его сторонников. Наследниками дела Друга народа объявили себя «бешеные» и все теснее смыкавшийся с ними Эбер, которому Робеспьер не доверял точно так же, как Марату. Выступая у якобинцев, Неподкупный вопрошал: «А кто покоится в пантеоне? Кроме Лепелетье я не вижу там ни одного добродетельного человека. Не положат же его рядом с Мирабо? С этим интриганом, методы действий которого всегда были преступными; с этим человеком, заслужившим репутацию разве только путем большого коварства. Таковы почести, которых добиваются для Друга народа». В ответ друг Марата Бентаболь воскликнул: «Да, и которые он получит, вопреки завистникам!»

После смерти Друг народа стал поистине культовой фигурой революции; бюстик Марата в доме считался чем-то вроде оберега, дабы не сочли «подозрительным». Возможно, поэтому Робеспьер, остро завидовавший посмертной славе Марата, речь на его похоронах начал с себя: «Я бы даже не попросил слова... если бы не предвидел, что честь погибнуть от кинжала не была бы также уготована и мне, что первенство это предрешено было лишь случайно и что гибель моя приближается быстрыми шагами». А затем снова дал понять, что негоже Конвенту тратить «драгоценное время» на «смешные и бессмысленные фразы»: «Вас просят... обсудить вопрос о состоянии Марата. Какое значение имеет для

Республики состояние одного из ее основателей?» После провозглашения республики Неподкупный нередко упрекал депутатов в том, что они «распространяются о незначительных и бесцельных вещах».

16 июля, в день похорон Марата, из Лиона пришло известие о гибели вождя тамошних якобинцев крайне левого толка Шалье; Шалье объявили третьим мучеником свободы. Убийство Марата и Шалье всколыхнуло ярость санкюлотов по всей стране, революционные комитеты требовали суровых кар для врагов революции. По докладу Барера Конвент принял решение, согласно которому город Лион должен быть разрушен, а название его вычеркнуто из списка городов Республики. «Собрание сохранившихся домов будет носить название Освобожденного города (Ville affranchie)». Подавляя антиправительственные мятежи, командующие войсками и народные представители, присылаемые Конвентом для поддержания боевого духа армии, жестоко расправлялись с «заговорщиками», жителями «недостойных» городов. «Пособники тирании» расплачивались потоками собственной крови. Когда после двухмесячной осады республиканские войска вступили в Лион, они без промедления приступили к декретированному Конвентом разрушению города. Комиссары Колло д'Эрбуа и Фуше расстреливали жителей Лиона картечью, добивали лопатами, сбрасывали в реку. За три месяца к смерти приговорили 1665 человек. «Каждый день меч закона опускается на головы трех десятков заговорщиков Освобожденного города», — писал в донесении Конвенту Колло д'Эрбуа.

В Бордо правил присланный комиссаром будущий термидорианец Тальен, установивший на центральной площади города гильотину, быстро разгрузившую местные тюрьмы. Но Тальен в отличие от Колло не был фанатиком, и за деньги любой «подозрительный» имел возможность откупиться от «святой гильотины». Корыстный и продажный Фуше писал: «Осуществляя правосудие, будем брать пример с природы. И будем мстить, как мстит народ. Будем разить как молния, и пусть даже пепел наших врагов исчезнет с земли свободы... лишь одним способом можем мы отметить нашу победу: сегодня вечером молниеносный огонь поразит двести тринадцать мятежников». (Под молниеносным огнем Фуше подразумевал расстрел.)

Не угасала гражданская война на западе Франции, в Вандее, куда в любую минуту могли вторгнуться англичане. Комиссар Конвента Каррье, посланный умирять жителей Нанта за сочувствие вандейцам, получил прозвище Нантский утолитель за то, что связывал попарно мужчин и женщин и бросал их в воду. Сам Каррье называл изобретенный им способ

истребления неугодных «республиканской свадьбой», ибо предпочитал связывать женщин с неприсягнувшими священниками. В одном из донесений он сообщал: «Случай... пожелал уменьшить число священников: девяносто из тех, кого мы называем неприсягнувшими, были заперты в трюм корабля, стоящего на Луаре. Мне доложили... что все они утонули в реке. Какой, однако, могучий революционный поток эта Луара!» В другом донесении Каррье писал: «Преступники полностью разгромлены, наши солдаты убивают их, берут в плен и сотнями доставляют в Нант. Гильотина не справляется; я приказал расстреливать их. <...> Из соображений человечности я очищаю землю свободы от этих чудовищ». Чудовища — это прежде всего местные крестьяне, вставшие под белые знамена с лилиями, за что их прозвали «белыми». Пришив на куртки клочки белой ткани с пурпурным Сердцем Христовым, они с охотничьими ружьями и вилами нападали на отряды «синих» — солдат республиканской армии, прозванных так за цвет мундиров. Ни «синие», ни «белые» не щадили друг друга, проявляя невероятную жестокость по отношению к побежденным. Ведущая партизанскую войну Вандея превращалась в кровоточащую рану на теле Республики. В августе по докладу Барера Конвент принял решение стереть Вандею с лица земли, ибо она «словно язва разъедает сердце Республики... там укрылся фанатизм и священники воздвигли свои алтари». Но даже генерал Тюрро с его «адскими колоннами», применявшими тактику выжженной земли, не сумел полностью уничтожить и усмирить непокорный край; полное замирение Вандеи произойдет уже при Бонапарте. «Нация может возродиться только на груде трупов», — говорил Сен-Жюст, и гражданская война в Вандее страшным образом подтверждала его правоту.

Как относился к донесениям из усмиренных городов Робеспьер? В своих письмах национальным представителям он призывал разоблачать предателей, «разить их без жалости» и «делать все, чтобы предатели и роялисты... были быстро и строго наказаны». Как отмечает Мишле, среди монтаньяров по умолчанию было принято не высказывать сомнений в правильности тех действий, кои совершали на местах народные представители. Однако сестра Робеспьера пишет, что брат ее страшно возмущался теми народными представителями, кто злоупотреблял своей «неограниченной властью для совершения ужасных зверств». «Сколько раз он требовал отзыва Каррье, которому покровительствовал Бийо-Варенн, но все безуспешно». А политический лицемер и стяжатель Фуше, умевший выказывать пылкий патриотизм и скрывать «свои подлые чувства и низменные страсти», чтобы обезопасить себя от нареканий, ухаживал за

Шарлоттой Робеспьер, и поговаривали даже о браке. Но после отозвания Фуше из Лиона и разноса, устроенного ему Неподкупным, к этому замыслу больше не возвращались.

Гибель Марата всколыхнула крайних левых; они требовали максимума, смертной казни для скупщиков и спекулянтов, использование революционной армии для проведения реквизиций, ареста всех подозрительных, очищения штабов и администрации от аристократов. «Бешеные» продолжали издавать газету Марата. Эбер, тесно сблизившийся с санкюлотской верхушкой Коммуны, предложил «собрать в кучу всех роялистов и скупщиков, запереть их в церкви, окружить пушками и держать там до полной победы революции». Колло д'Эрбуа и Бийо-Варенн, разделявшие взгляды Эбера, активно способствовали принятию закона, каравшего смертью спекулянтов и укрывателей продовольствия. Роль Комитета общественного спасения возрастала.

27 июля... Несмотря на постоянные намеки на грозившие ему кинжалы, на веру в Провидение, Робеспьер вряд ли видел в этой дате что-либо мистическое. Но именно 27 июля вознесло его на головокружительную высоту, и оно же низвергло в бездну. Ровно год он практически единолично возглавлял вздыбленную революцией страну, и все, что в ней происходило, связывалось с его именем. Хотел он того или нет. Однако именно за этот год корабль Республики, по словам М. Галло, наконец миновал мыс бурь, и Робеспьер был среди тех, кто стоял у его руля. Но, как заметил Барер, для корабля революции путь в гавань лежит только по кровавым волнам бушующего моря... «Я горячо желаю снять с себя бремя управления, которое в течение пяти лет лежит на моих плечах; я откровенно скажу, что это бремя выше человеческих сил», — говорил Робеспьер вскоре после своего избрания в Комитет общественного спасения. Хотя на деле он никогда ничем не управлял официально, разве только избирался председателем Конвента или Якобинского клуба, но это были временные, сменные должности. Он сам создал свой авторитет, и сам, до последнего, поддерживал его. Он настолько сросся с революцией, что, когда его не стало, революция закончилась.

Постоянный состав Комитета общественного спасения определился к началу осени 1793 года: Робеспьер, Сен-Жюст, Кутон, Жанбон Сент-Андре, Барер, Робер Ленде, Приер (из Марны), Приер (из Кот-д'Ор), Карно, Бийо-Варенн, Колло д'Эрбуа, Эро де Сешель — всего 12 человек. Они составили правительство, вошедшее в Историю под названием Великого Комитета общественного спасения, обеспечившего изгнание интервентов за пределы Франции и победу Республики. Полномочия комитета постоянно

расширялись, заседания проходили при закрытых дверях, в любое время суток, протоколы не велись. Первостепенной задачей комитета являлся надзор за применением законов революционного времени; он имел право принимать чрезвычайные меры в области как военной, так и дипломатической, арестовывать подозрительных лиц и направлять деятельность министров; в его ведение Конвент предоставил 50 миллионов ливров, но вскоре сумма была увеличена. Изначально предполагалось каждый месяц менять трех членов комитета, однако Конвент, чувствуя всю серьезность ситуации, не позволял нарушать единство правительства, пока Республика находилась в опасности, и в течение года сохранял у власти одних и тех же граждан, переизбирая их каждый месяц. «Облеченные великой миссией и строгой ответственностью, эти граждане, несмотря на возникшую между ними личную антипатию, упорно работали бок о бок, не вынося за стены комитета никаких разногласий вплоть до того дня, когда один человек, побуждаемый честолюбием, нарушил принятые правила к великому ущербу для Республики, и на свет явились долго и тщательно скрываемые противоречия», — писал Карно. Надо ли пояснять, что речь шла о Робеспьере.

28 августа по представлению Комитета общественного спасения Конвент объявил всеобщую мобилизацию всей нации. Все французы «до тех пор, пока враги не будут изгнаны за пределы территории республики, должны находиться в постоянной готовности к службе в армии. Молодые люди должны отправиться воевать, женатые будут изготавливать оружие и перевозить продовольствие, женщины будут шить палатки и одежду и служить в госпиталях, дети будут щипать корпию, старики будут в общественных местах возбуждать мужество воинов, ненависть к королям и взывать к единству Республики». Декрет отвечал требованиям санкюлотов, революционного плебса, с которым все больше приходилось считаться. Хотя Робеспьер был уверен, что «благородная идея всенародного ополчения... бесполезна», ясный, словно лубочная картинка, декрет сыграл свою роль, побудив граждан вносить свою лепту в реорганизацию армии. Осуществив принцип амальгамы, новобранцев соединили с солдатами старой армии, а офицерские должности сделали выборными, и они стали доступны для действительно способных и отважных людей. Неуклонно наращивалось производство пушек и ружей, на нужды армии снимали колокола, наладили производство пороха. К концу 1793 года интервентам уже противостояли 14 хорошо вооруженных армий, во главе которых стояли талантливые генералы Революции: Гош двадцати пяти лет, Журдан

тридцати одного года, Марсо двадцати семи лет, Мюрат двадцати четырех...

Кардинальная реорганизация армии потребовала величайшего напряжения и «возбуждения» всех сил нации. Ползучий «федералистский» мятеж жирондистов, мечтавших вернуть себе утраченные в Париже позиции (а вовсе не расчленить Францию на феодальные государства, как писали некоторые современники), не найдя достаточной поддержки среди населения, постепенно сошел на нет. Но стране по-прежнему грозили интервенты, не дремали монархисты и аристократы. Поэтому, когда поступило предложение распустить Конвент, задача которого — создать и принять конституцию — была выполнена, и назначить выборы в Законодательное собрание, Робеспьер решительно этому воспротивился: «Призванный, против моего желания, в Комитет общественного спасения, я увидел вещи, существование которых я бы никогда не осмелился подозревать. Я увидел в комитете... патриотов, прилагающих все свои усилия, иногда напрасно, для спасения страны, и... предателей, заговорщиков, действующих с тем большей наглостью, что они остаются безнаказанными. Народ сам спасет себя. Конвенту надо собрать вокруг себя весь французский народ... Я заявляю, что ничто не может спасти Республику, если будет принято внесенное сегодня предложение о том, чтобы Конвент был распущен и чтобы вместо него было создано Законодательное собрание». Прежняя риторика, прежний тревожный профетический характер речей; но теперь Робеспьер убеждал Конвент в необходимости сохранить существующую власть, то есть прежде всего главенство Комитета общественного спасения, членом которого он недавно стал. Не были забыты и «бешеные»: «Существуют люди тем более опасные, что они домогаются жалости. Надо запереть эту толпу людей, бегущих по улицам города. Они изображают себя голодными, нищими, аристократами; эти люди подкуплены для того, чтобы совратить народ и сделать его жертвой обмана из-за его доверчивости и его сочувствия». И все же выпад в сторону «бешеных» и ультралевых достаточно осторожный, хотя ни в Конвенте, ни у якобинцев Неподкупного больше не сдерживала никакая оппозиция, а «бешеные» и примкнувшие к ним кордельеры заседали в основном в Коммуне Парижа. Но как опытный политик Робеспьер понимал, что и Коммуна, и кордельеры, и «бешеные», и многочисленные народные общества, включая общества женские, которых становилось все больше, — это новая оппозиция; пока она не имела политической власти, но уже обладала своим рупором — газетой «Папаша Дюшен» Эбера, выходившей поистине заоблачными тиражами. И если эту

оппозицию не остановить, она может смести вставших у руля государственной власти якобинцев. А этого Робеспьер допустить не мог, тем более что выступала оппозиция от имени народа, что он воспринимал как личное оскорбление. Возможно, он был искренне уверен, что от имени народа имеет право говорить только он.

Одним из первых шагов к искоренению новых политических противников стал запрет народных обществ, в том числе женских клубов и объединений. Коммуна поддержала удаление женщин со сцены революции. И когда к Шометту явилась депутация разгневанных женщин в красных колпаках, он их отправил домой, заявив, что Жанна д'Арк нужна была только при Карле VII. Республике требовались матери, дабы воспитывать добродетельных граждан.

4 сентября «бешеные» вновь напомнили о себе. В Париже вспыхнули волнения. «Здесь идет война богатых против бедных! Богатые хотят уничтожить нас, но мы должны опередить их! Сила в наших руках! — призывал Шометт. — Пусть революционная армия начнет реквизицию продовольствия, и пусть каждый полк везет за собой гильотину, дабы карать скупость и жадность, заговор и заговорщиков!»

5 сентября делегация Коммуны в сопровождении Шометта и Паша явилась в Конвент с требованием создания специальной революционной армии и применения суровых законов революционного времени. Иначе говоря, «поставить террор в порядок дня», сделать его руководством к действию. Робеспьер, исполнявший тогда обязанности председателя Конвента, в знак особого доверия пригласил делегацию присутствовать на заседании. В тот же день, выступая от монтаньяров, Бийо-Варенн потребовал ареста всех подозрительных. Депутатам же поступили петиции с требованиями безотлагательно осудить жирондистов и Марию Антуанетту и изгнать всех «бывших» со всех общественных должностей.

Требования санкюлотов поддержали якобинское большинство и значительная часть монтаньяров, и Робеспьер счел необходимым согласиться с ними. Он сам недавно осуждал революционный трибунал за «медлительность»: «Бесполезно собирать присяжных и судей, поскольку этому трибуналу подсудно преступление лишь одного рода — государственная измена, для которой есть одно наказание — смерть». «Дело не в том, чтобы судить, а чтобы разить», — подчеркнул он, выступая у якобинцев. В клубе, где его слушали как оракула, Неподкупный позволял себе более резкие суждения: «Мы издадим разумные и в то же время грозные законы, обеспечивающие народу средства к существованию. Они навсегда уничтожат скупщиков... предотвратят все заговоры,

предательские козни, которые строят враги народа, чтобы из-за голода поднять его на восстание... Если богатые фермеры хотят быть пиявками народа, мы выдадим их самому народу. Если мы встретим слишком много препятствий для того, чтобы самим расправиться с изменниками, скупщиками, заговорщиками, мы скажем народу, чтобы он сам расправился с ними». Слова эти прозвучали как неприкрытая угроза — у всех была жива в памяти сентябрьская резня.

В течение сентября Комитету общественного спасения пришлось отражать атаки как депутатского «болота», так и части монтаньяров, категорически не согласных с требованиями крайних левых. Угроза народной расправы и включение в состав Комитета общественного спасения Колло д'Эрбуа и Бийо-Варенна, близких к ультралевому Эберу, встревожила «болото». В комитет захотели снова избрать Дантона, но он решительно отказался. Не исключено, что он не видел возможности работать в тесном сотрудничестве с Робеспьером, который по своим человеческим качествам являлся полной его противоположностью. Одно дело — поддерживать комитет Робеспьера, а другое — постоянно выслушивать назидательные тирады «ходячего принципа».

Поступившие из Вандеи известия о поражении армии близкого к ультралевым Ронсена и об изменении ситуации в пользу мятежников дали повод «болотным жабам», как нередко за глаза называли якобинцы депутатов парламентской «равнины», обвинить Комитет общественного спасения в бездействии. Робеспьеру пришлось выступить с обширной речью об оппозиции комитету в Конвенте и напомнить, что «Конвент связан с Комитетом общественного спасения; ваша слава связана с успехом трудов тех, кого вы облекли доверием нации»; «Разве граждане, которых вы обрекли на выполнение самых тягостных функций, потеряли звание невозмутимых защитников свободы только потому, что они согласились нести это бремя?»; «Нас обвиняют в том, что мы ничего не делаем; но подумали ли вы о нашем положении? Нам приходится управлять одиннадцатью армиями, нести на себе бремя наступлений всей Европы, разоблачать повсюду предателей, эмиссаров, подкупленных золотом иностранных держав, следить за непокорными администраторами и карать их... бороться со всеми тиранами, устрашать всех заговорщиков... Думаете ли вы, что без единства, без секретных действий, без уверенности найти поддержку в Конвенте правительство сможет восторжествовать над столькими препятствиями и столькими врагами?» В конце речи Неподкупный заявил, что «если правительство не пользуется безграничным доверием и не состоит из лиц, достойных этого доверия», то Комитет

общественного спасения должен быть обновлен. Но ответственность за такое кардинальное решение никто взять на себя не захотел: слишком тяжелым было положение страны.

10 октября 1793 года Конвент по предложению Сен-Жюста принял декрет о «революционном порядке управления», согласно которому во Франции вплоть до заключения мира устанавливалось временное революционное правительство. История еще не знала подобной формы правления, «новой, как и сама революция, которая ее выдвинула». «Было бы бесполезно искать ее в трудах политических писателей, которые совсем не предвидели нашей революции, или в законах, с помощью которых управляют тираны. <...> Цель конституционного правительства — сохранить республику, цель правительства революционного — создать ее», — с жаром убеждал Робеспьер с трибуны якобинцев. И он, и Сен-Жюст понимали, что основанием для создания революционного, не подчиняющегося конституционным законам правительства может быть только наличие врагов, которых надо уничтожать. «При конституционном режиме достаточно защищать личность от злоупотребления властей; при революционном режиме общественная власть сама вынуждена защищаться от нападков фракций». А еще Неподкупный считал, что революционное правительство может доверять только тем, у кого «руки чисты», ибо они одни могут избежать ловушек «модерантизма» и «избытка рвения»; по его мнению, именно такие люди находились в Комитете общественного спасения.

В осенние месяцы 1793 года интенсивно закладывался фундамент якобинской диктатуры. 17 сентября был принят «закон о подозрительных», согласно которому все лица, «своим поведением, речами или сочинениями проявившие себя как сторонники тирании», подлежали аресту. Кто-то тотчас вспомнил, что нечто подобное уже писал Демулен о заговорах: «Было бы недобросовестно требовать от нас фактов, доказывающих наличие заговора... Достаточно существенных признаков». В октябре 140 народных комиссаров отправились в армию и в департаменты, чтобы поддержать или наладить связь с Парижем и проследить за исполнением революционных законов. Имущество «подозрительных» конфисковывали в пользу государства. Упростили и ускорили судопроизводство революционного трибунала. Расширили полномочия революционных комитетов на местах, поручив им вести наблюдение над тайными врагами народа и проведением в жизнь директив Конвента, постепенно становившегося рупором Комитета общественного спасения. Создали специальные отряды для борьбы с укрывателями продовольствия. Наконец,

29 сентября был принят закон о всеобщем максимуме, устанавливавший твердые цены на продукты первой необходимости и размер заработной платы. Закон о максимуме быстро парализовал торговлю, а продукты по твердым ценам стали исчезать из лавок еще стремительнее, чем прежде. Недостаток продуктов, плохое качество вина приводили к стычкам в очередях и лавках; Коммуне пришлось вводить хлебные карточки, потом мясные, потом карточки на мыло... Активисты секций, организовав очередной революционный комитет, при поддержке кордельеров приняли решение о проведении обысков с целью конфискации запасов продовольствия, но Комитет общественного спасения своей властью отменил это решение. С максимумом на заработную плату дело обстояло еще хуже, ибо на него попросту нельзя было прожить. И на его нарушение Коммуна смотрела сквозь пальцы.

Став членом Комитета общественного спасения, Робеспьер словно обрел второе дыхание, он был всюду: в комитете, в Конвенте, у якобинцев. Только у якобинцев он выступил в сентябре 13 раз, в октябре — 14, а в декабре — 20 раз. И это после нескольких заявлений о намерении покинуть свой пост! Единственное, чем он не занимался вовсе, — это поездки «на места». Пытаясь разгадать загадку пробудившейся в Неподкупном поистине нечеловеческой энергии, многие ссылаются на восторженный пассаж из его речи, произнесенной в Конвенте от имени Комитета общественного спасения: «Кто из нас не чувствует, как возрастают его силы, кто из нас не подымается даже над самим человечеством, когда думает о том, что мы боремся не за один народ, а за всю вселенную? Не только за людей, живущих теперь, но за всех тех, кто будет жить? Пусть угодно будет небу, чтобы эта истина не была замкнута в узком кругу, пусть она будет услышана в одно и то же время всеми народами!» Что это: опьянение честолюбием и славой или же упоение от причастности к великим свершениям? Или, как писал тогдашний журналист Риуф, «опьянение воображением и гордыней», происходившее от постоянного пребывания в «атмосфере собственного бреда»? Или очередное жонглирование словами, адресованное «болоту», чья поддержка в Конвенте становилась для него все более важной? «Великие таланты всегда служат революциям... ибо революции не были бы возможны, ежели бы великие таланты выступали против них», — отмечал пламенный контрреволюционер Жозеф де Местр.

Пишут, что, став членом правительственного комитета, Робеспьер проявил недюжинные организаторские и административные способности, быстро набросав основные организационные принципы его работы:

«Необходимо обустроить секретариат, назначив начальником достойного патриота, нанять смысленных и патриотически настроенных служащих. У каждого члена комитета должно быть свое отдельное помещение, где бы он мог работать со всеми необходимыми удобствами... Комитет никогда не должен обсуждать свои дела в присутствии посторонних; часы заседаний должны быть четко расписаны». Сферу своих задач он обрисовал следующим образом: «1. Продукты первой необходимости и снабжение. 2. Война 3. Умонастроения граждан и заговоры. 4. Дипломатия. Каждый день необходимо давать себе отчет по всем четырем пунктам, каково положение вещей». Заседал комитет в большом, со множеством помещений здании, именуемом павильоном Равенства (бывший павильон Флоры), в той его части, где имелся свой, отдельный вход. Робеспьер часто приходил в комитет ранним утром, чтобы поработать с почтой. Некоторые члены комитета оставались там ночевать, и тогда в их рабочие кабинеты ставили походные кровати. В десять часов начиналось общее совещание, в час дня Неподкупный шел в Конвент, а в восемь вечера снова на заседания комитета, продолжавшиеся иногда до часу-двух ночи. Если вечерних заседаний в комитете не было, Робеспьер отправлялся к якобинцам. В его записной книжке выстраивались длинные списки дел и вопросов, которые надо было выполнять и решать ежедневно: выявить предателей, прочитать донесения из Вандеи, разоблачить заговор, заслушать общественного обвинителя, председателя трибунала...

Но если в карьере политика Робеспьеру, казалось, удавалось все, в его собственной семье дела шли не лучшим образом. Самолюбивая и сварливая Шарлотта, считавшая своим долгом навещать брата, никак не могла найти общий язык с мадам Дюпле. Спасти положение решил Огюстен. Отправляясь народным представителем в Итальянскую армию, он взял с собой сестру; вместе с ним вторым комиссаром ехал депутат Конвента Рикор, которого сопровождала молодая жена. Сначала все шло хорошо, но когда Шарлотта обнаружила, что нравственность мадам Рикор весьма сомнительна, она громко заявила об этом, и раздосадованный Огюстен отослал ее в Париж, отправив вслед гневное письмо брату: «Сестра не имеет ни одной сходной капли крови с нашей. Я узнал и увидел с ее стороны такие поступки, что считаю ее величайшим нашим врагом. Она злоупотребляет нашей незапятнанной репутацией, чтобы командовать нами и угрожать нам скандалами, чтобы скомпрометировать нас. Необходимо предпринять против нее решительные действия. Надо уговорить ее уехать в Аррас и таким образом удалить от себя эту женщину, которая являет собой

наше общее несчастье».

Максимилиан не жаждал вновь иметь подле себя неугомонную сестрицу. Воспользовавшись тем, что из Парижа в Артуа отправлялся комиссар Конвента Лебон, тот самый, чья жестокость по отношению к «подозрительным» «отягощала патриотов» и внушала страх честным гражданам, он сумел уговорить Шарлотту вместе с Лебоном вернуться в Аррас. Но едва Шарлотта ступила на аррасскую землю, как тотчас оказалась в тюрьме: местный революционный комитет донес на нее как на аристократку! С помощью члена Конвента Флорана Гийо, ненавидевшего Лебона, и, возможно, тюремщика Карро, гордившегося своим родством с Робеспьером, ей удалось выбраться из темницы, и Гийо отвез ее в Париж. Опасаясь гнева братьев, Шарлотта больше не показывалась им на глаза, бросила квартирку на улице Сен-Флорантен и поселилась у гражданки Лапорт. С нового места проживания Шарлотта написала братьям длинное письмо. Она укоряла их за то, что они ее ненавидят и даже пытались опорочить в глазах друзей: «Совесть моя чиста... в глазах тех порядочных людей, которые меня знают, скорее вы утратите свою репутацию, нежели сумеете повредить моей... Я покидаю вас, раз вы того требуете».

Пережившая братьев на 40 лет, в своих воспоминаниях Шарлотта пишет, что, узнав об аресте Максимилиана и Огюстена, она, обезумев от отчаяния, бросилась к тюрьме Консьержери, «умоляла о свидании, на коленях ползала перед солдатами», «была близка к сумасшествию» и пришла в себя уже в тюрьме. Сидевшая вместе с ней в камере женщина уговорила ее подписать просьбу о помиловании, и Шарлотта не глядя подписала составленную той женщиной бумагу. На следующий день ее освободили. «Не знаю, воспользовались ли этим письмом подлые термидорианцы... они способны на это... они уничтожили бумаги Максимилиана и подменили их другими, где ему приписали всё, что им хотелось. Этим они довершили все свои преступления», — пишет в своих воспоминаниях Шарлотта Робеспьер. Но насколько они точны? Ж. Ленотр (а ему доверяют далеко не все историки) утверждает, что, узнав об аресте братьев, Шарлотта покинула свое жилище у гражданки Лапорт и благоразумно скрылась в квартале Центрального рынка, где ее согласилась приютить гражданка Беген. Когда же шпионы Комитета общественной безопасности отыскивали ее там, она отреклась от братьев, заявив, что «едва не стала их жертвой», и тем самым избежала ареста.

Но, кто бы ни был прав, счастливой Шарлотту не назовешь. Женщина заурядная, она не смогла ни понять своего неординарного старшего брата, ни найти свой путь сквозь тернии революции, с которой оба брата

безоглядно связали свою судьбу. Она очевидно их любила, но эта любовь, кажется, не нашла ответа и не принесла ей счастья. Почему так случилось? Почему Робеспьер, всю жизнь безотчетно стремившийся к семье, к семейному уюту, избрал дом Дюпле и отверг сестринские заботы? Не сошлись характерами? Отношения Шарлотты со старшим братом — это еще один штрих к портрету Робеспьера. Неподкупного, печального, подозрительного, сдержанного, трудолюбивого, гневного, мстительного, властного, честолюбивого... После смерти братьев Шарлотта жила на небольшую пенсию, назначенную ей Бонапартом. Эту пенсию правительство продолжало ей выплачивать и после падения императора.

Дабы успокоить возбужденных парижан, 3 октября Комитет общественного спасения решил предать суду революционного трибунала содержащихся в тюрьме депутатов-жирондистов и вновь арестованных 75 членов Конвента, подписавших протест против событий 2 июня. «Безнаказанность, как и отсрочка наказания тех, кто находится в руках правосудия, придает смелости тем, кто продолжает плести заговоры», — заявил депутат Мерлен (из Дуэ). Робеспьер высказался против обвинения и предания суду семидесяти пяти депутатов-«подписантов», ибо «Конвент должен щадить заблудших». Этот милосердный поступок вызвал недовольство депутатов: ропот звучал со всех скамей и зрительских мест. Тогда Неподкупный в очередной раз использовал свой личный авторитет, напомнив о своем славном революционном пути и безупречной репутации: «Я далек от того, чтобы превозносить отвратительную клику, против которой я сражался на протяжении трех лет и не раз едва не стал ее жертвой; моя ненависть к предателям равна моей любви к отечеству; кто осмелится усомниться в этой любви?» Зал умиротворенно стих. Благодаря Робеспьеру все 75 сторонников Жиронды пережили эпоху террора, а после Термидора некоторые даже продолжили заседать в Конвенте. Объяснения милосердного поступка Робеспьера найти пока не удалось. Кроме, разве что, естественного человеческого сострадания.

16 октября французская революционная армия одержала победу над австрийцами в сражении при Ваттиньи. В этот же день, отвечая на требование санкюлотов «поставить террор в порядок дня», революционный трибунал приговорил к смерти Марию Антуанетту. Через две с лишним недели на эшафот взошли Олимпия де Гуж и мадам Ролан. Обе женщины надеялись произнести речь в свою защиту и во славу Республики, но им не дали такой возможности. «Раз женщина имеет право подняться на эшафот, она имеет право взойти и на трибуну», — писала в своей «Декларации прав

женщины и гражданки» Олимпия де Гуж. Якобинцы оставили женщинам только эшафот. И пространство вокруг него, заполненное знаменитыми «вязальщицами» Робеспьера— трактирщицами, рыночными торговками, привратницами... Циничные и острые на язык дамы, не выпускавшие из рук вязания, дамы, от которых пахло луком и часто вином, успевали появляться везде — у подножия гильотины, в Конвенте, в клубах, на улицах. Они вывязывали имена и приметы тех, кто казался им подозрительным, а потом доносили в революционный трибунал. Когда в Конвенте выступал Робеспьер, «вязальщицы» осыпали отборной бранью неугодных своему кумиру депутатов — точно так же, как поносили осужденных на смерть. Рассматривая гильотину как свое оружие, с помощью которого они карают врагов, они будут бесноваться точно так же, когда на эшафот взойдет их развенчанный кумир Робеспьер...

24 октября начался суд над лидерами жирондистов. Перед общественным обвинителем Фукье-Тенвилем стояла сложная задача: люди, которых следовало осудить на смерть, не сделали ничего, за что им можно было вынести смертный приговор. Приходилось судить их за мысли и преступные намерения, доказать которые не представлялось возможным. Поэтому речь Фукье-Тенвиля оказалась туманна и противоречива. В результате допросов никакого общего преступления подсудимых также не выявили. Блестящие ораторы, имевшие друзей и в Конвенте, и среди сидящих в зале суда, жирондисты уверенно отвечали на вопросы, приводя в замешательство судей. Процесс затягивался, дебаты длились неделю, а конца не предвиделось. Деятельность жирондистов протекала открыто, на глазах у всех, поэтому свидетели, у которых хватало смелости сказать правду, напоминали, что якобинцы всегда неприязненно относились к жирондистам. А сами жирондисты решительно заявляли: «Вы судите нас за наши убеждения. Вы обвиняете нас в заговоре, потому что мы мыслим иначе, чем вы». Тогда якобинцы потребовали, чтобы Конвент «освободил трибунал от формальностей, заглушающих совесть и препятствующих убеждению», иначе говоря, чтобы присяжные «убедились» в виновности обвиняемых и прекратили прения. Требование сочли справедливым, присяжным дали указания, и те объявили, что пришли к «ясному убеждению». Не дав обвиняемым слова для защиты, их признали виновными в «заговоре против единства и нераздельности Республики, против благоденствия и безопасности французского народа». Адвокат, юрист Робеспьер ни на минуту не усомнился в праведности подобного суда.

30 октября жирондистам вынесли обвинительный приговор, 31

октября приговор привели в исполнение. Современники писали, что столь многочисленной толпы, что сопровождала телеги с осужденными, не собирала даже казнь Людовика XVI. По дороге на эшафот жирондисты хором пели «Марсельезу», звучащую в их устах победным маршем. «Марсельеза» смолкла лишь тогда, когда голова последнего депутата Жиронды упала в корзину. Друзья и соратники жирондистов, те, кому в свое время удалось бежать, кто пытался поднять мятеж против власти Парижа, подверглись беспощадному преследованию и в конце концов были уничтожены. Многие историки уточняют, что народ требовал «социального террора», направленного против богачей, спекулянтов и расхитителей, но никак не политического. Орудием политики он стал в руках Робеспьера и его Комитета общественного спасения. Запуская «гильотинное правосудие», депутаты хотели держать «меч свободы» в своих руках, дабы обезопасить себя от нового восстания и стихийного народного самосуда, иначе говоря, от резни, подобной сентябрьской. Ибо, несмотря на громкие революционные фразы, якобинцы и — если брать шире — монтаньяры достигли своей цели: пришли к власти. Хотя для Робеспьера вопрос о власти, точнее — о «единой воле», еще решен не был. Для него революция означала не практические реформы, а борьбу за власть.

Четко отработанный ритуал казни — начиная с отрезания волос в Консьержери, тюрьме, которую называли «прихожей гильотины», и до выверенного маршрута, которым телеги с осужденными следовали к площади Революции, где стояла гильотина, — напоминал масштабную театральную постановку и привлекал толпы народа. У гильотины появились свои поклонники и преданные сторонники. Рассказывают, что однажды какой-то гражданин явился в Конвент, чтобы сделать пожертвование на ремонт гильотины. А другой гражданин писал Робеспьеру из Лиона: «Здоровье мое только потому поправляется, что гильотинируют вокруг меня; все идет хорошо, но будет еще лучше, ибо казнь гильотиною нашли слишком медлительною, а через несколько дней будут умерщвлять по двести и триста человек за раз». По мнению психологов, тогдашние зрители воспринимали казнь осужденного как реализацию акта справедливости и с падением ножа гильотины испытывали своеобразный катарсис. Поэтому любые головы, летевшие в корзину, встречались приветственными криками «Да здравствует Республика!». Как сказал кто-то из современников, якобинцы дали народу головы вместо хлеба. Однако любой театр может наскучить. Когда народ стал уставать от страшного зрелища, гильотину переместили из центра города на окраину, к заставе Поверженного Трона, откуда ее вернут 10

термидора.

«Зловещий закон о подозрительных... вздымал над каждой головой зримый призрак гильотины». За оставшееся до конца года время только в Париже на эшафот поднялись 177 человек. 6 ноября казнили первого депутата-монтаньяра: им стал Филипп Эгалите, бывший герцог Орлеанский. Суд, вынесение и исполнение приговора заняли всего два часа. Ему ничего не смогли вменить, разве что сын его бежал за границу вместе с генералом Дюмурье. Затем казнили мадам Дюбарри, бывшую любовницу короля Людовика XV. За ней последовал астроном Байи, первый мэр Парижа и первый председатель Национального собрания. Антуана Барнава, лидера Учредительного собрания, отыскивали в его родном Гренобле, привезли в Париж и казнили. Арестовали и хотели отправить на гильотину философа Кондорсе, но тот в камере принял яд. Осуждали на смерть бывших дворян и неприсягнувших священников; тех, кто «ничего не сделал для революции», и тех, кто «публично выступал с непатриотичными речами»; тех, на кого, «не объясняя причины», указал сосед или член комитета по надзору, и тех, кто позволил себе «необдуманно высказываться о революции», кто дал пристанище эмигранту, кто имел родственников-эмигрантов, кто «не выказал преданности революции». Казнили за «непатриотические чувства», за «контрреволюционное поведение»... Гильотина работала без отдыха — несмотря на то, что к концу года угроза интервенции миновала. В сентябре — октябре герцог Кобургский был выбит из Мобежа, была освобождена Савойя, при Гондсхоте разбита коалиция англичан и германских князей, снята осада с Дюнкерка. В декабре освободили Тулон, а назначенный командующим Рейнской армией генерал Гош повел наступление на пруссаков. Восточные территории Франции были полностью освобождены от интервентов, а инициатива повсюду переходила в руки французов, «санкюлотов II года».

Несмотря на стук гильотины, жизнь революционной Франции была ключом. Вот как описывает ее В. Гюго в романе «93 год»: «Вся жизнь протекала на людях, столы вытаскивали на улицу и обедали тут же перед дверьми; на ступеньках церковной паперти женщины щипали корпию, распевая «Марсельезу»; парк Монсо и Люксембургский парк стали плацем, где новобранцев обучали воинским артикулам; на каждом перекрестке работали оружейные мастерские, здесь изготовляли ружья, и прохожие восхищенно хлопали в ладоши; одно было у всех на устах: «Терпение. Мы делаем революцию». И улыбались героически. Зрелища привлекали толпы, как в Афинах во время Пелопоннесской войны». В этой духоподъемной обстановке суровый моралист Робеспьер обрушил свой гнев на

легкомысленных актрис: «Принцессы театра не лучше принцесс Австрии. И те и другие в одинаковой мере развратны. И те и другие должны рассматриваться с равной суровостью». Словно откликаясь на критику, в моду стал входить политический театр. Охватившая всех жажда обновления породила заказные пьесы-однодневки, дышащие революционным энтузиазмом. Уличная жизнь требовала зрелищ, и любая церемония, будь то похороны патриотов или посадка Дерева Свободы, превращалась в театральное действие. Конвент утвердил замену обращения на «вы» демократичным обращением на «ты». По предписанию Коммуны хлебопеки начали выпекать «хлеб равенства»^[22], а богатые платили налог в пользу бедных. Основали Высшую политехническую школу. Ввели употребление телеграфа. Учредили систему всеобщего начального образования. Конвент созидал Республику.

На улицах столицы появились небывалые прежде процессии, во главе которых дюжие санкюлоты несли на руках паланкины, где на тронах восседали юные девы в белых одеждах, перепоясанные трехцветными шарфами и во фригийских колпаках. Девы изображали богиню Разума. Культ Разума агрессивно вытеснял культ католический. Через Конвент одна за другой проходили шутовские депутации наряженных в церковные одеяния санкюлотов, швырявших к подножию трибуны груды церковной утвари. Утверждают, что однажды патриоты принесли в Конвент 17 ящиков с золотыми и серебряными предметами церковного обихода (которые тотчас отправили в переплавку). Началась «дехристианизация» страны. В городах и селах закрывали церкви и превращали их в «храмы Разума», где устраивали буйные, церемонии, подобные языческим сатурналиям. Коммуна Парижа издала специальное постановление о ликвидации в столице религиозных культов и установлении Дня разума. Впрочем, новый культ копировал ритуалы и церемонии культа изгнанного: гражданская процессия заменила крестный ход, святых и реликвии вытеснили мученики революции и реликвии революционные. Собор Парижской Богоматери стал Храмом разума, в нем воздвигли символическую гору, увенчанную Храмом философии; на склонах горы пылал священный огонь Истины. Пресловутый Фуше протащил в Конвенте постановление, запрещавшее священникам появляться в церковном облачении и проводить религиозные церемонии вне пределов храма. Над воротами кладбищ появились надписи: «Смерть — это вечный сон». «Ах, черт возьми! Если бы санкюлот Иисус вернулся на землю, как бы он был доволен, видя, как воры изгоняются из храмов», — радовался рупор эбертистов «Папаша Дюшен». Анахарсис Клоотс, на визитной карточке которого значилось: «А. Клоотс, личный враг

Иисуса Христа», уговорил конституционного епископа Парижа Гобеля вместе с несколькими священниками явиться в Конвент и торжественно отречься от сана.

Еще один удар по церкви нанесло введение революционного календаря, принятого с целью увековечения Республики. Первым годом новой эры стал 1792-й — год провозглашения Республики, а первым ее днем — 22 сентября. С этого дня год делился на 12 месяцев, каждый месяц насчитывал 30 дней, а пять дополнительных дней называли санкюлотидами. Первым месяцем нового календаря стал вандемьер (месяц сбора винограда), за ним с 22 октября начинался брюмер (месяц туманов) и далее фример (месяц заморозков), нивоз (месяц снега), плювиоз (месяц дождя), вантоз (месяц ветров), жерминаль (месяц расцветания), флореаль (месяц цветения), прериаль (месяц сенокоса), мессидор (месяц жатвы), термидор (месяц июльской жары), фрюктидор (месяц плодов). Календарь разработал математик и якобинец Жильбер Ромм, названия месяцев принадлежали Фабру д'Эглантину. Вдохновленный небывалым новшеством, Фабр посчитал необходимым «воспользоваться благоприятным случаем и посредством календаря как книги наиболее употребительной вернуть французский народ к земледелию». В новом календаре не нашлось места ни церковным праздникам, ни воскресным службам и проповедям; каждый месяц делился на три декады, а место воскресенья занимали декады — десятые дни декады. Граждане не сразу свыклись с новым календарем; даже Робеспьер усомнился, стоило ли столь стремительно вводить новое летосчисление.

Поначалу Робеспьер лишь присматривался к «дехристианизации» и «дехристианизаторам», вдохновителем которых выступал Эбер: с одной стороны, фарсовое карнавальное движение отвлекало бедноту от насущных нужд, с другой — породило множество недовольных, особенно в деревнях, а с третьей — ограбление церковей принесло более миллиарда франков в казну Республики. Активное участие эбертистов в антирелигиозном маскараде также не могло не беспокоить Неподкупного. Будучи деистом, Робеспьер испытывал насущную потребность в существовании божества, того, кто сможет отделить праведников от неправедных. Впрочем, деизм Робеспьера мог оказаться маской, надетой для народа... В речи от 21 ноября, посвященной атеизму и политике в вопросах религии, Неподкупный почти слово в слово процитировал нелюбимого им Вольтера: «Если бы Бога не существовало, его следовало бы выдумать». Для политика такая мысль вполне здравая. Тем более что, согласно Руссо, вера предписывала свято чтить законы, а значит, религиозный культ помогает

управлять народом. 22 фри-мера (12 декабря) Робеспьер сказал у якобинцев, что «движение против культа может принести пользу, если оно созрело под влиянием времени и разума», подразумевая под культом католическую церковь, которая в революционном сознании связывалась со Старым порядком. Возможно, именно во время борьбы с «дехристианизаторами» замысел Робеспьера о введении совершенно нового культа, культа Верховного существа, «чей храм вселенная», стал обретать зримые контуры. Главным понтификом нового культа Неподкупный мог видеть только себя.

Но пока время для нового общества не пришло, ибо большинство населения не хотело отказываться от привычного католицизма, а меньшинство предавалось атеистической вакханалии. Тем не менее Робеспьер уверенно заявлял: «Атеизм аристократичен; идея «Верховного Существа», охраняющего невинность и карающего преступление — это народная идея. Французский народ... не привязан ни к священнослужителям, ни к суеверию, ни к религиозным культам; он привязан лишь к самому культу, то есть к идее о существовании непостижимой силы, которой он любит отдавать почести». Согласно Неподкупному, эта сила являлась гарантом социального мира и способствовала утверждению гражданских добродетелей. Те же, кто с особым рвением выступал против религии, были, по мнению Робеспьера, замаскированными преступниками: «Мы покараем их, несмотря на их лицемерный патриотизм». Эти слова стали своеобразным предупреждением Эберу, стремительно возрастающая популярность которого не могла не беспокоить Робеспьера. Вдобавок Эбер стоял гораздо ближе к реальному народу, чем Робеспьер, имел тесные связи с Коммуной и с кордельерами, ставшими реальной силой: они заседали в революционном трибунале, в военных бюро, их поддерживали народные общества, они могли поднять народ, а новое восстание не входило в планы Робеспьера.

Почувствовав угрозу, и Эбер, и Шометт, один из главных «дехристианизаторов» Парижа, тотчас осудили собственные крайности. «Я не знаю лучшего якобинца, чем Иисус Христос. Он ненавидел богачей и облегчал страдания бедняков. Он основатель всех народных обществ», — заявил Эбер на страницах «Папаши Дюшена». Грубовато-шутливые комплименты народу, щедро разбросанные по страницам «Папаши Дюшена», Коммуна, поддерживавшая Эбера и нередко выкупавшая за общественные деньги тиражи его агитки, чтобы бесплатно распространять их в армии, не давали Робеспьеру покоя; ему казалось, что эти люди

уменьшают его славу «непреклонного защитника санкюлотов». «По какому праву неизвестные прежде Революции люди пытаются, воспользовавшись событиями, найти способ узурпировать фальшивую популярность?» — возмущался он. Славу, которую он снискал за годы революции, он считал своим достоянием и был готов защищать ее не менее яростно, чем богатч свои сокровища.

Множество санкюлотов поистине благоговели перед Робеспьером. Почитая своего кумира как святого, они изливали свои восторги в письмах и адресах. Послания поступали от народных обществ, от революционных комитетов и просто от граждан, соревновавшихся в витиеватых фразах и обращениях: «отец отечества», «отец патриотизма», «факел, столп, краеугольный камень здания Французской республики», «друг свободы», «непреклонный защитник прав народа», «добродетельный и честный республиканец, прочная опора и непоколебимый столп Французской республики единой и неделимой». Граждане делились с ним радостями: «Природа даровала мне сына, и я назвал его твоим именем. Пусть он будет столь же полезен и дорог отечеству, как ты!» Кто-то открывал ему свое сердце: «Кто знает? Быть может, я сообщу тебе то, чего ты еще не знаешь». Санкюлоты просили помощи: «Робеспьер, опора Республики, защитник патриотов, неподкупный гений, просвещенный монтаньяр, который все видит, все предвидит, все разоблачает, кого нельзя ни обмануть, ни соблазнить, к тебе, обладающему даром красноречия и истинному философу, обращаются двое, не имеющих твоего гения, но обладающих твоей душой». Бдительные граждане направляли Неподкупному доносы: «Почитатель талантов великодушного Робеспьера... чувствует себя обязанным, хотя и сохраняя анонимность, сообщить, что в народном обществе Тура... среди тех, кто, прячась под маской патриотизма... устраивает тайный заговор... есть некий Во де Лоне, недавно ставший членом Конвента...» А судья революционного трибунала Гарнье-Лоне сообщал, что на улице Комартен аристократы используют братские трапезы, чтобы подкупать патриотов: накрывают роскошный стол и заманивают за него санкюлотов, устраивая вдобавок еще и танцы под музыку. Письма, адреса и доносы приходили во множестве, погружая Неподкупного в атмосферу пустого славословия, деформируя окружающий его мир и позволяя упиваться поистине безграничной властью в государстве, во главе которого он фактически оказался. Поэтому, когда среди восторгов прозвучали дерзкие слова 22-летнего Леклерка о том, что «старые люди уже изношены» и «только молодые люди обладают той степенью страсти, которая необходима для осуществления революции»,

ничего, кроме приступа ненависти к «бешеным», у Робеспьера они вызвать не могли.

К концу осени среди якобинцев отчетливо сформировались две противоположные группировки: ультраевые (Шометт, Эбер, Ронсен, Каррье) и умеренные (Демулен, Фабр д'Эглантин, Лежандр, Дантон), ни одна из которых не была согласна с политикой, проводимой Робеспьером. Сторонники Жака Ру, арестованного во время сентябрьских беспорядков (10 февраля 1794 года Ру, чтобы не отправиться на гильотину, заколет себя кинжалом), присоединились к эбертистам, имевшим поддержку не только в массах, но и в самом Комитете общественного спасения: на их стороне активно выступали ультраевые якобинцы Колло д'Эрбуа и Бийо-Варенн. Тайно подкапывался под Робеспьера и Комитет общественной безопасности, иначе говоря — полицейское управление, опутавшее Францию сетью своих шпионов. Некоторые агенты, как, например, Эрон, служили «и вашим и нашим», работали и на Комитет общественной безопасности, и на Робеспьера, который активно обзаводился своей личной агентурой. В Комитете общественного спасения также не было согласия: Бийо-Варенн и Колло д'Эрбуа симпатизировали эбертистам, Эро де Сешель — дантонистам (вместе с которыми он будет казнен). Депутаты, решавшие практические вопросы — Жанбон Сент-Андре, занимавшийся флотом, Приер (из Марны), пропадавший в командировках на фронтах, Ленде, отвечавший за снабжение продовольствием, Приер (из Кот-д'Ор), организатор технического снабжения армии, Карно, разрабатывавший военные операции, — без энтузиазма относились к постоянным поискам врагов и раскручиванию маховика террора. Барер, признанный докладчик комитета, речам которого официальный «Монитор» уделял больше колонок, чем речам Робеспьера и Дантона, Барер, прозванный Анакреонтом гильотины, подобно рыбе в воде ловко лавировал между партиями и группировками. Безоговорочно поддерживали Неподкупного только Сен-Жюст и Кутон. Но Сен-Жюст часто ездил с миссией на фронт, а Кутону здоровье не всегда позволяло присутствовать на заседаниях, и вокруг Робеспьера часто оказывалась пустота. Небезосновательно считая и правых («умеренных», «снисходительных»), и левых («ультраевых» якобинцев, эбертистов) одинаково себе враждебными, Неподкупный все чаще задумывался об их устранении.

Понимая, что одному Эбера и поддерживавшую его Коммуну во главе с Пашем ему не свалить, Робеспьер решил использовать для этого Дантона, не скрывавшего своей антипатии к вульгарному и эпатажному журналисту, и Демулена, начавшего издавать газету под названием «Старый кордельер»

— словно подчеркивая, что с нынешними кордельерами ему не по пути. Однако Дантон, не одобрявший крайностей новых кордельеров, заявил, что отдал все свои силы и помыслы революции и «исчерпал себя». В октябре он даже испросил отпуск, дабы поправить здоровье. Но если Робеспьер делал заявления о своей изнуренности скорее кокетства ради, то Дантон действительно покинул Париж и вместе с молодой женой отправился к себе в Арси-сюр-Об. Вернулся он только к концу ноября, будучи предупрежденным, что Робеспьер собрался атаковать его. Предупреждение не столько взволновало, сколько удивило Дантона. «Они хотят моей головы? Они не осмелятся», — заявил он. Он был прав, но только пока, ибо Робеспьер решил использовать красноречие Дантона и перо Камилла для расправы с Эбером.

Поначалу Демулен надежды оправдал: выступил с разгромной статьей о «контрреволюционных патриотах», пытавшихся «выставить нас перед Европой народом-атеистом, без конституции и принципов», народом, который, клянясь именем свободы, «осуждает и преследует все культы». Главой этих людей, «считающих себя бóльшими патриотами, чем Робеспьер», он назвал «Анахарсиса Клоотса, оратора рода человеческого». Поименно были названы также Шометг и давно обосновавшийся во Франции бельгиец (возможно, побочный сын князя Кауница) Бертольд Проли, участник крупнейших финансовых махинаций предреволюционной эпохи, теснейшим образом связанный с Эбером. Робеспьер уже однажды с трибуны якобинцев недобрым словом помянул Проли, намекая на его причастность к «заговору иностранцев». Чем дальше от границ отесняли неприятеля французские войска, тем чаще Неподкупный говорил о коварстве иностранцев, особенно англичан, плетущих заговоры против Республики в самом ее сердце. Об этом же напоминал и изданный в октябре декрет, согласно которому иностранные подданные из воюющих с Францией государств подлежали аресту.

Прибыв в Париж, Дантон безоговорочно встал в ряды единомышленников Робеспьера и обрушился на антицерковные манифестации, заявив, что он против «священнослужителей как фанатизма, так и безверия»: «Мы не для того хотели уничтожить суеверие, чтобы установить царство атеизма». Подобно Неподкупному, он принялся обличать заговор иностранцев, указав на богача и авантюриста барона де Батца как на его главу. В результате в начале декабря при поддержке Дантона, которому всегда были чужды взгляды крайних левых, Конвент принял декрет о свободе культов, запретил насильственные действия над церковью и «упразднил фанатизм». «Нам нечего бояться иного фанатизма,

кроме фанатизма безнравственных людей, подкупленных иностранными государствами с целью возродить фанатизм и придать нашей революции налет безнравственности, характерный для наших презренных и жестоких врагов. <...> Тот, кто хочет не допустить служение мессы, более фанатичен, чем тот, кто служит ее», — заявил Робеспьер.

Речи Неподкупного становились все более вдохновенными и исполненными смысла, понятного только ему одному. «Мы ввели мораль в управление народами», «невинность... наконец нашла убежище в трибуналах», — говорил он в Конвенте. Мир Неподкупного окончательно разделился на «добродетельных» — французский народ и «безнравственных» — его врагов. «Все, что французская революция произвела разумного и величественного, является делом французского народа. Все, что носит противоположный характер, принадлежит нашим врагам. Все разумные и благородные люди стоят на стороне республики. Все коварные и развращенные люди принадлежат к фракции ваших тиранов». «Безнравственные люди» — это эмиссары тирании, иностранные агенты, которых во Франции развелось великое множество; они приехали, чтобы обогащаться и развращать защитников и представителей французского народа. Нельзя сказать, что Робеспьер был совсем не прав: соседние монархии, озабоченные привлекательностью идей французской революции, были крайне заинтересованы в политической нестабильности Франции, влекущей за собой разруху и хаос, способствовавшие устранению Франции как экономического конкурента.

Мания заговоров постепенно охватывала все общество. Но если есть заговор, есть и бдительный патриот, готовый его раскрыть. Народный обличитель принимал на себя обязанность «непрерывно бодрствовать для блага народа против общественных врагов». Отказавшись «от радостей, от нежности, от отдыха», он «жертвовал всем своим временем в поисках несправедливости и преступлений, происков и заговоров, козней и измен, угрожающих спокойствию, свободе и общественной безопасности». Слова, написанные около года назад Маратом, как нельзя лучше характеризовали Робеспьера зимы 1793/94 года. Под флагом борьбы с иностранным заговором Неподкупный развернул кампанию против «дехристианизаторов», сбив с толку многих санкюлотов. Выходило, что иностранцы, желая погубить революцию, простерли свои щупальца всюду, подкупая «снисходительных» и побуждая ультралевых совершать жестокости, чтобы обвинить в них народ и революцию. При таком подходе под ударом оказывались и сторонники Дантона, и сторонники Эбера.

Особенно ощутимый удар и по дантонистам, и по эбертистам нанес процесс Ост-Индской компании, которую Конвент решил ликвидировать «как пережиток Старого порядка»: и те и другие оказались причастными к финансовым махинациям иностранных банкиров, явившихся в Париж в надежде выловить золотую рыбку в мутных водах революции. Дерзкие махинаторы барон де Батц, братья Фрей, Перрего, Гузман, Проли... Этим людям революция использовала как для тайной дипломатии (ибо европейские монархии разорвали дипломатические отношения с Францией), так и для военных закупок и организации заграничных поставок, на которых ловкачи всегда нагревали руки. Услугами иностранных финансистов пользовались и оба комитета, постоянно нуждавшиеся в неучтенных средствах для оплаты тайных агентов и секретной деятельности. Объявив иностранцев заговорщиками, их превратили в преступников политических и буквально поставили в очередь на гильотину. Однако связи и тугой кошелек делали свое дело: гонений избежали и английский шпион лорд Стоун, и хамелеон банкир Перрего, и целый ряд закулисных персон, усердно «подогревавших» обстановку во Франции.

Причастность к финансовым авантюрам иностранных банкиров набросила мрачную тень коррупции на многих депутатов Конвента. И хотя Эбер утверждал, что «воры делают свое дело, но рано или поздно они отдадут то, что украли; они всего лишь экономят... Поэтому бойтесь не воров, а честолубцев!» — коррупционный скандал разразился. Следов политического заговора Ост-Индской компании в деле никому найти не удалось, но мошенничества и подкупов оказалось предостаточно. Дело началось с того, что компании предложили самоликвидироваться без определенных сроков. Тогда депутат Шабо и несколько его приятелей-депутатов решили нажиться на разнице курсов акций компании; они надеялись скупить акции задешево и прежде, чем компания ликвидирует свои дела, продать их задорого. Но с самого начала интрига не заладилась: когда раздобыли деньги на покупку акций, секретарь Конвента Фабр д'Эглантин, которого не ввели в курс дела, провел декрет о немедленной государственной ликвидации компании. Мошенники рискнули переписать декрет «под себя» и отдали его на подпись Фабру в надежде, что он ничего не заметит и подмахнет. Фабр то ли действительно не заметил и подписал, то ли взял предложенную взятку и подписал. Потом, как пишут, в атмосфере всеобщего страха и доноительства нервы у Шабо не выдержали, и он донес Робеспьеру о существовании заговора, якобы возглавленного бароном де Батцем, намеревавшимся на деньги Ост-

Индской компании подкупить продажных депутатов и устранить неподкупных. При этом Шабо и его приятели не знали, что Фабр д'Эглантин еще раньше сообщил в оба комитета о сложившемся вокруг Ост-Индской компании иностранном заговоре в пользу британского правительства... В результате тайного расследования, проведенного Комитетом общественной безопасности, под подозрение попали многие депутаты (недаром активный член Комитета общественной безопасности Вадье был выучеником иезуитов). Начались аресты: Шабо, Клоотс, Эро де Сешель, якобы выдававший секреты Комитета общественного спасения, и многие, многие другие...

Аресты видных депутатов, бывших одновременно членами Якобинского клуба, дали Робеспьеру повод начать чистку клуба, этого, по словам Камилла Демулена, «великого инквизитора, наводящего ужас на аристократов, и великого обвинителя, искореняющего злоупотребления». 3 декабря пришла очередь Дантона, заявившего «своим недоброжелателям», что им не уличить его ни в каком преступлении: «Никаким их усилиям не поколебать меня. Я хочу оставаться перед народом, стоя во весь рост. Вы будете судить меня в его присутствии». «Недоброжелатели» наверняка исключили бы Дантона из клуба, так как в его окружении было немало подозрительных иностранцев, если бы в его защиту не выступил Робеспьер: «Если Дантон не всегда разделял мое мнение, то неужели я из этого сделаю вывод, что он предавал отечество? Нет, я всегда видел, как он усердно служил ему. Дантон хочет, чтобы его судили; и он прав; пусть судят также и меня. Пусть выйдут вперед те люди, которые в большей степени патриоты, чем мы!» Устранение Дантона пока не входило в планы Неподкупного; первым предстояло пасть Эберу. Поэтому Робеспьер взял под защиту не только Дантона, но и его друга Демулена, охарактеризовав того как излишне доверчивого, порой легкомысленного, но всегда преданного идеалам свободы.

Расчет Робеспьера оказался правильным: именно Дантон провел декрет о посылке в департаменты комиссаров комитета, наделенных неограниченными полномочиями, дабы те осуществляли надзор за выполнением решений Конвента, а точнее — Комитета общественного спасения. Следом Робеспьер провел декрет, согласно которому выборные народом органы власти (такие, как Коммуна, как Центральный повстанческий комитет, созданный при подготовке восстания 31 мая — 2 июня, как выборные комитеты секций) переходили под контроль правительства, а их члены становились «национальными агентами». Непрерывные заседания секций прекращались, теперь секциям

разрешалось заседать лишь два раза в неделю. Так революционное правительство, точнее — Комитет общественного спасения для укрепления собственной власти насаждал бюрократию функционеров.

В Париж регулярно поступали сообщения об успехах и победах на фронтах: вот-вот выбьют из Тулона англичан, Гош освободил Эльзас... Просочились сведения, что воюющие против Франции монархии готовы начать переговоры о возможности заключения мира. К концу 1793 года благодаря неустанной деятельности правительства Республика наконец была вне опасности. «Французы, ваши представители умеют не только умирать, они могут больше: они могут побеждать!» — восклицал Робеспьер с трибуны Конвента.

«Победа» — редкое слово в устах Неподкупного. Если победа, то нет больше врагов, заговорщиков, а значит, он с его постоянным их поиском оказывается невостребованным. Но для него такой исход неприемлем; революция являлась единственным смыслом его жизни. Но если в начале пути он добивался равенства всех перед законом и выступал идеологическим «оформителем» народных восстаний, теперь его революционная риторика, в сущности, служила сохранению status quo, иначе говоря, укреплению власти добродетели (в его лице). По сути, это означало прекращение революции. Он не собирался отнимать имущество у собственников, а значит, и выполнять радикальные требования «бешеных», стоявших ближе всего к народным массам.

Главным мотивом речей Неподкупного становится борьба с внутренними врагами, разоблачение заговорщиков, заседающих в Конвенте, и призыв к тотальному их истреблению: «Во Франции существуют два народа: один народ — это масса граждан, чистых, простых, жаждущих справедливости, это друзья свободы, это доблестный народ, проливающий кровь за создание Республики, внушающий уважение врагам внутри страны, народ, свергающий троны тиранов. Другой народ — это сброд честолюбцев и интриганов, это болтуны, шарлатаны, плуты, которые везде появляются, преследуют патриотизм, захватывают трибуны, а часто и общественные должности, злоупотребляют образованием, которое им дали преимущества старого режима, для того, чтобы обмануть общественное мнение. Это народ, состоящий из мошенников, иностранцев, контрреволюционеров, лицемеров, ставших между французским народом и его представителями, с тем чтобы обратить против общественного блага самые полезные законы и самые спасительные истины. До тех пор, пока будет существовать эта бесстыдная раса, Республика будет несчастной и шаткой». Для себя лично Робеспьер видит угрозу не столько в тех, «кто

стоит между французским народом и его представителями», а в самих народных представителях, заседающих в Конвенте, в тех из них, кто имеет мнение, отличное от его собственного. Особенно если этот представитель пользуется авторитетом у народа и своих коллег. Ибо на пути к установлению Республики Добродетели ему не нужны ни соратники, ни советчики. Он, как и прежде, одиночка. Как и многие абсолютные властители до него, он не мог отказаться от дурманящего напитка, именуемого властью.

Робеспьер все отчетливее видел, как вокруг Дантона группировались те, кто выступал за прекращение террора, кто поддерживал его призыв «беречь кровь патриотов», кто хотел заключить мир и ввести Конституцию 1793 года. Но, по мнению Робеспьера, заговоры, напротив, лишь учащались, и, если закрывать на них глаза, заговорщики, играя на руку врагам Франции, могли растерзать всю страну. 5 нивоза II года (25 декабря 1793-го) Робеспьер выступил в Конвенте с докладом о принципах революционного правительства: «Революция — это война свободы против своих врагов... Революционное правительство... должно плыть между двумя рифами, между слабостью и смелостью, между модерантизмом и крайностями. Модерантизм для умеренности это то же, что бессилие для целомудрия, а крайности столь же похожи на энергию, как водянка на здоровье». Его слова были адресованы обеим фракциям — и ультралевым, и умеренным, «снисходительным», давая понять, что Неподкупный, стоящий посередине, не пощадит ни первых, ни вторых. Но тогда на кого он собирался опереться? Видимо, на «болото», к которому он обращался все чаще. А когда с трибуны якобинцев депутат Брише потребовал очистить Конвент от «заговорщиков», умеренных, нерешительных и «болотных жаб», Робеспьер тотчас встал на защиту последних, и Брише исключили из Якобинского клуба.

В речи от 5 нивоза (25 декабря) Робеспьер нарисовал поистине апокалиптическую картину: «Австрия, Англия, Россия, Пруссия, Италия имели время установить во Франции тайное правительство», и агенты этого правительства «пробираются в наши клубы... обманывают наших братьев, потакают нашим страстям... по их сигналу толпы народа собирались у дверей булочных или рассеивались. Они окружали нас своими эмиссарами, своими шпионами... мы это знаем... а они еще живы!» Чем не аббат Баррюэль с его «Историей якобинства» и теорией заговора: «Все было задумано во мраке, все свершилось при ярком свете»... Обрисовав чудовищные масштабы всепроникающего иностранного заговора, Робеспьер предложил Конвенту принять меры по реорганизации

революционного трибунала, иначе говоря, усилить террор. Ибо: «Если бы пришлось выбирать между патриотическим рвением и отсутствием гражданских доблестей или маразмом модерантизма, нечего было бы колебаться. Крепкое тело, томящееся от избытка сил, предоставляет больше ресурсов, чем труп. Желая излечить патриотизм, остережемся убить его».

Полагая, что Демулен, как и Дантон, действует в одной упряжке с ним, Робеспьер, проверив первые два номера «Старого кордельера», перестал контролировать школьного друга, и тот немедленно вырвался за отведенные ему рамки. Используя «жгучую кисть Тацита», в третьем номере «Старого кордельера» Демулен на примере Рима времен Нерона и Калигулы изобразил текущую обстановку:

«Контрреволюционное преступление — жаловаться на плохие времена, ибо это означает осуждать правительство... Контрреволюционное преступление — не взывать к божественному гению Калигулы...

При Нероне многие люди, чьих близких он осудил на смерть, отпраплялись возблагодарить за это богов... По меньшей мере надо было иметь довольный вид, открытое и спокойное лицо. Люди страшились, что им в вину могли поставить самый страх...

Все возбуждало подозрительность тирана. Был ли гражданин популярен — он являлся соперником государя, способным вызывать междоусобную войну. Подозрителен.

Если он, наоборот, избегал популярности и оставался у своего очага, то эта уединенная жизнь привлекала к нему внимание и внушала уважение. Подозрителен.

Если гражданин богат, существовала неминуемая опасность, как бы он не подкупил народ своей щедростью. Подозрительный.

Если он беден, о! непобедимому императору надо пристально следить за ним. Ибо самый предприимчивый тот, у кого ничего нет. Подозрительный.

Если у вас мрачный, меланхолический характер или вы небрежно одеты, значит, вас огорчает, что государственные дела идут хорошо. Подозрительный.

Если гражданин добродетелен и строг в своих нравах, прекрасно! значит, новоявленный Брут с его бледностью и париком якобинца претендует на то, чтобы быть судьей любезному и хорошо причесанному двору. Подозрительный».

Помимо завуалированного цитирования Тацита, Демулен дерзнул прямо обвинить Комитет общественного спасения в том, что он заменил республиканское изречение: «Лучше не покарать нескольких виновных,

нежели ошибочно поразить одного невинного» максимой деспотов: «Пусть лучше погибнут несколько невинных, нежели хотя бы один виновный избежит наказания». Помнил ли Робеспьер, что когда-то он сам придерживался республиканской максимы?

Проводил ли сам Камилл Демулен параллели между императорским Римом и нынешней Республикой? В том же номере он указывал на две пропасти, которые надо обходить: «излишняя горячность» и «воздержанность в печали», иначе говоря, намечал те же два полюса, что и Робеспьер. Номер вызвал бурю возмущения, особенно в Якобинском клубе, где громче всех его осуждали эбертисты. Однако Робеспьер поддержал Демулена и даже провел в Конвенте решение о создании Комитета справедливости для расследования причин необоснованных арестов и освобождения невинных. Было создано шесть так называемых «народных комиссий», однако они не привели к смягчению террора, скорее наоборот. Примером причастности к этому террору Робеспьера послужила инструкция, написанная им для работы комиссии в Оранже, которой предстояло вынести приговор злоумышленнику, срубившему под покровом тьмы «дерево свободы» в маленькой деревушке в Провансе. Злоумышленника не нашли, но разрушили все окрестные дома и арестовали всех тамошних жителей, заподозренных в покровительстве злодею. Доставлять арестованных в Париж было слишком хлопотно, поэтому, обращаясь с письмом к трем местным судьям, Робеспьер напомнил, что их цель — «общественное спасение и гибель врагов отечества», а потому не требуется ни присяжных, ни доказательств, исключительно революционное чутье судей. Законник Робеспьер окончательно стусевался перед добродетельным революционером Робеспьером.

Но вряд ли он забыл уколы, нанесенные школьным товарищем его самолюбию. Как отмечали многие современники, Робеспьер отличался крайним злопамятством. Историк и литератор Ш. Лакретель, которому в 1793 году было 27 лет, так писал о вожде якобинцев: «Никогда еще не было оратора столь непривлекательного и столь подозрительного. Воображение художника вполне могло отождествить лицо его с ликом Зависти. Судорожные движения его губ и рук отражали беспокойное состояние его души. Голос его, то кричащий, то монотонный, прекрасно соответствовал беспощадности его речей, вызывавших у вас дрожь во всем теле. <...> В Учредительном собрании он выступал как скучный и обиженный ритор, но по мере укрепления его злокозненной власти его красноречие приобретало блеск и разнообразие. Оно никогда не оскорбляло вкуса, даже когда

оскверняло любое человеческое чувство. Он, в сущности, даже не пытался убедить логикой тех, кому мог внушить страх».

Граждане еще продолжали перепродавать друг другу третий номер «Старого кордельера» по целому луидору вместо обычных 20 су, как вышел четвертый, в котором Демулен, вознося хвалы Робеспьеру, призвал его «открыть тюрьмы для двухсот тысяч подозрительных»: «Свобода, та свобода, что сошла с небес, не является ни оперной нимфой, ни красным колпаком, ни грязной рубахой или лохмотьями, та свобода— это счастье, разум, равенство, справедливость, Декларация прав, ваша возвышенная Конституция. Вы хотите, чтобы я признал ее, припал к ее стопам, пролил за нее всю свою кровь? Откройте тюрьмы тем двумстам тысячам граждан, которых вы называете подозрительными, ибо в Декларации прав не говорится о доме подозрения, а только об арестном доме. <...> Вы хотите истребить всех ваших врагов с помощью гильотины? Но это же чистое безумие! Неужели можно отправить на эшафот хотя бы одного, полагая, что на его место не встанет еще десяток из членов его семьи или из его друзей? <...> О мой дорогой Робеспьер! О мой старый школьный товарищ, чьи витиеватые речи будут перечитывать потомки, вспомни уроки истории и философии: любовь сильнее, прочнее страха... Ты намного приблизился к этой идее проведенным тобой декретом. Правда, речь идет о Комитете справедливости. Но почему слово «милосердие» становится при Республике преступлением?»

Выпады Демулена возмутили и Робеспьера, и эбертистов. В Париже в то время свирепствовал голод, и для налаживания торговли дантонисты требовали отменить закон о максимуме. Робеспьер и его сторонники максимум отменять не намеревались; в свое время они крайне неохотно пошли на эту уступку санкюлотам и теперь козыряли ею. «Папаша Дюшен» с удвоенной яростью ополчился на лавочников и, не щадя ни «торговцев морковкой, ни крупных поставщиков», потребовал увеличить армию, производившую реквизиции. 11 нивоза (31 января) в Клубе кордельеров затянули черной кисеей Декларацию прав человека и гражданина: так члены клуба выразили свой протест против ареста правительственных агентов Венсана, Россиньоля и Ронсена (кордельеров, арестованных с подачи Фабра д'Эглантина). Из Лиона в качестве подкрепления кордельерам и на защиту гильотины и террора примчался Колло д'Эрбуа с мумифицированной головой Шалье, торжественно переданной им Коммуне, дабы напоминание о мученике революции подогрело революционный пыл санкюлотов. При такой поддержке заключенных в Люксембургскую тюрьму именитых народных

представителей отпустили на свободу (ненадолго). Борьба разгоралась. Как писал Мишле, Колло и многие другие комиссары Конвента на фронтах, равно как и члены Комитета общественной безопасности, понимали, что отмена террора означала отмену реквизиций. Но как тогда содержать революционную армию, численность которой к этому времени достигла миллиона двухсот тысяч? «Во время революции всегда стоишь перед выбором между злом и еще большим злом», — говорил Карно, не любивший Робеспьера, но избегавший прямых конфликтов с ним. В отличие от Карно Неподкупный мыслил категориями абстрактными, но отменять террор также не собирался и отозвал декрет о создании Комитета справедливости.

Чтобы остановить Камилла с его ставшей окончательно неудобной газетой, Робеспьер решил временно пойти на союз с ультралевыми, дабы те приструнили школьного товарища. 18 нивоза II года (7 января 1794-го), выступая в Якобинском клубе, Робеспьер вроде бы начал защищать Демулена, «это странное соединение правды и лжи, политики и вздора, здоровых взглядов и химерических проектов частного порядка», в чьих статьях «самые революционные принципы» соседствовали с «максимами самого опасного модерантизма», но в заключительной части речи поставил его на одну доску с Эбером. «В моих глазах Камилл и Эбер одинаково не правы, — сказал он и продолжил: — Не важно, прогонят ли якобинцы Демулена или оставят его... много важнее, чтобы восторжествовала свобода и чтобы была признана правда». Правда, по убеждению Робеспьера, заключалась в том, что «иностранная партия направляет два рода клик... они стовариваются, как разбойники в лесу. Те, кто обладает пылким умом и характером, склонным к преувеличениям, предлагают принимать ультрареволюционные меры; те, кто обладает более мягким и сдержанным умом, предлагают принимать менее революционные меры. Они борются, но им безразлично, какая из партий одержит победу, так как или та, или другая система все равно погубят республику, и они получают верный результат — роспуск Конвента». По обыкновению, Робеспьер не привел ни одного факта — исключительно афористические формулировки, звонкая риторика, нагнетание страха. Впрочем, одно деяние на том заседании он все же совершил: отдал на растерзание якобинцам Фабра д'Эглантина, друга Дантона, запутавшегося в тенетах дела о «заговоре иностранцев». Фабра исключили из клуба, а Комитет общественной безопасности обвинил его в подделке документов и взятках. Немногим ранее из клуба исключили Анахарсиса Клоотса. На очереди стоял «умеренный» Филиппо: вернувшись из миссии в Вандею, он потребовал

расследовать поведение генералов Ронсена и Россиньоля, с невероятной жестокостью проводивших в Вандее политику Конвента.

Чистки, разборки, доносы... «Остается лишь раздавить нескольких змей», и победа будет за «друзьями истины», говорил с трибуны Робеспьер. Но верил ли он в это сам? А Камилл Демулен, услышав предложение Робеспьера публично сжечь некоторые номера «Старого кордельера», неожиданно заартачился и выкрикнул: «Сжечь — не значит ответить!» Больше Робеспьер не стал заступаться за школьного друга, и Демулена как члена «преступной клики» исключили из Якобинского клуба.

Одни хотели углубить революцию, иначе говоря, преобразования в устройстве общества; другие, наоборот, постепенно свернуть ее, иначе говоря, прекратить террор и убрать стеснявшие предпринимателей революционные законы. Возвращения Старого порядка не хотел никто. «Внутренние враги французского народа разделились на две враждебные партии, как на два отряда армии. Они двигаются под знаменами различных цветов и по разным дорогам, но они двигаются к одной и той же цели: эта цель — дезорганизация народного правительства, гибель Конвента, торжество тирании. Одна из этих партий толкает нас к слабости, другая — к крайним мерам; одна хочет превратить свободу в вакханку, другая — в проститутку», — утверждал Робеспьер. В те дни он неимоверно много работал, и эта работа, как в правительственном комитете, так и в Бюро общей полиции, которому Робеспьер уделял немало внимания, требовала огромного напряжения: приходилось прочитывать горы бумаг, за которыми стояла разветвленная сеть агентов, множество деклассированных субъектов, готовых безнаказанно совершать любые подлоги и преступления. Эти люди жили террором, поставляя жертвы для трибунала, так что политика «снисходительных» расходилась с их интересами. И Робеспьер не намеревался лишать их заработка, ибо не видел будущей республики без террора.

Тем более что теперь ему виделась еще более грандиозная задача: не только уничтожить врагов, но и создать нового человека, достойного жить в Республике Добродетели. Но он устал, спешил, суждения его становились все более прямолинейными, что недопустимо для политика, и все чаще его шаги противники начинали использовать ему во вред.

17 плювиоза II года (5 февраля 1794-го) Робеспьер выступил в Конвенте с «программной» речью о принципах политической морали, теории новой, звучной, с чеканными формулировками и зыбким содержанием. «Какова цель, к которой мы стремимся? Это мирное

пользование свободой и равенством... Мы хотим иметь тот порядок вещей, при котором все низкие и жестокие страсти были бы обузданы, а все благодетельные и великодушные страсти были бы пробуждены законами; при котором тщеславие бы выразалось в стремлении послужить родине; при котором различия рождали бы только равенство... мы хотим заменить в нашей стране эгоизм нравственностью, честь честностью, обычая принципами, благопристойность обязанностями, тиранию моды господством разума, презрение к несчастью презрением к пороку, наглость гордостью, тщеславие величием души, любовь к деньгам любовью к славе, хорошую компанию хорошими людьми, интригу заслугой, остроумие талантом, блеск правдой, скуку сладострастия очарованием счастья, убожество великих величием человека, любезный, легкомысленный и несчастный народ народом великодушным, сильным, счастливым, то есть все пороки и все нелепости монархии заменить всеми добродетелями и чудесами республики».

Из его слов следовало, что революция, поставившая перед собой возвышенные, но смутные и непонятные цели, с легкостью оправдывала любое насилие. В несбыточной утопии Робеспьера мог существовать только абстрактный человек из того абстрактного народа, которому обычно адресовал он свои речи; ответа на вопрос, как избавить реальный народ от голода и улучшить его жизнь, у него не было. «В системе французской революции все, что является безнравственным и неблагоприятным, то, что является развращающим, — все это неконституционно», — говорил он. Нагнетая напряженность, Робеспьер утверждал, что тираны не дремлют и составляют заговоры как за пределами страны, так и внутри ее: «Необходимо подавить внутренних и внешних врагов республики... Революционное правительство — это деспотизм свободы против тирании...» Наконец, Робеспьер подошел к главному, к новшеству, которое содержала его речь: «Если движущей силой народного правительства в период мира должна быть добродетель, то движущей силой народного правительства в революционный период должны быть одновременно добродетель и террор — добродетель, без которой террор пагубен, террор, без которого добродетель бессильна. Террор — это не что иное, как быстрая, строгая, непреклонная справедливость, она, следовательно, является эманацией добродетели».

В речи Робеспьера добродетель и террор предстали некими нравственными категориями, принадлежащими особой, революционной морали, воплощением которой Неподкупный, всегда ценивший принципы выше личностей, считал себя. В представлении Робеспьера демократия

была основана на представительстве суверенного народа и, как следствие, народные представители непременно должны были быть добродетельны, дабы действовать в интересах общих, а не личных. Связывая воедино террор и добродетель, превращая их в фундамент революционного правительства, Робеспьер возводил здание уродливое и чудовищное, которому изначально суждено было рухнуть. Ибо террор осуществлялся путем уничтожения реальности. Но Робеспьеру, видимо, хватало его собственной реальности, находившейся где-то в мире воображаемого; он не замечал, когда речь его начинала напоминать параноидальный бред: «Аристократия образует свои народные общества; контрреволюционное высокомерие прячет под лохмотьями свои заговоры и свои кинжалы; фанатизм разрушает свои собственные алтари; роялизм воспеваает победы республики; дворянство, подавленное воспоминаниями, нежно обнимает равенство, с тем чтобы удушить его; тирания, обогрелая кровью защитников свободы, бросает цветы на их могилы. Если не все сердца изменились, зато сколько лиц надели маски! Сколько изменников вмешиваются в наши дела только для того, чтобы погубить их!»

Все чаще находились люди, державшие косвенно обвинять Неподкупного в диктатуре. У якобинцев кто-то из «бешеных», выразительно глядя на него, заметил, что в клубе царит «деспотизм одного мнения». А эбертист Моморо заявил: «Все эти люди, износившиеся за время Республики, с переломанными в революции ногами считают нас ультрареволюционерами, потому что мы патриоты, а они больше таковыми быть не хотят». Робеспьер воспринял эти слова на свой счет и запомнил того, кто их сказал. У кордельеров Эбер презрительно говорил о «тех, кто алчны до власти, которую они у себя сосредоточили», и эти слова Робеспьер тоже не без основания воспринял на свой счет. Но, возможно, «программные речи» — от 25 декабря и 5 февраля — настолько истощили его нервную систему, что он целый месяц не появлялся ни в Конвенте, ни у якобинцев. Возможно, как и прежде, он выжидал, чтобы в зависимости от обстоятельств принять правильное решение. Как и прежде, выжидание объяснялось упадком сил, истощением организма, опустошенностью и растерянностью от им самим провозглашенной доктрины смерти, заведомо ведущей в никуда. В сущности, он никогда не умел получать удовольствие от повседневной жизни, от женщин, от друзей, отринув собственную сестру. «Я верю в добродетель и Провидение, но не в необходимость жить», — говорил он. Возможно, подобное заявление было столь же лицемерно, сколь и его обвинения бывших друзей и союзников в несуществующих преступлениях. Возможно, лицемерие настолько въелось

в его сознание, что он лицемерил перед самим собой.

В последние десятилетия в печати появились статьи, рассказывающие о попытках медиков на основании разбросанных по различным источникам свидетельств современников о состоянии здоровья Робеспьера определить его заболевания. Получился целый букет недугов — астения, туберкулез, желтуха, язвы на коже, заболевание глаз, дыхательных путей, печени и поджелудочной железы, — сводившийся в емкий диагноз саркоидоз, заболевание, при котором органы и ткани человека начинают поражать его собственная иммунная система. Иначе говоря, человек начинает изнутри пожирать самого себя. Именно это и происходило с Робеспьером. Освобождаясь от соперников, он не испытывал ни радости, ни облегчения, а лишь становился еще более неумолимым и добродетельным, а душа его, как никогда прежде, стремилась «разоблачать предателей и срывать с них маски». «Общество обязано покровительствовать лишь мирным гражданам, а в республике нет граждан, кроме республиканцев. Роялисты, заговорщики — это лишь иностранцы для нее или, вернее, — враги».

Полицейские агенты доносили: на улицах только и говорят, что о нищете, которая грозит всем, женщины возмущены, возле богатых лавок вспыхивают скандалы. Но Робеспьер по-прежнему символизировал революцию, и ему, как и прежде, внимал народ. Во время его болезни в дом Дюпле одна за другой являлись депутации от секций справиться о здоровье вождя, а особенно рьяные патриоты дежурили возле ворот, рассказывая всем желающим о том, как сейчас чувствует себя Неподкупный. Так как болезнь затягивалась, прошел слух, что Робеспьера отравили, «но противоядия, которые ему вовремя дали, позволяют нам надеяться, что вскоре мы вновь увидим его в сиянии еще большей славы». Говорили, что патриотический огонь, переполняющий его, сжигает его изнутри. В свое время болезнь Марата тоже именовали избытком патриотизма. Впрочем, все, что Марат когда-то писал в своих кровожадных статьях, Робеспьер теперь осуществлял на деле.

Во время болезни Робеспьер «держал руку на пульсе»: мадам Дюпле по одному допускала к больному то агентов тайной полиции, то Сен-Жюста, вернувшегося из миссии в Северную армию, то избранных членов Конвента. Так он узнал, что во время его отсутствия на политической арене «Папаша Дюшен» Эбера повел на него наступление и, называя его «усыпителем», призвал санкюлотов самим решать свои насущные вопросы с помощью «революционной армии и гильотины». Робеспьер стал готовить ответ, и, как утверждают ряд историков, по его наброскам 3 марта 1794 года (13 вантоза II года) Сен-Жюст от имени Комитета общественного спасения

выступил в Конвенте с докладом, известным как «вантозские декреты». (Часть историков придерживается мнения, что проработка этих декретов является самостоятельным творчеством Сен-Жюста.) Целью доклада было ослабить влияние Эбера и его сторонников, подорвать доверие к ним санкюлотов и предпринять шаги для удовлетворения нужд бедняков, не затрагивая при этом интересы собственников. Иначе говоря, не прибегая к реквизициям и поборам.

«Вся мудрость правительства должна состоять в том, чтобы подавить партию, противящуюся революции, сделать народ счастливым, устранив все пороки и всех врагов свободы. <...> Счастье — идея новая для Европы», — начал свое выступление Сен-Жюст. Афористичный, бескомпромиссный, непреклонный, лично преданный Робеспьеру. Видя на трибуне этого молодого, беспощадного соратника Неподкупного, многие «болотные жабы» ловили себя на мысли, не стоит ли перед ними будущий диктатор, идущий на смену исчерпавшему себя Робеспьеру. Согласно вантозским декретам всем коммунам Республики предстояло составить списки неимущих патриотов, после чего Комитет общественного спасения должен был представить доклад, «указав в нем способ, как удовлетворить всех обездоленных за счет имущества врагов революции, общий список которых будет ему передан Комитетом общественной безопасности». Иначе говоря, нужды бедных намеревались удовлетворить за счет богатых врагов народа, которым политика террора не позволит остаться в живых.

Вантозские декреты никогда не вступили в силу и даже в момент их обнародования не вызвали большого общественного подъема, ибо никто не указал, когда их начнут претворять в жизнь. Кордельеры расценили выступление Сен-Жюста как тактический маневр и продолжили нападки на «усыпителей» в надежде на поддержку граждан, стоявших в продуваемых ледяным ветром очередях возле закрытых булочных. На очередном собрании, состоявшемся 4 марта (14 вантоза), кордельеры решили, что черная вуаль будет закрывать Декларацию прав до тех пор, «пока не будет покончено с нуждой и не будут наказаны враги народа, угнетающие его». Эбер произнес речь о «честолюбцах»: «Честолюбцы! Это люди, которые выставляют вперед других, а сами остаются за кулисами; чем больше у них власти, тем меньше они ею удовлетворяются; они хотят царствовать». Имен никто не называл, но все понимали, что речь идет о Робеспьере. Венсан призвал к восстанию. «Восстание, святое восстание», — поддержал его «нантский утолитель» Каррье. Ронсен не протестовал против выдвижения его кандидатуры на роль будущего военного диктатора. Осведомитель Гравье доносил Робеспьеру: «Кордельеры, воспользовавшись вашей

болезнью, составили заговор». Но заговор, точнее попытка восстания, провалился, ибо ни Коммуна, ни секции на призыв свергнуть революционное правительство не откликнулись.

13 марта (23 вантоза), после почти месячного отсутствия, Робеспьер вернулся в Конвент; вместе с ним приступил к работе находившийся долгое время на лечении Кутон. В тот же день Сен-Жюст выступил (как утверждают, на основании тезисов Робеспьера) с пространным докладом о «фракциях, направляемых из-за границы, о заговоре, замысленном ими во Французской республике, чтобы сокрушить республиканское правительство посредством разложения и уморить Париж голодом». Доклад прозвучал грозным предостережением и крайним левым, и умеренным, ибо, по мнению Робеспьера, следовало устранить оба «подводных камня». «Самым опасным заговором, замышляемым против правительства, является разложение общественного духа, дабы отвратить его от справедливости и добродетели», — начал свою речь Сен-Жюст. Используя ту же морализаторскую риторику, что и Робеспьер, он говорил более жестко, более конкретно, а главное, четко формулировал постановления, от которых веяло смертью: «Объявляются изменниками отечества и караются как таковые все уличенные в том, что содействовали каким бы то ни было образом разращению граждан, ниспровержению власти и подрыву общественного духа... Каждый гражданин обязан указать на заговорщиков, объявленных вне закона, если ему станет известно их местопребывание». Ни одного имени названо не было.

Вечером у якобинцев Робеспьер нарушил молчание: «Никогда еще свобода не подвергалась стольким оскорблениям и не испытывала такого давления со стороны опасных и подлых заговорщиков. Если бы Богу было угодно, чтобы мои физические силы были равны моим силам моральным, я бы уже сегодня мог поразить предателей и призвать на головы виновных отмщение нации». И снова ни одного имени. Но для себя Робеспьер уже все решил. Ночью арестовали Эбера, Моморо, Венсана и Ронсена, а через несколько дней — Шометта. Поставив на его место Пайана, Комитет общественного спасения мог считать, что Коммуна у него в кармане. Прежде чем передать дело Эбера и его товарищей в революционный трибунал, комитет распространил множество материалов, выставивших заговорщиков в самом неприглядном виде. «Кто бы мог подумать, что Эбер такой же негодяй, как Петион?» — сокрушался народ. Тем временем Робеспьер призывал к единению вокруг правительства и утверждал, что «все заговоры должны быть разом уничтожены». Это означало, что борьба продолжается.

16 марта (26 вантоза) Амар из Комитета общественной безопасности выступил перед Конвентом с *еще* одним докладом о «заговоре иностранцев»; на этот раз доклад целил в Шабо, Базира, Жюльена из Тулузы и Фабра д'Эглантина, то есть тех, кто так или иначе оказался причастен к темным делишкам вокруг Ост-Индской компании. Робеспьер, давно собиравший досье по этому делу, публично укорил Амара за то, что тот не связал заговор с щупальцами, что тянутся к Французской республике из-за границы. «Я должен выразить свое удивление по поводу того, что докладчик плохо уловил дух, в котором он должен был сделать доклад... он забыл самый важный вопрос — разоблачить перед всей вселенной систему диффамации, принятой тиранией против свободы и являющейся преступлением против добродетели... надо открыто сказать здесь: преступления некоторых наших коллег — это дело иностранцев; но главный плод, который они собирались сорвать, — это не гибель этих лиц, а гибель Французской республики; она произошла бы, если бы у народа отняли доверие к своим представителям».

В промежутке между докладами Сен-Жюста и Амара закрыли типографию, где Камилл Демулен печатал свою газету. Седьмой номер «Старого кордельера» так и не увидел свет, а его сохранившийся текст обнаружили уже после гибели и Демулена, и Робеспьера. В своей последней статье Демулен называл Робеспьера «деспотом», писал, что «французы никогда не испытывали такого гнета рабства, как в то время, когда были республиканцами», и утверждал, что Комитет общественной безопасности ничуть не лучше испанской инквизиции. «Боги жаждут!» — этими словами завершался последний номер «Старого кордельера».

20 марта (30 вантоза) Конвент декретировал арест Эрона, прозванного «бульдогом Робеспьера», но Неподкупный выступил в его защиту. Его поддержал Кутон, подчеркнувший, что нападать в такой напряженный момент на «национального агента» означает нападать на правительство. К этому времени Эрон и ему подобные остались единственными союзниками Робеспьера; было еще «болото», которое, пока над ним не взметнулся нож гильотины, спрятав поглубже страх, аплодировало. Ведь, как писали современники, один только взгляд Робеспьера заставлял депутатов бледнеть и худеть от страха. Конечно, оставались Дантон и его сторонники, но после ареста эбертистов дни их были сочтены.

21 марта (1 жерминаля) начался процесс эбертистов, на котором впервые был применен метод амальгамы — объединение в одном деле людей, не имевших друг к другу никакого отношения. Эбертистов судили вместе с иностранными банкирами — чтобы подтвердить наличие

иностранный заговора, и роялистами — дабы обвинить в намерении восстановить монархию. Выступая вечером того дня у якобинцев, Робеспьер вновь говорил о двух кликах — «умеренных» и «изменников»: «Иностранным государствам безразлично, какая из этих двух клик победит. Если это будет клика Эбера, Конвент будет низвергнут, патриоты будут перебиты. Если это будут умеренные, Конвент потеряет свою энергию, преступления аристократов не будут наказаны и тираны восторжествуют». И продолжал нагнетать страх: «Если последняя клика не погибнет завтра, не погибнет сегодня, армии будут побиты, ваши жены и ваши дети будут зарезаны, республика будет растерзана на куски, Париж будет уморен голодом, вы сами падете под ударами ваших врагов».

Стоило Робеспьеру появиться в комитете или Собрании, как в зале начинал витать призрак страха. Неподкупный единолично распоряжался судьбами людей. Его нельзя было подкупить или соблазнить, ему можно было только льстить. Революционный трибунал вывернул наизнанку революционные заслуги кордельеров, использовал против них их же трескучую революционную болтовню и, обвинив Эбера в краже рубашек, которую он совершил в ранней юности, приговорил всех осужденных к смерти. Одним из последних в защиту эбертистов попытался выступить Дантон, но безуспешно. 24 марта (4 жерминаля) эбертисты и все, кого привлекли к суду вместе с ними, взойшли на эшафот. Клуб кордельеров сразу утратил свое значение, а в секциях, поддерживавших «Папашу Дюшена», воцарилось уныние.

Выступив у якобинцев 1 жерминаля, Робеспьер призвал к бдительности и, уничтожив один заговор, не успокаиваться и «раздавить их все». Затем он снова исчез — на целых десять дней, вплоть до 11 жерминаля. Депрессия, упадок сил, а возможно, и необходимая пауза, чтобы принять еще одно роковое решение: убрать Дантона и его сторонников. Решение тяжелое во всех отношениях. Но главное — в чем можно обвинить Дантона? Дантон человек 10 августа; Дантон поддержал его в борьбе с жирондистами; Дантон народный трибун; Дантон умен, он всегда настороже и никогда не говорил глупостей даже в шутку. Во время их последней встречи, которую устроил Бийо-Варенн, Дантон сказал: «Если мы разойдемся, не пройдет и полугодя, как набросятся и на тебя, Робеспьер». Его предсказание разозлило и одновременно напугало Робеспьера. Он давно уже люто ненавидел Дантона: тот вкусно, пораблезиански, любил жизнь, а Неподкупный непрестанно возвращался к мыслям о смерти: «...если мне придется умереть, я умру без упрека и без позора... Я достаточно пожил...» Дантон нередко оспаривал его решения.

«Он посмел потребовать в Якобинском клубе для них (последних произведений Демулена. — Е. М.) свободы печати, в то время когда я предложил для них честь быть сожженными», — отметил Робеспьер в записной книжке. Но больше всего ему были ненавистны насмешки Дантона над добродетелью. «Слово «добродетель» вызывало смех Дантона; нет более прочной добродетели, говорил он шутя, чем добродетель, которую он проявлял каждую ночь со своей женой. Как мог человек, которому всякая моральная идея чужда, быть защитником свободы?» Заметки Робеспьера о дантонистах, исполненные клеветнических измышлений, искажали всю историю участия Дантона в революции. Все, кто знал Дантона, уговаривали его бежать. А он отшучивался, оставляя для потомков готовые афоризмы: «Нельзя унести родину на подошвах своих башмаков». Дантон понимал, что такому человеку, как он, в стране не спрятаться, а покидать Францию он не хотел. «Мне больше нравится быть гильотинированным самому, чем гильотинировать других», — говорил он друзьям.

В ночь на 11 жерминаля Дантон и его соратники были арестованы. Чтобы получить согласие на предание суду наиболее влиятельных деятелей революции, пришлось уламывать Конвент. Робеспьер даже пригрозил депутатам: «Люди изменные и преступные всегда боятся падения им подобных, потому что, не имея перед собой ряда виновных в виде барьера, они чувствуют грозящую им опасность». Назвав Дантона «давно сгнившим идиолом», он заявил: «Мы не хотим привилегий, не хотим идиолов!» А когда собрание, растерявшись, застыло в молчании, отчетливо добавил: «Когда-то я был другом Петиона; но как только тот сбросил маску, я порвал с ним... Дантон захотел занять его место, и теперь он в моих глазах не более чем враг народа».

Следом пространную речь, составленную на основании заметок Робеспьера, произнес Сен-Жюст; он же зачитал обвинительный акт: «Предъявить обвинение Камиллу Демулену, Эро, Дантону, Филиппо, Лакруа, обвиняемым в сообщничестве с Орлеаном и Дюмурье, с Фабром д'Эглантинем и врагами республики, а также в соучастии в заговоре с целью восстановить монархию и свергнуть национальное представительство и республиканское правительство». Опасаясь, что если Дантон заговорит, выступит в защиту свою и своих товарищей, то присяжные их оправдают, Робеспьер потребовал Конвент лишить подсудимых слова. Требование исполнили, и трибунал приговорил дантонистов к смерти. В тюрьме им зачитали приговор, и 6 апреля (16 жерминаля) все они были казнены. Говорят, по дороге к эшафоту, когда

телега проезжала мимо дома, где жил Робеспьер, Дантон крикнул: «Максимилиан, я жду тебя, ты последуешь за мной!» Вечером того же дня в Клубе якобинцев Робеспьер вновь говорил о врагах свободы: «...только вонзив кинжал правосудия им в сердце, мы сможем избавить свободу от всех тех негодяев, которые ей угрожают».

Какие еще негодяи, по мнению Робеспьера, угрожали свободе? Через неделю в очередной амальгаме — Анаксагор Шометт, вдова Эбера, бывший епископ Парижа Гобель — на эшафот взошла очаровательная Люсиль Демулен, безутешная 24-летняя вдова Камилла и мать его маленького сына. Ее обвинили в том, что она хотела устроить заговор в Люксембургской тюрьме, куда ее поместили практически сразу после казни Камилла. Чем провинилась Люсиль, всегда радушно принимавшая школьного друга мужа у них в доме? После приговора Камиллу она пыталась пробиться к Робеспьеру, но ее не пустили. Тогда она написала ему письмо: «Как ты мог обвинить нас в контрреволюционном заговоре, в предательстве интересов родины? Камилл видел, как зарождалось твое честолюбие, он предчувствовал тот путь, которым ты пойдешь, но он помнил вашу старую дружбу, и далекий как от черствости Сен-Жюста, так и от твоей низкой зависти, он отбросил мысль обвинять своего школьного друга». Письмо отправлено не было. Мать Люсилы также писала Робеспьеру: «...если ты не тигр в человеческом обличье... пощади невинную жертву; но если ты кровожаден, словно лев, тогда приди и заberi также и нас, меня, Адель и Ораса, и разорви нас собственными руками, еще дымящимися от крови Камилла...» Но дошло ли это письмо?

Комитет общественного спасения продолжал прибираться к рукам остатки власти как Коммуны, так и Конвента. Некогда выборная Коммуна превратилась в бюрократическое учреждение с назначенными чиновниками. Всех «подозрительных», присужденных к гильотине, теперь привозили в Париж; революционные трибуналы на местах распустили. Гильотина работала без отдыха: террор превращался в политическое оружие правительства, точнее, сохранения власти Робеспьера. И одновременно ее свержения, ибо чем дальше, тем больше механизм террора ускользал из рук Неподкупного. Комитет общественного спасения получил право контролировать любые органы власти. Распустили революционные армии, занимавшиеся реквизициями продовольствия, создав вместо них комиссию по снабжению. Формировавшийся бюрократический аппарат как нельзя лучше соответствовал режиму единоличного правления, к которому негласно стремился Робеспьер. Вслух об этом не говорили, но шептались многие и повсюду. На одном из

совместных заседаний обоих комитетов Бийо-Варенн напомнил, что «каждый народ, ревностно относящийся к своей свободе, должен остерегаться людей, занимающих высокие посты, пусть даже и добродетельных. <...> Лукавый Перикл... добившись абсолютной власти, сделался кровожадным деспотом». Никому не надо было объяснять, в кого целилась эта стрела.

Оба «подводных камня» устранены. В Комитете общественного спасения Робеспьер по-прежнему первый и по-прежнему в одиночестве. Но если раньше вокруг были союзники, теперь их больше нет. Почти. Оставались Кутон и Сен-Жюст, но первый часто болел, а потому слаб, а второй столь надменен и безжалостен, что иногда пугал даже Робеспьера. По словам секретаря Комитета общественной безопасности Сенара, Конвент «разделился на три части: первую составляли монтаньяры, вторую — партия равнины, или правые, а третья состояла из созерцателей, коих смена настроений в обществе то пугала и побуждала затаиться, а то выдвигала в первые ряды; подталкиваемые извне, они чуть-чуть приподнимали голову, но сами никогда не действовали».

Но жизнь шла своим чередом, правительство продолжало работать: принимались декреты об охране культурных ценностей, запретили реквизировать скот для нужд армии... Неподкупный все чаще пропускал заседания комитета, а те, кто в комитете занимался решением насущных вопросов, этому даже радовались, ибо знали, что ничего дельного и полезного он предложить не мог. Отвечавшие за ведение войны Приер и Карно старались вообще не подпускать Робеспьера к делам, связанным с войной. «Робеспьер больше занимается собой, нежели общественными задачами; его подозрительность невыносима; вокруг он видит только предателей и заговорщиков». Многим помнилось высказывание Кондорсе: «У Робеспьера нет ни единой идеи в голове и ни единого чувства в сердце». Карно говорил, что Неподкупный сам признавался, что «мы никогда не поведем революцию вперед, если будем знать, куда идем». Так или иначе, но у Робеспьера, похоже, действительно не было никакой программы, а обостренное до крайности болезненное самолюбие не позволяло искать союзников. Миновав возраст Данте, он «заблудился в сумрачном лесу» революции.

Неподкупный чувствовал, как стянутые в комитет нити власти выскальзывают из его рук; этого он допустить не мог. Необходимо было что-то предпринять, и он снова — почти на три недели — исчез. Но если раньше он исчезал в ожидании, что подскажут ему грядущие события, теперь события приходилось делать самому. По словам Л. Блана,

«Робеспьер, стоя на той окровавленной наклонной плоскости, с которой друг за другом скатывались люди, с тревогою искал опоры, за которую можно было бы удержаться». Фракции разгромлены, армии все дальше отодвигали внешнего врага от границ страны, колесики бюрократической машины, заменившей революционные организации, крутились все увереннее, мятежные департаменты почти подчинились власти центра, самые жестокие комиссары-«усмирители» отозваны из департаментов. Для борьбы с внутренними врагами ввели благодетельный террор, стоящий на страже добродетели. Но ни спокойствия, ни процветания в стране не наступило, а богатство по-прежнему оставалось врагом бедности. И тогда в мире воображаемого Республики Добродетели появилось Верховное существо, божество Природы, гражданский культ которого описал великий Руссо. Мысль утвердить новый культ не раз посещала Робеспьера, мелькала в его выступлениях против «дехристианизаторов». По его мнению, этот культ был способен сплотить всех граждан Республики. Тем более что предложения ввести в революционный пантеон Верховное существо поступали и раньше.

7 мая (18 флореаля) Робеспьер выступил в Конвенте с пространной речью об отношении религиозных и моральных идей к революционным принципам; речь эту многие приравнивали к проповеди. Подобно проповеднику, Неподкупный произносил долгие морализаторские пассажи, выносил оценочные вердикты, а для характеристики врагов и друзей использовал понятия нравственности, предоставляя слушателям переводить назидательные абстракции в жестокость реальных деяний. Как пишет Ш. Нодье, «ничто не доказывает, что он сам знал, почему он делал то, что делал». «Все изменилось в физическом порядке вещей, все должно измениться в моральном и политическом порядке. <...> Французский народ как будто опередил на две тысячи лет остальной род человеческий», однако «порок и добродетель» продолжают оспаривать друг у друга власть над землей и людьми. Поэтому «единственная основа гражданского общества — это мораль». Но мораль в изложении Робеспьера полярна, с перевертышами, и любая ее категория может оказаться как дурной, так и полезной: «Есть два рода эгоизмов: один — низкий, жестокий... другой — великодушный, добродетельный...» По его мнению, «свободу по-прежнему атакуют одновременно путем модерантизма и неистовства». Продолжая питать злобу к тем, кого он отправил на гильотину, он снова и снова с лютой ненавистью обрушивался на Дантона («самый опасный из врагов родины, если не самый подлый»), на жирондистов («хотели вооружить

богатых против народа») и на клику Эбера («расколола народ, чтобы он сам себя угнетал»). Излив накопившуюся злость и напомнив депутатам, что в гибели народных кумиров была и их вина, он заявил, что «идея Верховного существа и бессмертия души — это непрерывный призыв к справедливости, следовательно, она социальная и республиканская». Сделав такой вывод, он в очередной раз отверг атеизм, ибо мораль предписана человеку «силой, стоящей выше человека», а потому он не думает, «чтобы какой-либо законодатель решился когда-нибудь сделать атеизм национальным мировоззрением»: «Вы не разорвете священное звено, соединяющее людей с их создателем. Если эта идея господствует в народе, то было бы опасно разрушить ее».

Но народ по-прежнему исповедовал католическую веру, исполнял предписания католической церкви, а речь Робеспьера отдавала скорее язычеством. Поэтому неудивительно, что некоторые восприняли новый культ как продолжение культа Разума. Иные же решили, что раз Неподкупный не опроверг веру в Бога, хотя и назвал его Верховным существом, то, наверное, можно ждать прекращения гонений на культ и его служителей. Третьи, напротив, посчитали, что раз Конвент осмелился переименовать самого Бога, то преследования священников продолжатся с новой силой. Раньше Робеспьер чутко прислушивался к чаяниям масс, нуждался в их поддержке, теперь он слышал только самого себя. «Фанатики, не ждите от нас ничего! Напомнить людям о поклонении Верховному существу значит нанести смертельный удар фанатизму. <...> Истинный жрец Верховного существа — природа, его храм — вселенная, его культ — добродетель». Робеспьер предложил учредить «праздники славы», к которым причислили 14 июля, 10 августа, 21 января и 31 марта, а также праздники «просвещающие и утешающие», которые следовало праздновать каждую декаду, воздавая почести то человеческому роду, то детству, то юности, то французскому народу, то зрелости, то сельскому хозяйству... Свою речь Неподкупный заключил предложением принять декрет о том, что «французский народ признает существование Верховного существа и бессмертия души». Под возгласы одобрения декрет приняли; в Конвент посыпались восторженные адреса в честь Верховного существа и его главного жреца; писали и санкюлоты, и чиновники, и журналисты.

Несмотря на аплодисменты депутатов, подавляющее большинство которых теперь составляло «болото», призрак раздора уже проник и в комитеты, и в Конвент. Неприязнь между Карно и Сен-Жюстом перерастала в ненависть. «Мне достаточно написать всего несколько строк обвинения, и через два дня ты отправишься на гильотину», — бросил Сен-

Жюст, обернувшись к Карно. «Пиши, — ответил тот, — я не боюсь ни тебя, ни твоих друзей, ваши диктаторские замашки смешны». И, повернувшись в сторону Кутона и Робеспьера, добавил: «Триумвиры, скоро вас не станет».

Словно потворствуя предчувствию Карно, в ночь на 20 мая (1 прериаля) при попытке застрелить члена Конвента Колло д'Эрбуа арестовали пятидесятилетнего гражданина Адмира, который на допросе признался, что на самом деле он хотел убить Робеспьера. Для этого, спрятав под одеждой пистолет, он отправился утром в Конвент и стал ждать выступления Неподкупного. Утомленный монотонными речами депутатов, он заснул, а когда проснулся, зал уже опустел. Он отправился домой и там, встретив на лестнице гражданина Колло (а они жили в одном доме), с досады выстрелил в него. Париж еще не успел толком обсудить покушение Адмира, как 4 прериаля в дом к Робеспьеру явилась молоденькая швея Сесиль Рено. Робеспьера дома не случилось, но бдительным гражданам девушка показалась подозрительной, ее задержали, обыскали и обнаружили у нее в корзинке два небольших ножичка. И хотя она уверяла, что всего лишь хотела посмотреть на «тирана», а ножички лежали в корзинке «просто так», ее арестовали по обвинению в покушении на Робеспьера.

Оба покушения получили большой резонанс, в Конвент приходили сотни возмущенных писем. «Как можно желать уничтожения наших самых лучших защитников! <...> Мы отомстим за них!» — писали патриоты. «Партия иностранцев и внутренние заговорщики, не имея возможности победить нас, хотят уничтожить национальное представительство!» — восклицали депутаты. Выступая у якобинцев, Лежандр предложил дать Робеспьеру и другим членам правительства личную охрану, но Неподкупный с негодованием отверг его предложение, ибо «преторианская гвардия» — атрибут тирании. Кутон, также усмотревший в предложении Лежандра намек на диктатуру, поддержал Неподкупного: «Только деспоты заводят себе личную охрану, но мы не созданы подражать им. Нам не нужна охрана, чтобы защищать нас: добродетель, доверие народа и Провидение оберегают дни наши; а еще у нас есть друзья, они здесь, чтобы поддержать нас. Если мы позволим приставить к нам охрану, этим мы оскорбим наших друзей, народ и Провидение». Но противники Робеспьера, которых становилось все больше, не унимались. Не имея повода обвинить его напрямую, они провоцировали его на действия — любые, лишь бы он оступился, покинул крепость неприступной добродетели. И, подогревая истерию, Барер выступил в Собрании с докладом, в котором оба покушения представил результатами страшного заговора, организованного

Англией, и предложил декрет: «Англичан в плен не брать!» — их надо убивать! Декрет приняли единогласно и разослали во все армии.

Следом выступил Робеспьер. Одержимый манией заговоров, он поддержал Барера: «Мы видим собрание представителей французского народа, находящегося на вулкане нескончаемых заговоров... Одной рукой оно повергает к стопам вечного творца всего сущего признательность великого народа, а другой направляет удары против тиранов, строящих против него заговоры». Обвинив англичан в стремлении «истребить национальное представительство посредством подготовленного подкупом восстания», он пообещал «раскрыть страшные тайны, которые... решил скрывать из какой-то малодушной осторожности». «Я расскажу, от чего еще зависит спасение родины и торжество свободы, — сказал он и добавил: — Я дорожу быстротечной жизнью только из любви к родине и из жажды справедливости». Заклеймив агентов иностранных государств как преемников Бриссо, Эбера и Дантона, он напомнил о грозящих ему кинжалах: «Говоря эти слова, я оттачиваю против себя кинжалы, но я для этого их и говорю... вы подавите преступление...» «Тираны... надеялись истребить национальное представительство путем подготовленного подкупом восстания... этот проект не удался. Что им остается? Убийство! <...> Они пытались развратить общественную нравственность... Мы повелели господствовать добродетели. Что им остается? Убийство!» По подсчетам Ж. Артари, на трех страницах речи слово «убийство» было употреблено 13 раз. Пессимизм Робеспьера становился поистине смертоносным. Постоянно напоминая о своей готовности покинуть этот мир, он продолжал разоблачать и обвинять. Заговор превратился для него в повседневную реальность, так же как и разоблачение заговорщиков. Было ли это действительно результатом прогрессирующей паранойи или же отлаженным способом устранения врагов и конкурентов? Схема одна и та же. Речь от 26 мая (7 прериаля), названную историком Ж. Вальтером «великой и погребальной», Конвент постановил напечатать и перевести на все языки: «Каждому члену Конвента будет выдано шесть экземпляров речи».

Ни Адмира, ни Сесиль Рено никак не были связаны ни с иностранными заговорщиками, ни друг с другом. На суде к ним присоединили еще 59 человек, среди которых оказались графиня Сент-Амарант с дочерью Луизой. Графиня содержала игорный дом, который, как все прекрасно знали, посещали и депутаты, и члены обоих комитетов; говорили, что у них бывал даже Огюстен Робеспьер. Но анонимного доноса о том, что дамы Сент-Амарант дают пристанище заговорщикам, оказалось

достаточно, чтобы арестовать их. Арест дам Сент-Амарант стал очередным моральным ударом по репутации Робеспьера, равно как и привлечение к суду всех членов семьи Сесиль Рено, невзирая на возраст. Помимо ставшего негодным семейства, в амальгаму вошли мелкие мошенники, ремесленники, аристократы, вдовы и даже дети. 29 прериаля (17 июня) 54 осужденных, облаченных в длинные «красные рубахи отцеубийц», ибо лейтмотивом процесса явилось покушение на убийство «отца отечества», посадили на девять телег, и кровавый кортеж через весь Париж проследовал к заставе Поверженного Трона, где размещалась гильотина. После этой казни число тех, кто перестал видеть в Робеспьере защитника народных интересов, резко увеличилось. Дело о «заговоре иностранцев» или, как еще именовали его, дело «красных рубашек» явилось одной из первых ступеней заговора, направленного на свержение власти Робеспьера. Теперь каждый думал о том, что он тоже мог оказаться среди тех, кого везли на погребальных телегах.

Покушение возвысило Робеспьера над остальными членами правительства. Иностранные газеты способствовали созданию диктаторского образа Неподкупного, называя французские армии «солдатами Робеспьера», а его самого «Максимилианом Первым». И хотя он прилюдно протестовал против этого, многие были уверены, что он считает себя особенным, облеченным особой миссией, и готовится занять пост диктатора. Масла в огонь подлил прибывший из очередной командировки Сен-Жюст, заявивший в комитете: «Мы погибнем, если не назначим диктатора. Единственный, кто может им стать, это Робеспьер». Коллеги промолчали, и только Барер ответил, что предложение требует тщательного осмысления. Именно Барер, будучи докладчиком Комитета общественного спасения, все чаще упоминал Робеспьера в своих речах — по поводу и без. Это заметили многие, в том числе и сам Робеспьер, почувствовавший в этом подвох, но вот какой... Любопытно, что впоследствии именно Барер написал, что члены комитета были уверены, что долго Робеспьер в диктаторах не задержится, ибо Сен-Жюст, гораздо более властный и жестокий, свергнет его и займет его место. Наименее опасным из триумвиров считался Кутон.

Тем временем Робеспьер готовился к своему триумфу — к празднику в честь Верховного существа. Придумать декорации к торжеству он поручил художнику Давиду, признанному мастеру оформления уличных зрелищ. По пышности своей процессии предстояло превзойти все прежние церемонии. По такому случаю Робеспьера вне очереди избрали председателем

Конвента, нарочито подчеркнув его исключительную роль в создании нового культа. Сен-Жюст на торжество не остался. Он снова уехал в армию, а в памятной книжке записал: «Революция заледенела... остались лишь колпаки на головах интриги. Применение террора пресытило преступление, как крепкие ликеры пресыщают вкус. Несомненно, еще не время для добра».

8 июня (20 прериаля) погода выдалась чудесная. Казалось, никогда еще солнце не сияло так ослепительно, а небо не было таким ясным. Весь народ вышел на улицы; дети несли букеты цветов, женщины корзины с цветами, мужчины дубовые ветви — как и следовало на Троицу, которую в этот день отмечали по христианскому календарю. Город также украсился цветами и ветвями деревьев, в окнах развевались флаги, в саду Тюильри для депутатов соорудили специальный амфитеатр. Когда он весь заполнился, появился Робеспьер — в голубом фраке, в белом, расшитом серебром жилете, в черных шелковых панталонах и черных туфлях с золотыми пряжками; в руках он держал букет из цветов и колосьев. И хотя опоздал он всего на несколько минут, кто-то из депутатов заметил: «Он уже видит себя королем!» О королевских амбициях Неподкупного шептались все чаще, а многие даже утверждали, что он выжидает время, чтобы жениться на Мадам Руаяль, дочери Людовика XVI, поэтому ее до сих пор и не отправили на эшафот.

Напротив депутатских трибун высились колоссальные картонные чудовища: Атеизм, Эгоизм, Раздор и Честолюбие. По замыслу Давида, чудовища подлежали сожжению, дабы явить миру статую Мудрости. После краткой речи, славящей «творца природы, связавшего всех смертных громадною цепью счастья», Робеспьер поджег чудовищ. Увы, костер разгорелся больше, чем предполагалось, и лик Мудрости явился миру черным от копоти. Возможно, пока горели порочные страсти, у кого-то промелькнула надежда, что сейчас будет положен конец террору; копоть, осевшая на лике Мудрости, похоронила эти надежды. Несколько омраченный случившимся председатель Конвента в сопровождении народа направился к Марсову полю. Впереди него, с большим отрывом, двигались музыканты. Позади него, также с большим отрывом, шла колонна народных представителей в парадных костюмах, опоясанных трехцветными шарфами и в шляпах с трехцветными плюмажами. Робеспьер шел, окруженный пустотой: апофеоз одиночки. Когда процессия прибыла на место, Робеспьер воскликнул: «Пусть природа воспрянет в полном своем блеске, а мудрость во всей своей власти! Верховное существо не исчезло».

Весь день 20 прериаля Робеспьер произносил красивые слова, принимал величественные позы и, возможно, сам того не желая, убеждал народ в том, что тот видит перед собой то ли нового диктатора, то ли нового главу религиозного культа. Тем не менее день, начавшийся для него столь прекрасно, завершился отвратительно. С одной стороны, мечта его сбылась: следуя заветам Руссо, он основал благотельный культ, и теперь никто не посмеет обвинить правительство в потакании атеизму. С другой стороны, на обратном пути до него постоянно долетали обрывки насмешливых реплик депутатов; к насмешкам примешивались угрозы: «Ему мало быть повелителем, он хочет быть Богом! Но Бруты еще не перевелись!» Кинжал Брута его не пугал, во всяком случае, он все чаще и чаще напоминал с трибуны Конвента об ожидавшей его смерти и постоянно примеривал на себя одежды преследуемой жертвы. Но насмешек он терпеть не мог: уязвленное самолюбие отдавалось болью во всем теле. «Вам уже недолго осталось меня видеть», — сказал он семье Дюпле, встретившей его на пороге дома. То ли это был фатальный зов смерти, то ли он чувствовал, что здоровье его бесповоротно подорвано. А может, эти слова лишь приписали Робеспьеру. Во время праздника Давид набросал портрет Неподкупного, на котором тот, по словам Мишле, выглядел ужасающе: его лицо, иссушенное страстями, напоминало морду утопшей кошки, воскрешенной действием гальванова электричества. Однако, как подчеркнул историк, оно внушало лишь жалость, смешанную со страхом.

Через два дня, словно в отместку за насмешки 8 июня, был принят горестно знаменитый закон 22 прериаля (10 июня), фактически упразднявший судебную процедуру и устанавливавший смертную казнь по всем делам, подлежащим ведению революционного трибунала. Террор становился повседневным будничным кошмаром. Жертв осуждали уже не по отдельности, а группами — для скорости; постановление и приговор также были общими. Закон, подготовленный Робеспьером, внес в Конвент Кутон. Неподкупный хотел, чтобы это сделал блистательный Сен-Жюст, чье появление на трибуне сравнивали с явлением ангела смерти с мечом в руках, но Сен-Жюст ради этого приехать отказался и прибыл в Париж только 25 прериаля. Пришлось доверить доклад Кутону, о котором одни современники говорили, что за свое увещье он исполнен злобы на все человечество, а другие, напротив, утверждали, что среди нового триумvirата он самый кроткий и незлобивый. Примечательно, что проект закона ни с кем не был согласован и стал откровением как для Конвента, так и для обоих комитетов. Возможно, поэтому Робеспьер испугался самостоятельно обнародовать его. Однако его популярность, возросшая

после введения культа Верховного существа, или, как писал А. Олар, «подобострастное сочувствие к его особе» пока делала его недоступным для нападков со стороны других избранников народа.

Предложенный Кутоном декрет, по сути, уничтожил самое понятие правосудия. «Для осуждения врагов народа» доказательства могли быть как «материальные, так и моральные», как «устные, так и письменные», дабы их мог оценить «справедливый и здравый ум», а критерием для вынесения приговора становилась «совесть судей», вдохновленных «любовью к отечеству». Понятие «враги народа» трактовалось чрезвычайно широко. Врагами признавались не только роялисты, изменники и шпионы, врагами становились те, «кто стремится уничтожить общественную свободу, будь то силой или хитростью... те, кто будет стараться ввести общественное мнение в заблуждение, препятствовать просвещению народа, портить нравы, развращать общественное мнение». Расплывчатые формулировки позволяли отправить на гильотину любого, тем более что в свидетелях и защитниках заговорщикам было отказано. Все предыдущие законы, не соответствовавшие настоящему декрету, отменялись, ибо речь шла не о «наказании», а об «истреблении» врагов.

Конвент ужаснулся. Предлагаемый закон фактически превращал суд в «септембризеров», тех, кто расправлялся с узниками тюрем в сентябрьские дни 1792 года. Депутат Рюам при поддержке коллеги Лекуантра потребовал отсрочки закона, пригрозив в случае отказа немедленно застрелиться. Возмущенный Робеспьер, успевший привыкнуть к покорности Конвента, будучи в тот день председателем, немедленно поднялся на трибуну и, угрожая «новыми заговорами и бесчисленным множеством иностранных агентов, наводняющих страну», стал убеждать, что «отсрочка закона помешает спасению родины»: «Мы презираем предательские инсинуации, которыми хотели бы обвинить крайнюю суровость мер, предписываемых общественными интересами. Эта суровость страшна только заговорщикам, только врагам свободы и человечества».

Все же Конвент робко сопротивлялся; остановить декрет пытались даже монтаньяры — те, кто остался в живых. Неподкупный еще раз взял слово и после восхвалений «горы» заявил, что «в Конвенте могут быть только две партии — добрые и злые, патриоты и лицемерные контрреволюционеры». Это означало, что отныне Конвент также стал частью черно-белого мира Робеспьера и существовать в нем имеют право только те, кто поддерживает его во всем. Многие отмечают, что если в начале своей карьеры Робеспьер отстаивал политическое равенство граждан, протестуя против деления на «активных» и «пассивных», то

теперь он предлагал собственное деление на «добрых» и «злых», причем последние подлежали уничтожению. Начав с призыва создавать справедливые законы, он пришел к проповеди им самим придуманных догм. Круг замкнулся. Перед поникшим Конвентом Робеспьер заявил: ««Гора» чиста, она благородна, и интриганы не принадлежат к «горе», а когда кто-то из зала осторожно попросил его назвать имена интриганов, он ответил: «Когда надо будет, я их назову», отчетливо намекая на тех, кто пытался ему возразить. В зале повис страх. Вскоре он перерастет в заговор 9 термидора, активное участие в котором примут немногочисленные оставшиеся в живых депутаты разгромленной Робеспьером «горы».

На следующий день депутат Бурдон из Уазы, монтаньяр, успевший изрядно нажиться на революции, воспользовавшись отсутствием в Конвенте Робеспьера, выступил против небольшого уточнения, внесенного в новый закон, а именно против разрешения отправлять депутатов в революционный трибунал без согласия Конвента. Понимая, в какую пропасть загоняет их этот пункт закона, депутаты поддержали Бурдона и проголосовали за неприкосновенность депутатского корпуса. Шпионы Робеспьера сообщили о неповиновении депутатов, и вечером у якобинцев Робеспьер, обрушив свой гнев на «людей, с громадным пылом защищающих Конвент и в то же время оттачивающих против него кинжал», призвал патриотов быть на страже более, чем когда-либо, ибо «люди развращенные идут на все для того, чтобы задушить защитников отечества». На следующий день Конвент отменил принятую им поправку. Теперь Робеспьер мог лично, без согласия Конвента, отделять овец от козлищ. Выступление 24 прериаля (12 июня) стало его последним выступлением в Конвенте перед заседанием 8 термидора (26 июля). В промежутке между этими датами он выступал только у якобинцев.

В результате применения нового закона с 22 прериаля (10 июня) по 9 термидора (27 июля) 1794 года только в Париже казнили 1409 человек, больше, чем за 14 месяцев террора, предшествовавших 22 прериалу (за то время на гильотине погибли 1216 человек). В день могли осудить несколько сотен жертв сразу. Тюрьмы были переполнены. Полицейские шпионы по обрывкам разговоров составляли списки кандидатов на гильотину. Сосед доносил на соседа, чтобы самому не оказаться в трибунале. Большинство казненных составлял мелкий парижский люд, те, кто когда-то принадлежал к самой многочисленной части третьего сословия, которое, «желая стать чем-нибудь», совершило революцию.

Тем временем французская армия вела успешные сражения на всех фронтах, оттесняя врага вглубь его территории. В связи с этим вставал

вопрос не только об изменении характера войны, но и об изменении управления страной. После победы, одержанной 26 июня (8 мессидора) при Флерюсе, необходимость в терроре (если таковая вообще может быть) отпала. Однако все большее число граждан, включая депутатов и членов обоих комитетов, стали связывать террор исключительно с автократической политикой Робеспьера. Хотя среди тех, кто выступал против него, многие активно поддерживали политику террора. Лекуантр, который в свое время был дружен с Дантоном, как-то насмешливо просил Бийо-Варенна назвать хотя бы один благодетельный декрет, который бы тот предложил после того, как Робеспьер перестал посещать заседания правительства.

29 июня (11 мессидора) произошел раскол Комитета общественного спасения: Бийо-Варенн и Колло упрекнули Робеспьера в диктаторских замашках, Карно укорил Сен-Жюста за неуместное вмешательство в военную операцию при Флерюсе, Кутон, бывший в свое время вместе с Колло д'Эрбуа в Лионе, напомнил Колло, сколько на нем невинной крови. В результате перебранки Робеспьер и Сен-Жюст покинули комитет. Говорят, это заседание проходило при открытых по случаю жары окнах, разговор шел громкий, и под окнами собралась целая толпа зевак.

15 мессидора (1 июля) Робеспьер выступил в Якобинском клубе в поддержку террора: «Во все времена враги родины хотели убить патриотов в физическом и моральном смысле. Теперь, как во все времена, пытаются выставить защитников республики в свете несправедливости и жестокости... В то время как небольшое число людей с неослабным рвением занимается делом, возложенным на них всем народом, множество негодяев и агентов иностранных держав ткнут в тиши клеветнические вымыслы и готовят преследования порядочных людей. Эта партия выросла из обломков всех остальных... Они стремятся изобразить деятельность Конвента как дело нескольких человек. Осмелились распространить в Конvente слух, что революционный трибунал создан только для удушения самого Конвента... Что касается меня, то как бы ни пытались закрыть мне рот, я считаю себя вправе говорить так же, как во времена Эберов, Дантонов и других. Провидение захотело вырвать меня из рук убийцы, для того чтобы я с пользой употребил оставшееся еще мне время жить». Пользы от речей Неподкупного давно уже не было. Похоже, Робеспьер переживал глубокий внутренний кризис, зашедший столь далеко, что он просто перестал понимать, что ему делать. И по инерции продолжал ступать по скользкой от крови накатанной колее.

Пишут, что Неподкупный много и уединенно работал в Бюро общей полиции при Комитете общественного спасения: писал, подписывал

аресты, прочитывал донесения. Создается впечатление, что он уже сдал позиции и просто ждал собственной гибели. Во всяком случае, от его речей, наполненных высокими словами, за которыми словно прятался некий тайный смысл, веяло смертью. Многие историки пишут, что, развязав Большой Террор (как называют период с 22 прериаля по 9 термидора), Робеспьер прокладывал себе путь к единоличной диктатуре. Но тогда как мог всегда осторожный Робеспьер допустить такую грубую ошибку, как отобрать неприкосновенность депутатского корпуса? Неужели забыл, что сам являлся таким же депутатом, а комитет, который он в силу своего авторитета возглавил, являлся частью Конвента? Или запутался в словесной паутине скользкого Барера? Ведь еще совсем недавно Карно, долго не желавший поставить подпись под постановлением об аресте Дантона, предрекал: «Если вы проложите народным избранникам дорогу на эшафот, мы все, друг за другом, пойдем по этой дороге». Или Робеспьер настолько уверовал в свою силу, в свою власть?

«Робеспьер показался мне одной из тех мистических фигур, которые настолько далеки от человеческой природы, что не имеют ни предшественников, ни последователей и исчезают, оставив за собой кровавый след. Сердце его было глухо к биению других сердец. Его суровая душа была надежно спрятана за броней эгоизма. Он посылал людей на эшафот с таким же безразличием, как если бы это были камешки, случайно оказавшиеся у него на пути. Природа отказала ему в даре раскаяния. В его взгляде было нечто удивительно враждебное. Я до сих пор помню, какое жуткое впечатление произвел на меня его мертвящий взор, вперенный сквозь сверкающие зеленые стекла его очков», — писала английская переводчица, писательница и немного шпионка Хелена Мария Вильямс, поклонница идей революции, приехавшая во Францию и заключенная в тюрьму во время террора. Возможно, такой же взгляд был и у пылкого католика Доминика де Гусмана, призывавшего истреблять альбигойских еретиков, и у бессребреника Савонаролы, оставлявшего позади себя на улицах Флоренции кровавый след, и у ходившего в старой шубе Кальвина, строившего град Божий в Женеве, где пылали костры и гибли люди, не согласные с политикой протестантского папы... К несчастью, История знает немало примеров, когда именно фанатиков отличало столь привлекательное в государственных мужах нестяжание, фанатиков, которые ради претворения в жизнь своих идей истребляли бесчисленное множество несогласных. Когда, в какой момент революции неподкупный Робеспьер, некогда выступавший против смертной казни, превратился в чудовище, поставив добродетель в зависимость от террора и

связав террор с добродетелью? Что больше повлияло на столь резкую смену взглядов? Всенародная любовь, граничившая с бездумным обожанием и сделавшая его недоступным критике? Яростная борьба честолюбий, неизбежная в дни великих свершений? Добровольная изоляция и, как следствие, отрыв от реальности? Многие подчеркивают, что для Робеспьера террор означал рутинную бюрократическую работу, а в результате — исчезновение неугодных лиц. Он никогда не присутствовал при казнях, возможно, даже не видел гильотины, обходя площадь Революции стороной. Впрочем, ни в Конвент, ни к якобинцам идти через нее ему было не нужно. Еще одна, самая страшная версия гласит, что террор был необходим для спасения Республики, поэтому в начале его поддерживали и Конвент, и санкюлоты.

Все члены комитетов возмутились, узнав, что Робеспьер не известил о новом законе ни один, ни другой комитет. Особенно были недовольны в Комитете общественной безопасности, ибо правосудие и полиция относились прежде всего к сфере их деятельности. Словно в ответ желчный и язвительный атеист Вадье, игравший руководящую роль в Комитете безопасности, создал «дело старухи Тео», ставшее, наряду с делом «красных рубашек», очередной ступенью вызревавшего в недрах обоих комитетов заговора против Робеспьера. Вадье отыскал в Париже экзальтированную старуху Катрин Тео, пророчицу и ясновидящую, окружившую себя преданными поклонниками и поклонницами, среди которых были замечены несколько бывших аристократок. Поклонница Робеспьера, Тео именовала себя богородицей, и утверждала, что ей являлся новый мессия, которому суждено спасти мир. Мессия предстал в облике Робеспьера. При обыске у нее нашли несколько написанных корявым почерком писем, в которых Робеспьер именовался «Сыном Верховного существа, вечным Глаголом, Мессией, предвозвещенным пророками». Хотя, как писал Вилят, письма эти ей явно подбросили полицейские шпионы, ибо сама она едва могла поставить подпись. Покровительствовал старухе монах Жерль, бывший депутат Конституанты, проживавший в доме Дюпле и обладавший свидетельством о благонадежности, подписанным самим Робеспьером.

Обвинив участников кружка Катрин Тео в контрреволюционной деятельности и связях с границей, Вадье потребовал их ареста и постановил передать дело «об ужасном заговоре» в революционный трибунал. Вадье говорил размеренно, отчетливо, придав всей истории гротескный характер и ловко выдвинув на первый план Робеспьера. По иронии судьбы Неподкупный в тот день исполнял обязанности

председателя Конвента. Для него доклад Вадье стал настоящей пыткой, ибо тот не только выставил его на посмешище, но и высмеял дорогой его сердцу культ! Робеспьер сделал все, чтобы не допустить отправки дела в революционный трибунал, где Фукье-Тенвиль наверняка превратил бы его в настоящий спектакль, высмеивавший его, Робеспьера! Дело отложили, но оно, словно дамоклов меч, повисло над Неподкупным, ибо в любую минуту ему могли дать ход. А для Неподкупного насмешка была хуже смерти. Впрочем, есть и другие версии: Робеспьер воспринял дело исключительно серьезно, ибо усмотрел в нем издевательство над Верховным существом, и пытался прекратить его, дабы не вызвать нового всплеска дехристианизации. Саму Тео он считал «глупой ханжой», которую использовали, чтобы замаскировать заговор. «Я презираю всех этих насекомых», — писал в те дни Робеспьер о своих коллегах.

Более трех недель, с 10 мессидора (28 июня) по 5 термидора (23 июля), Робеспьер не показывался ни в Комитете общественного спасения, ни в Конвенте. Разрабатывал новую тактику ведения войны в одиночку? У него за спиной больше не было ни монтаньяров, ни комитета, ни санкюлотов, ни Коммуны; он уничтожил их всех. От партии монтаньяров остались отдельные личности, враждебно к нему настроенные, Комитет общественного спасения (кроме двух верных членов триумvirата) также его враг, а Коммуна и народные общества превращены в колесики бюрократической машины управления. Только в Якобинском клубе он еще встречал восторженный прием. Выступая 1 июля (15 мессидора) у якобинцев, он объявил о новом заговоре: «преступление втайне плетет заговоры для разрушения свободы», «клика снисходительных», «увеличившаяся за счет остатков всех других клик, соединяет одним звеном всех, кто составлял заговоры с начала революции». Иначе говоря, применил испытанный прием, пригодный для устранения недовольных его политикой. Однако, нападая на пока безымянных врагов, он едва ли не половину выступления посвятил собственному оправданию, причем без экскурсов в пятилетнюю историю его революционной борьбы, а опираясь лишь на последние события: «В Париже говорят, что это я создал революционный трибунал, что этот трибунал был создан для уничтожения патриотов и членов Национального конвента; меня изображают тираном и притеснителем народных представителей. В Лондоне говорят, что во Франции измышляют мнимые убийства, для того чтобы окружить меня военной гвардией. Здесь мне сказали, говоря о Рено, что это, несомненно, любовное дело, надо думать, что я заставил гильотинировать ее любовника. Вот каким образом оправдывают тиранов, нападая на отдельного человека,

у которого есть только его смелость и его доблесть». «Робеспьер, за тебя вся Франция!» — выкрикнул кто-то из зала. Понимал ли Неподкупный, что это не так? Наверняка знал; знал, что многие стали видеть в нем тирана, не античного диктатора, представлявшего римскую магистратуру, а именно тирана, чудовище, вершащее произвол. Однако чудовище по определению не может быть добродетельным, и это более всего уязвляло его. Оскорбленный, он снова напоминал о своей близкой смерти: «Когда земные владыки объединяются, чтобы уничтожить слабого человека, этот человек не должен цепляться за жизнь; долгая жизнь не входила в наши расчеты». «Я буду бороться насмерть с тиранами и заговорщиками», — в завершение произнес он. Говорил ли он это по привычке или действительно собирался с силами, чтобы нанести решающий удар? Но кому? Этот вопрос чрезвычайно волновал и депутатов Конвента, и членов обоих комитетов, деятельность которых Робеспьер ставил под сомнение. Фраза «Когда надо будет, я их назову» не давала никому покоя. Многие даже перестали ночевать дома, опасаясь внезапного ареста. Полиция исправно доносила об этом Робеспьеру, но тот ничего не предпринимал: то ли выжидал, когда его противники совершат ошибку, и он, воспользовавшись своей популярностью, пойдет в победоносное наступление, то ли окончательно лишился сил, ибо сердце его «было иссушено испытанием множества измен». Его поведение определило тактику термидорианских заговорщиков: выждать, когда Неподкупный начнет нападать на неугодных, и атаковать без промедления.

Но, возможно, ползучий страх охватил также и Робеспьера, ведь он получал немало угрожающих писем. «Робеспьер! Я вижу, как ты стремишься к диктатуре... Скажи, есть ли в истории тиран хуже тебя? <...> Неужели ты не погибнешь? Неужели мы не избавим родину от такого чудовища? Мы все умрем, если нужно, но ты не ускользнешь. <...> Я ежедневно бываю с тобой, ежедневно вижу тебя; моя поднятая рука всегда направлена против твоей груди. О негоднейший из смертных, поживи еще несколько дней, чтобы подумать обо мне; спи, чтобы видеть меня во сне; и пусть мысль обо мне и твой ужас будут первыми орудиями твоей казни! Прощай... Уже сегодня при виде тебя я буду наслаждаться твоим страхом», — писал аноним. «Робеспьер! Робеспьер! О Робеспьер! Я вижу, ты рвешься к диктатуре и хочешь убить свободу, которую сам же и создал. Ты считаешь себя великим политиком, потому что тебе удалось расправиться с главными столпами Республики. Ты считаешь себя великим человеком и уже торжествуешь; но сможешь ли ты... избежать удара моего кинжала или одного из двадцати двух, которые держат в руках такие же, как я. <...> Да,

мы решили лишить тебя жизни и освободить Францию от змеи, терзающей ее грудь», — писал другой аноним. О чем думал Неподкупный, читая эти строки?

Были и письма поддержки. Вот, например, письмо сестры Мирабо: «Дорогой Робеспьер... Принципы добродетели, выражаемые тобой как на словах, так и на деле, возбудили во мне желание учить детей даром... я никогда не оставлю тебя. Я буду добродетельна, следуя твоим советам и примеру; вдали от тебя, быть может, я погибла бы... Твой воинственный клич — любовь к добру; мой же — чтобы ты жил долго на благо любимого мною Конвента... Положись на мое сердце».

При активном содействии Робеспьера якобинцы исключили из своих рядов Фуше и Дюбуа-Крансе: первый обвинялся в преступлениях против лионских патриотов, а второй — в милосердии к лионским заговорщикам. Кто следующий? Исключение из Якобинского клуба равнялось пропуску на гильотину. Когда спустя много лет Барера спросили, о чем втайне мечтали в те дни в Комитете общественного спасения, он ответил: «Мы думали только о том, как сохранить себя, сохранить собственные жизни, ибо каждый чувствовал себя под угрозой». Ведь ни в одной из своих речей Робеспьер даже не намекнул на возможность отмены введенного им страшного закона.

Тальен, Фуше, Фрерон, Баррас, Каррье, Колло д'Эрбуа, Куртуа, Лежандр, Карно, Бийо-Варенн, термидорианцы... кто-то боялся разоблачений Неподкупного, кто-то мечтал отомстить за погубленных друзей, кто-то искренне не хотел, чтобы Республика оказалась под властью диктатора.... А «болоту» надоело дрожать при каждом появлении на трибуне Неподкупного. Термидорианцы очень разные, но все они были уверены, что выбора у них нет: или они уничтожат Робеспьера, или он уничтожит их. Ряд историков называют термидорианский переворот дуэлью между Робеспьером и Фуше. Обвиненный в превышении полномочий, Фуше не пожелал явиться на суд якобинцев и в обход Робеспьера отправил отчет в комитеты, уверенный, что запятнавший себя невинной кровью лионцев Колло д'Эрбуа не даст его в обиду. Именно против Фуше 11 июля (23 мессидора) Робеспьер выступил с гневной речью в Якобинском клубе, где назвал его «главой заговора», «низким и презренным обманщиком». Доказательств заговора у Робеспьера не было, но, возможно, сработал его политический инстинкт: лионский палач Фуше действительно был тем, кто соединял воедино ниточки, тянувшиеся от недовольных политикой Робеспьера. Под покровом ночи он посещал депутатов и договаривался о свержении Неподкупного. Ни дантонистов, ни

эбэртистов уговаривать не приходилось, а вот для убеждения «болотных жаб» приходилось намекать на проскрипционные списки, которые якобы случайно увидели в руках Робеспьера.

23 июля (5 термидора) Робеспьер неожиданно появился на объединенном заседании комитетов — как пишут, чтобы проверить, насколько он сможет подчинить себе аудиторию. Или, по другой версии, его вызвали, дабы он объяснил свое долгое отсутствие. Как и ожидалось, не обошлось без столкновения, и, как всегда, в роли примирителя выступил изворотливый Барер, «лиса Барер». Но примирение было явно временным; на следующий день Робеспьер уже заявлял у якобинцев: «Настал момент снести последние головы гидры: заговорщики не должны надеяться, что им удастся уйти от правосудия». Но кто эти заговорщики? Он снова не назвал имен... А на следующий день депутация якобинцев отправилась в Конвент, дабы заявить, что, скорбя о раздорах в правительстве, народ считает своим долгом защищать своих представителей до самой смерти.

Когда якобинцы явились поддержать Робеспьера, депутаты немедленно обвинили его в намерении устроить очередное 31 мая. Впрочем, сам Неподкупный тоже осудил депутацию: он никогда не приветствовал выступлений народных масс.

8 термидора (26 июля) Робеспьер после долгого перерыва поднялся на трибуну Конвента. «Граждане, пусть другие рисуют вам приятные для вас картины, я же хочу высказать вам полезные истины», — начал он свое выступление. Как справедливо отмечает Э. Лёвере, в тот день к депутатам обращался не член Комитета общественного спасения, не оратор Якобинского клуба, а депутат, говоривший от своего собственного имени. И как это бывало в решающие моменты, Робеспьер говорил о себе, не мог не говорить. Но если раньше, говоря о себе, он говорил о революции, теперь он говорил о смерти, ибо «смерть — это начало бессмертия!». Он говорил, что «различить обманутых людей от сообщников заговора» можно «на основании здравого смысла и справедливости», а «если мое существование кажется врагам моей родины препятствием для выполнения их отвратительных планов и если их ужасная власть еще продлится, я охотно пожертвую свою жизнь». «О, я без сожаления покину жизнь! У меня есть опыт прошлого, и я вижу будущее. Может ли друг родины желать пережить время, когда ему не дозволено больше служить ей и защищать угнетенную невинность! Зачем оставаться жить при таком порядке вещей, когда интрига постоянно торжествует над правдой?» Он отвергал обвинение в излишних жестокостях террора и в тирании: «...если бы я был тираном,

они бы ползали у моих ног, я бы осыпал их золотом. <...> Какая жестокая насмешка выставить деспотами граждан, которых всегда пытались уничтожить! <...> Кто я такой, кого обвиняют? Раб свободы, живой мученик Республики, жертва и враг преступления. <...> Развивая обвинение в диктатуре, поставленное в порядок дня тиранами, стали взваливать на меня все несправедливости... всякого рода строгости, требуемые спасением родины».

Робеспьер призвал спасти правительство, работе которого препятствовали бывшие сторонники Эбера (без имен), некоторые члены Комитета общественной безопасности (без имен) и заговорщики, укоренившиеся в Конвенте и обоих комитетах (без имен). Впрочем, те, на кого он намекал, прекрасно все поняли. Единственным, кого прямо назвал Робеспьер, оказался главный финансовый распорядитель правительства Камбон. «Революционное правительство спасло родину; теперь надо его самого спасти от всех опасностей», — говорил Робеспьер. Новый заговор еще более опасен, чем прежние, и «своей силой он обязан преступной коалиции, интригующей в самом Конвенте... Как исцелить это зло? Наказать изменников, обновить все бюро Комитета общественной безопасности и подчинить его Комитету общественного спасения; очистить и сам Комитет общественного спасения, установить единство правительства под верховной властью Национального конвента, являющегося центром и судьей, и таким образом под давлением национальной власти сокрушить все клики и воздвигнуть на их развалинах мощь справедливости и свободы». Иначе говоря, обеспечить работу революционного правительства можно, только принеся новые жертвы гильотине. Подобные заявления в устах Робеспьера всегда предшествовали указанию на очередных заговорщиков, которых ждали скорый суд и смерть. Тем более теперь, после закона 22 прериаля. А так как Робеспьер не назвал имен, угрозу почувствовали все.

Слова Неподкупного по-прежнему обладали завораживающей магией. Выслушав его трехчасовую речь, депутаты, по обыкновению, приняли решение напечатать ее и разослать по коммунам. Кто опомнился первым? Кто вспомнил, что если раньше Робеспьер выступал от имени правительственного комитета, то теперь он говорил от самого себя? Заговорщики встрепенулись: Амар, Бийо-Варенн и Вадье шумно воспротивились, чтобы речь была напечатана, Камбон назвал Робеспьера главным камнем преткновения, парализующим работу правительства, а бывший друг Марата Панис, тот самый, что во время сентябрьской резни от имени Коммуны обратился к провинциям с призывом следовать примеру

Парижа, обвинил Робеспьера в том, что он своей волей исключает из Якобинского клуба тех, кто ему неуютен. «Я требую, чтобы он признался в составлении проскрипционных списков и чтобы сказал, есть ли в тех списках я!» — выкрикнул Панис. «Назови тех, кого ты обвиняешь!» — кричали Робеспьеру со всех сторон, но он молчал. Охваченный страхом неопределенности, Конвент отменил постановление о рассылке речи. И это было поражение. Попытки Кутона выступить в защиту Неподкупного положения не спасли.

Возможно, если бы Робеспьер назвал имена, он обрел хотя бы временное преимущество. Но он не сделал этого даже вечером, когда повторил свою речь у якобинцев, где ее встретили аплодисментами. Завершив речь, Робеспьер сказал: «Сейчас вы выслушали мое завещание. Мои враги, а точнее, враги Республики столь могущественны и столь многочисленны, что я не льщу себя надеждой, что смогу долго сопротивляться им. Говоря с вами, никогда я еще не был так взволнован, ибо я уверен, что пришла пора проститься с вами». А затем Кутон предложил составить список тех, кто голосовал против речи Робеспьера, и исключить их из членов клуба. Иначе говоря, составить проскрипционный список. Присутствовавшие на заседании Колло и Бийо-Варенн, главные противники Робеспьера в Комитете общественного спасения, попытались оправдаться, но были с позором изгнаны из клуба. Вскочив с мест, взволнованные якобинцы клялись в вечной верности Неподкупному. «Робеспьер, я выпью яд вместе с тобой!» — воскликнул художник Давид. Но, похоже, в душе Робеспьер уже выпил цикуту и теперь лишь ждал, когда она унесет его в мир иной.

Был ли у Робеспьера определенный план или он заведомо отдал победу в руки своих противников? Или, наоборот, недооценил, что его враги смогут увлечь за собой Конвент? Или уповал на Сен-Жюста, надеясь, что тот в своем докладе расставит все по местам и назовет заговорщиков? Но тогда что за речь писал он сам всю ночь накануне 9 термидора? В ту тревожную ночь, когда Сен-Жюст в комитете готовил порученный ему доклад о текущем положении, Фуше и Тальен обходили депутатов «болота», уговаривая их поддержать предложение об аресте Неподкупного, а в театре Республики, где давали исполненную зловещих намеков трагедию «Эпихарис и Нерон», собирались заговорщики... В ту ночь, когда в утратившем сон Комитете общественного спасения произошла очередная ссора, во время которой Барер в отчаянии и негодовании воскликнул: «Вы хотите разделить останки родины между хромым, ребенком и негодяем!»

О событиях 9 и 10 термидора, равно как и о предшествующих им

кризисных днях, известно не много: эти события слишком часто переписывали в зависимости от конъюнктуры. Слова тех, кто был казнен в результате термидорианского переворота (за три дня, 10–12 термидора, на гильотину срочно отправили около ста человек), либо не сохранились, ибо они не успели их написать, либо их изъяли те, кто создавал новый образ Республики без Робеспьера. А те, кому удалось пережить те страшные дни, из чувства самосохранения не спешили делиться своими переживаниями. После гибели Робеспьера практически все документы, включая парламентский отчет о заседании 9 термидора, переписывались в зависимости от идеологических нужд. Как утверждает ряд современных французских историков, «специфика изучения событий термидора заключается в исследовании не столько самих событий, сколько их последующих переписываний и интерпретаций». Для повествования же остается ряд более или менее установленных фактов.

Утром Сен-Жюст, вместо того чтобы, как обещал, обсудить свой доклад в комитете, направился прямо в Конвент. Как и Робеспьер, он поднялся на трибуну не как член правительства, а как депутат, решивший разоблачить заговор и назвать имена заговорщиков. «Я не принадлежу ни к какой фракции, я буду бороться с любой из них, — начал он свою речь. — Ваши комитеты общественной безопасности и общественного спасения поручили мне представить вам доклад о причинах серьезного волнения, которым было охвачено в последнее время общественное мнение. Доверие, которое мне оказали оба комитета, — большая честь для меня, но этой ночью некто поразил меня в самое сердце, и я хочу говорить, обращаясь только к вам. Я обязан заявить, что кое-кто пытался принудить меня высказать мнение, противоречащее образу моих мыслей...» Речь Сен-Жюста, с первых же слов зазвучавшая как обвинение, повергла зал в трепет: все поняли, что этот человек, без сомнения, назовет имена. Члены правительственного комитета почувствовали, что Сен-Жюст и Робеспьер предали их.

Первым вскочил с места алчный интриган Тальен и, негодуя, заявил, что и вчера, и сегодня члены правительства почему-то выступают от своего имени. «Что происходит в правительстве, объясните!» — воскликнул он. На трибуну, не обращая внимания на умолкнувшего Сен-Жюста (скрестив руки, тот будет молча стоять там до самого ареста), прорвался Бийо-Варенн и заявил, что накануне в Якобинском клубе друзья Робеспьера грозили изгнать из Конвента неугодных им людей. Это была ложь, но кто, включая Робеспьера, не прибегал к ней в пылу борьбы? «Собранию грозит опасность с двух сторон, оно погибнет, если проявит слабость! —

воскричал Бийо. — Не думаю, чтобы здесь нашелся хотя бы один представитель, который хотел бы жить под властью тирана!» «Долой тирана!» — хором отвечали депутаты. А Бийо, заявив, что речь Сен-Жюста — это лишь первый шаг заговорщиков, перешел к Робеспьеру, обвинив его в том, что, утратив авторитет в правительственном комитете, он перестал участвовать в его работе и ступил на стезю заговорщика. Речь Бийо-Варенна больше походила на бред, но этого никто не заметил. Рубикон был перейден. Сидящий в зале Робеспьер, в парадном костюме, в котором был на празднике Верховного существа (он собирался дать решающее сражение Конвенту), рвался в словесный бой, на трибуну, но ему не давали слова. В тот день обязанности председателя исполнял Колло, и он своей волей не дал говорить никому, кто, по его мнению, мог выступить в поддержку Робеспьера.

Ораторы сменяли друг друга: Тальен, Вадье, Барер... депутаты принимали какие-то решения... Перестав понимать, что происходит, Робеспьер, сжимая в руке листки с написанной речью, рванулся к трибуне, пытаясь убедить председателя вернуть прения к сути дела. Но заговорщики были уверены, что слово Робеспьеру давать нельзя: он, как уже случалось, мог заговорить Конвент и, подобно сладкоголосой сирене, увлечь его за собой. «Председатель разбойников, дай мне говорить или убей меня!» — охрипшим голосом кричал Робеспьер, но его не слышали. Устремляя взор то на горстку депутатов «горы», то на «болото», он нигде не находил поддержки. «Тебя душит кровь Дантона!» — раздался чей-то голос. Робеспьер резко развернулся: «Так, значит, вы хотите отомстить мне за Дантона? Подлецы! Почему же вы не защищали его?» Собственно, переворот фактически свершился, осталось только отважиться произнести роковые слова: предложить декретировать арест Робеспьера. И когда, наконец, никому не известный депутат Луше взял это бремя на себя, Конвент под крики «Да здравствует Республика!» с облегчением принял соответствующий декрет. «Республика! — горько усмехнулся Робеспьер. — Она погибла, настало царство разбойников!» Возмущенные вопиющим беззаконием, Леба и Огюстен Робеспьер, не желая «разделять позор этого постановления», потребовали арестовать также и их. Среди всеобщего шума Конвент декретировал арест Кутона, Сен-Жюста и отсутствовавшего в зале командующего Национальной гвардией Анрио. «Французский народ не потерпит тиранов!» — «Нет! Нет!» В поддержку арестованных не высказался никто, даже трибуны, куда, впрочем, в тот день пускали только избранных. Приставы не отважились выполнить приказ Конвента, и для сопровождения арестованных вызвали жандармов Комитета общественной

безопасности.

Возможно, арестованные втайне надеялись, что народ восстанет и освободит их. Но когда по Парижу прошел слух, что Робеспьер арестован, раздался вздох облегчения: «Наконец-то с террором будет покончено!» Народ даже попытался отбить 45 жертв, следовавших по дороге на эшафот, но налетел пьяный Анрио и, разогнав толпу, велел мрачному кортежу продолжать скорбный путь. Все 45 были казнены. Отлаженная система истребления, созданная Робеспьером, работала бесперебойно. Продолжив метаться по Парижу, Анрио попытался поднять на восстание дорожных рабочих, но в ответ добился только возгласа «Да здравствует Республика!». 5 термидора (23 июля) утвердили закон о максимуме заработной платы, урезавший заработки рабочих едва ли не в половину, так что недовольство политикой Коммуны в народе было велико. Бесцельные метания Анрио по Парижу завершились его арестом.

Робеспьер словно плыл по волнам стремительно разворачивавшихся событий. Перед тем как разойтись на перерыв, депутаты, опасаясь народного восстания, издали декрет, запрещающий оказывать поддержку арестованным, и отправили его в Коммуну. Совет Коммуны под председательством мэра Парижа Флерио-Леско арестовал посланцев Конвента и, заявив, что не признает правительство в лице Комитета общественного спасения, составил обращение к народу, начинавшееся словами: «Граждане, отечество в большей опасности, чем когда бы то ни было». Назвав в качестве злодеев Амара, Колло д'Эрбуа, Бурдона, Барера и других, Коммуна завершила воззвание призывом: «Народ, поднимайся! Не утратим плодов 10 августа и низвергнем в могилу всех изменников!» Был организован повстанческий комитет, по приказу которого парижские канониры подтащили к ратуше пушки. Якобинский клуб, установивший связь с Коммуной, тоже начал готовиться к сопротивлению.

Зная, что арестованных поодиночке распределили по тюрьмам, Коммуна отдала комендантам распоряжение не принимать их. Поэтому, когда Робеспьера доставили в Люксембургскую тюрьму, начальник наотрез отказался заточить его в камеру. То же самое произошло и с его товарищами. Желая оставаться в рамках законности, Робеспьер потребовал отвести его в здание на набережной Орфевр, где размещалась муниципальная полиция. По словам Мишле, Неподкупный понимал, что если Робеспьер-мученик вызовет восхищение, то Робеспьер — вождь повстанцев окажется смешон. Робеспьер не хотел, чтобы его сочли мятежником и поставили вне закона, ибо надеялся выступить в свою защиту в революционном трибунале — видимо, забыв, что согласно

прериальскому закону слово для защиты обвиняемому не предоставлялось. Видимо, забыли об этом и в Конвенте, так как из Комитета общественной безопасности тюремщикам также пришло распоряжение не принимать именитых арестантов. Слово Робеспьера по-прежнему пугало его врагов, а потому решили не доводить дело до суда; для этого следовало доказать, что Робеспьер мятежник, и поставить его вне закона. Постепенно в ратуше собрались освобожденные Коммуной арестанты Конвента. Не хватало только Робеспьера; за ним пришлось послать верзилу Кофиналя, и тот едва ли не силой привез Неподкупного в ратушу.

Коммуна действовала именем Робеспьера, Конвент говорил именем закона. Освобожденный Кофиналем Анрио во главе отряда Национальной гвардии двинулся к Тюильри, захватив с собой пушки. Увидев надвигающуюся на них армию, собравшиеся после перерыва депутаты растерялись, а Колло предложил начать раздачу оружия. Но Анрио, рассчитывавший занять пустое здание, увидел, что заседание началось, и отступил, исполненный благоговейного почтения к народному представительству. Штурм провалился не начавшись, а Анрио снова арестовали. Конвент срочно издал постановление, объявлявшее Робеспьера и его товарищей вне закона.

Тем временем Коммуна призвала граждан всех сорока восьми парижских секций явиться к зданию ратуши. На призыв откликнулись меньше половины; остальные, включая секцию Пик, к которой принадлежал Робеспьер, приняли сторону Конвента, олицетворявшего собой революционное правительство, в то время как после жерминальских казней имя Робеспьера все чаще ассоциировалось с диктатурой. Тем не менее горстка сторонников во главе с мэром Флерио-Леско принесла клятву умереть за «спасителя свободы», как они именовали Робеспьера. Кутон предложил Робеспьеру подписать воззвание к народу и армии. «От чьего имени?» — спросил Робеспьер. «От имени Конвента, — ответили его единомышленники. — Разве он не там, где мы? Остальные — это всего лишь шайка мятежников». Робеспьер задумался: по сравнению с мятежной шайкой их слишком мало. Впрочем, одиночество (как и малочисленность) никогда его не пугало. И неожиданно он произнес: «От имени французского народа». Что означал этот ответ? Вспомнил ли Робеспьер, что всегда говорил от имени народа, во имя народа и признавал законной только власть народа? Абстрактного народа, от которого он, подобно скульптору, отсекал лишние куски в лице «предателей» и «заговорщиков», дабы изваять идеальную фигуру нового добродетельного человека. Реальный народ не поддержал Робеспьера. Даже якобинцы. Узнав, что

Неподкупный объявлен вне закона, они быстро разошлись.

Собрание продолжало заседать: вне закона объявили Анрио и всех членов муниципалитета, восставших против Конвента. Командование вооруженными силами Конвента передали циничному и расчетливому Баррасу. Народ, собравшийся на площади перед ратушей, начал расходиться: Робеспьер был не из тех, кто мог поднять народ на восстание, равно как и нынешние начальники Коммуны. Вождей Коммуны Робеспьер отправил на гильотину. «Нам остается только умереть», — заметил Сен-Жюст. В два часа ночи в ратушу вошла первая смерть — застрелился Леба. Робеспьер попытался последовать его примеру, но лишь раздробил себе челюсть (по другой версии, челюсть ему прострелил молоденький жандарм Мерда, ворвавшийся в зал заседаний ратуши в первых рядах отряда жандармов под командованием Леонара Бурдона). Огюстен Робеспьер выбросился из окна, но не разбился, а лишь переломал кости.

В три часа ночи Робеспьера на носилках доставили в Тюильри, где заседал Конвент, и уложили на один из столов в Комитете общественной безопасности, подсунув под голову ящик из-под сухарей. Сейчас трудно сказать, находился ли Робеспьер в сознании или от боли, изнурения и отчаяния погрузился в состояние, близкое к небытию. Возможно, в полумраке смерти он видел Республику Добродетели... Утром всех пятерых, живых, раненых и мертвых, доставили в Консьержери и после короткой процедуры опознания приговорили к смерти. Чтобы казнь стала показательной, гильотину от заставы Поверженного Трона вернули на площадь Революции. Это заняло довольно много времени, поэтому процедура казни Робеспьера и еще двадцати двух его сторонников началась только в шесть вечера, когда июльская жара немного спала. Дорога от Майского дворика до площади Революции заняла времени вдвое больше обычного: жандармам велели ехать медленно, чтобы народ мог как следует рассмотреть «тирана». Робеспьера трудно было узнать: всклокоченные волосы, помятый, забрызганный кровью костюм, перевязанное лицо. Возможно, сознание еще утром покинуло его, и только боль от сорванной палачом повязки, заставившая его испустить жуткий крик, свидетельствовала о том, что он еще жив. Первым казнили Кутона, Робеспьера — предпоследним. Его тело вместе с телами его товарищей отвезли на кладбище Эрранси, где до революции хоронили неопознанные трупы, свалили в ров и засыпали негашеной известью, чтобы от них не осталось и следа...

Земная жизнь Максимилиана Робеспьера оборвалась 10 термидора II года Французской республики единой и неделимой (28 июля 1794 года от

Рождества Христова). В тот же день началась легендарная жизнь Максимилиана Робеспьера, она продолжается до сих пор...

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАКСИМИЛИАНА РОБЕСПЬЕРА

1758, 6 мая — в городе Аррасе провинции Артуа в семье адвоката Максимилиана Робеспьера и дочери пивовара Жаклин Кар-ро родился первенец — Максимилиан Мари Изидор Робеспьер.

1760, 5 мая — родилась Шарлотта Робеспьер.

1763, 21 января — родился Огюстен Робеспьер.

1764 — смерть Жаклин Карро, отец Робеспьера покидает Аррас, дети остаются на попечении родственников.

1765 — Максимилиан поступает в коллеж ораторианцев в Аррасе. 1769 — Максимилиан поступает в парижский коллеж Людовика Великого и покидает Аррас.

1775 — коллеж посещает Людовик XVI, и Максимилиан произносит приветственную речь в его честь.

1778 — предполагаемая встреча Максимилиана с Жаном Жаком Руссо.

1781 — Робеспьер завершает учебу в коллеже Людовика Великого, становится адвокатом и возвращается в Аррас.

1782 — первое дело Робеспьера.

1783 — дело о громоотводе; Робеспьер избран в академию Арраса. Октябрь — письмо Франклину.

1784 — сочинение «О бесчестящих наказаниях» получает второе место на конкурсе, объявленном академией Меца.

1785 — сочинение «Похвала Грессе» представлено на конкурс, объявленный академией Амьена.

1786, 4 февраля — Робеспьер избран директором академии Арраса. 21 июня — Робеспьер принят в анакреонтическое общество Розати.

1787 — дело Детефа; речь в защиту Детефа опубликована до начала процесса.

1788, 15 июня — постановление Государственного королевского совета о созыве 1 мая 1789 года Генеральных штатов. Предвыборная брошюра «Обращение к жителям провинции Артуа о необходимости реформировать Штаты Артуа»; Робеспьер начинает свою избирательную кампанию.

1789, 26 апреля — Робеспьер избран депутатом от третьего сословия провинции Артуа.

5 мая — открытие Генеральных штатов.

18 мая — Робеспьер впервые выступает с трибуны Генеральных штатов.

17 июня — депутаты третьего сословия провозглашают себя Национальным собранием.

14 июля — падение Бастилии.

4 августа — Декларация об отказе от феодальных привилегий.

26 августа — Декларация прав человека и гражданина.

5–6 октября — поход женщин на Версаль; короля и его семью привозят в Париж.

Ноябрь — основание Общества друзей конституции, в обиходе именуемого Якобинским клубом.

1790, апрель — основание Общества друзей прав человека и гражданина, в обиходе именуемого Клубом кордельеров.

14 июля — праздник Федерации. Провозглашение Франции конституционной монархией.

Август — письмо Сен-Жюста Робеспьеру.

1791, 2 апреля — смерть Мирабо.

14 июня — принятие закона Ле Шапелье.

20–21 июня — бегство короля и его задержание в Варение.

14 июля — брошюра «Обращение Максимилиана Робеспьера к французам».

17 июля — расстрел манифестантов на Марсовом поле. Робеспьер переезжает в дом Дюпле.

3 сентября — принятие Конституции 1791 года. Робеспьер добивается закона о запрещении депутатам Учредительного собрания переизбираться в Законодательное собрание.

30 сентября — завершение работы Учредительного собрания.

1 октября — начало работы Законодательного собрания. Робеспьер совершает поездку в Артуа.

1792, январь — выступления Робеспьера против войны.

Февраль — Робеспьер подает в отставку с поста общественного обвинителя и полностью посвящает себя политике. Встреча с Маратом.

17 мая — выходит первый номер газеты Робеспьера «Защитник конституции».

20 июня — патриотическая демонстрация народа в Тюильри.

11 июля — на повестке дня лозунг «Отечество в опасности!».

25 июля — манифест герцога Брауншвейгского.

10 августа — народное восстание, свержение монархии и объявление

о начале выборов в Конвент на основе всеобщего избирательного права; образование революционной Коммуны Парижа.

2–5 сентября — массовый террор против аристократов в Париже и провинции.

6 сентября — Робеспьер первым избран в Конвент от Парижа; продолжительная болезнь Робеспьера.

21 сентября — открытие Национального конвента.

22 сентября — установление Республики (с этого дня все декреты помечаются I годом Республики).

2 октября — декрет о создании Комитета общественной безопасности.

13 ноября — начало дебатов о судьбе короля.

1793, 21 января — казнь короля.

Апрель — Робеспьер активно выступает против жирондистов.

6 апреля — учреждение Комитета общественного спасения.

4 мая — первый максимум на зерно и муку. Болезнь Робеспьера.

31 мая — 2 июня — «революция 31 мая»: изгнание жирондистов из Конвента.

24 июня — голосование за Конституцию 1793 года. Робеспьер выступает против ультралевых и дехристианизации.

13 июля — убийство Марата.

27 июля — Робеспьер входит в состав Комитета общественного спасения.

4–5 сентября — народные волнения в Париже; требование «поставить террор в порядок дня».

17 сентября — закон о подозрительных.

22 сентября (7 вандемьера) — начало нового революционного летосчисления.

29 сентября (8 вандемьера) — закон о всеобщем максимуме. *Октябрь — ноябрь (вандемьер — брюмер)* — движение дехристианизации; дело Ост-Индской компании.

10 октября (19 вандемьера) — декрет о продлении полномочий революционного правительства; усиление централизации власти.

24–31 октября (3–10 брюмера) — процесс и казнь жирондистов.

Декабрь (фример) — начала выходить газета «Старый кордельер» Камилла Демулена.

1794, февраль — март (вантоз) — вантозские декреты. Продолжительная болезнь Робеспьера.

14 марта (24 вантоза) — арест эбертистов.

24 марта (4 жерминаля) — казнь Эбера и его сторонников.

31 марта — 5 апреля (11–16 жерминаля) — арест, процесс и казнь Дантона, Демулена и снисходительных.

7 мая (18 флореаля) — декрет о введении культа Верховного существа.

20 мая (1 прериаля) — неудавшееся покушение Адмира.

23 мая (4 прериаля) — предполагаемое покушение Сесиль Рено на Робеспьера.

8 июня (20 прериаля) — праздник Верховного существа.

10 июня (22 прериаля) — «закон 22 прериаля», устанавливавший смертную казнь по всем делам, подлежащим ведению революционного трибунала.

12 июня (24 прериаля) — последнее выступление Робеспьера в Конвенте перед заседанием 8 термидора (26 июля).

26 июля (8 термидора) — выступление Робеспьера перед депутатами с разъяснением своей политики.

27 июля (9 термидора) — термидорианский переворот.

28 июля (10 термидора) — казнь Робеспьера и двадцати двух его сторонников, включая его брата Огюстена.

1834, 1 августа — смерть Шарлотты Робеспьер.

ИЛЛЮСТРАЦИИ



Робертсон



Шарлотта Робеспьер. Портрет работы Ж. И. Изабей




Дом в Аррасе, где Робеспьер жил с 1787 по 1789 год

Amoy come
De Robespierre

Le six de may mil sept cent cinquante trois a été
rapporté par moy Louisignie Maximilien Marie Antoinette
si le même jour les deux heures du matin
en l'église mariage de m^{re} Maximilien Marie Antoinette
François de Robespierre avocat au conseil d'arsens
et de Elle Jacqueline Marguerite Corvaut le garçon
a été m^{re} Maximilien de Robespierre parce Grand du
côté paterneil avocant au conseil d'arsens et la
mariage Elle Marie Marguerite Corvaut femme de
Jacques François Corvaut mes Grand du côté matre
Lesquels ont signé

De Robespierre (De Robespierre) J. Langlois
Marie Marguerite Corvaut eue



Свидетельство о рождении Робеспьера



Огюстен Робеспьер

Арест коменданта Бастилии де Лонэ



Клятва в Зале для игры в мяч. Картина Ж. Л. Давида



Пьер Жозеф Мари Барнав Мирабо



Mirabo

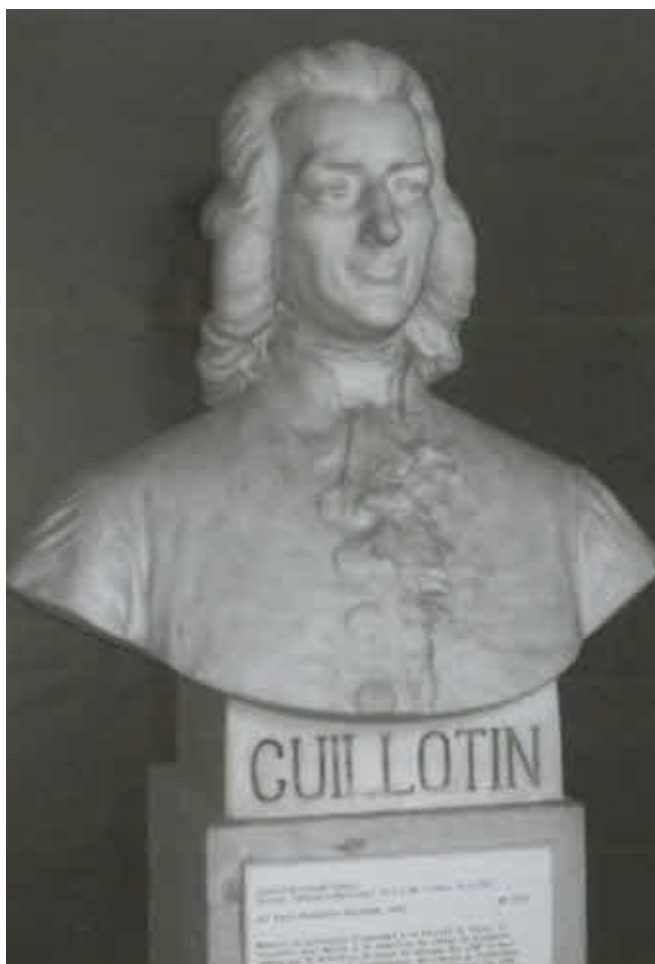


Маркиз де Лафайет



Робеспьер — депутат Генеральных штатов («Розовощекий» Робеспьер).

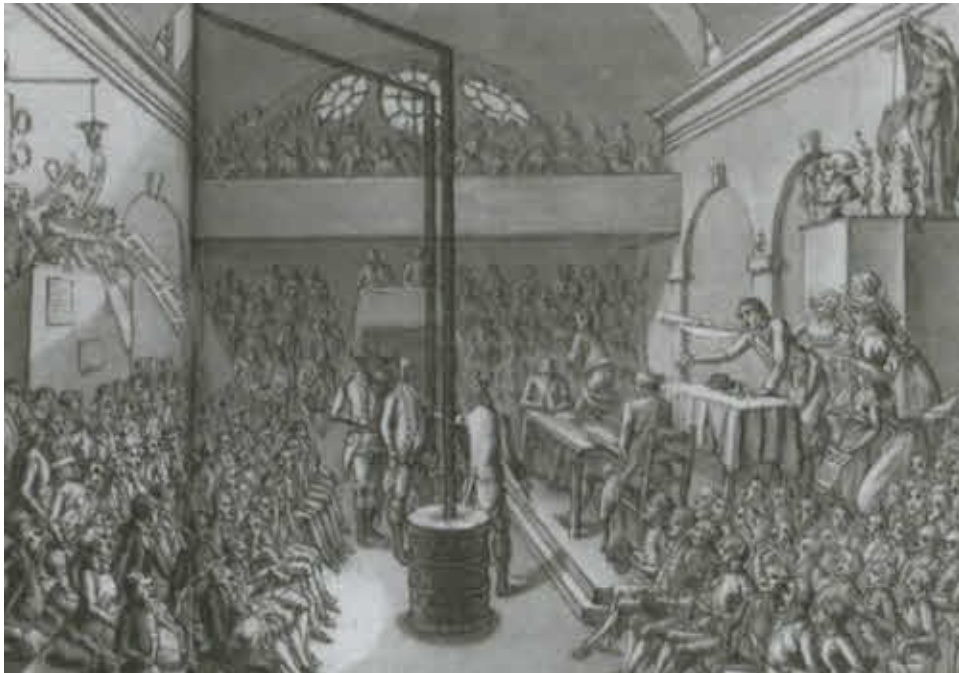
Портрет работы А. Лабиль-Жиар, выставленный в Салоне 1791 г.



Депутат Генеральных Штатов доктор Гильотен



Женщины Парижа отправляются в поход на Версаль



Карикатура на заседание Якобинского клуба

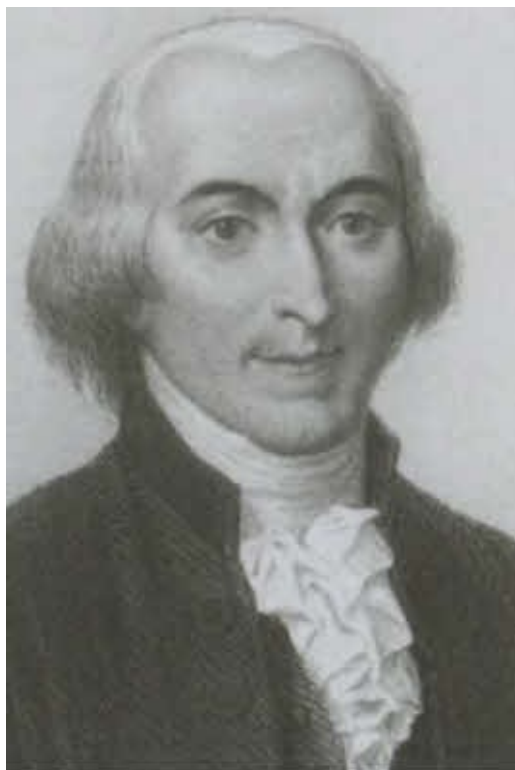


Единение санкюлотов и национальных гвардейцев. Лесюер



«Желтый и бледный» Робеспьер.

Портрет работы Ж. Боза, выставленный в Салоне 1791 г.



Ролан де ла Платьер



Мадам Ролан



Черновики ответа Петиону. Ноябрь 1792 г.



Жером Петион де Вильнёв



Жан Пьер Бриссо де Варвиль



Санкюлоты, поющие «Марсельезу». Лесюер



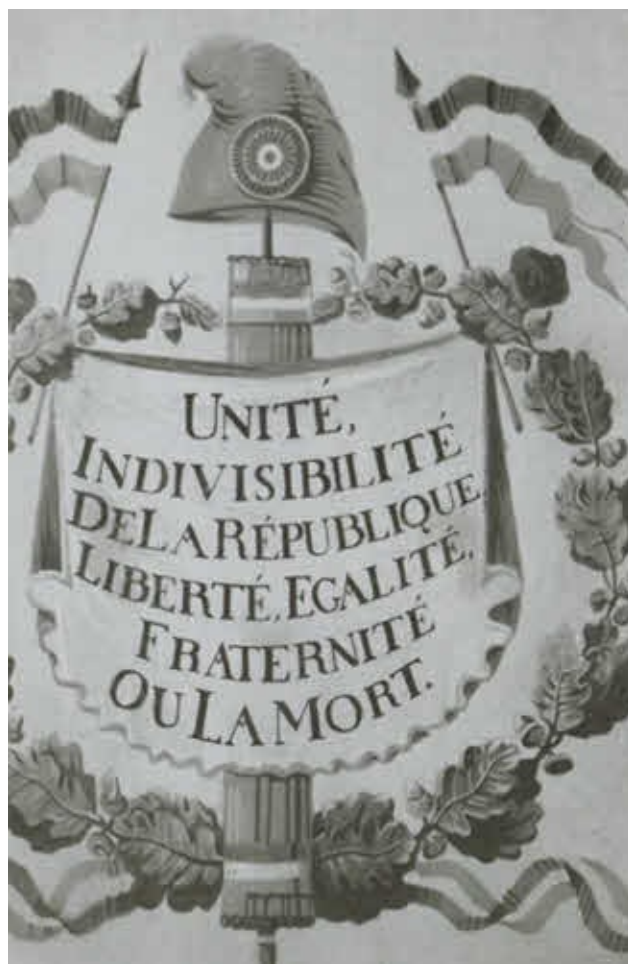
Штурм Тюильри 10 августа 1792 года



Сентябрьская резня 1792 года



Аллегория Республики. Картина Ж. А. Гро



Французская Республика единая и неделимая.

Свобода, равенство, братство или смерть



Луи Антуан де Сен-Жюст



Патриотический триумвират 1792 года:

Дантон, Марат, Робеспьер



Национальный конвент. Ф. Л. Сикар. 1920 г.



Максимилиан Мари Изидор Робеспьер.

Портрет работы Ж. Б. Верите. 1790 г.



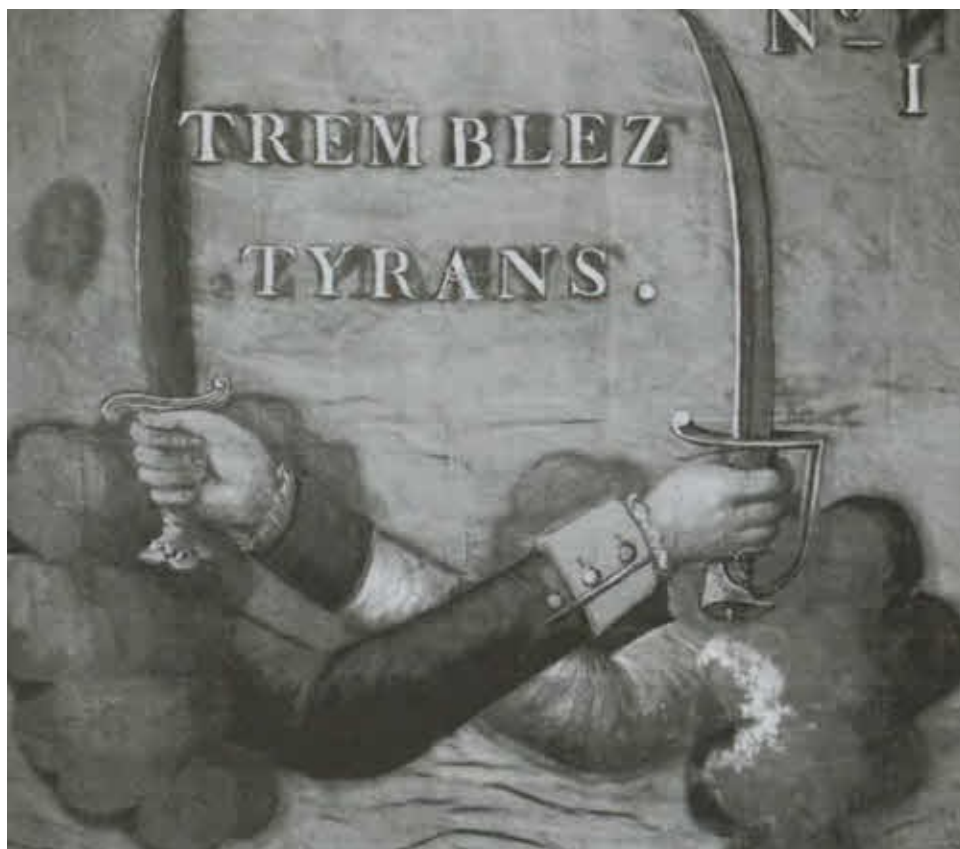
Очистительный котел якобинцев.

Французская карикатура



Дерево Свободы.

Английская карикатура



Знамя 93-го года: «Трепещите, тираны»



Санкюлот II года



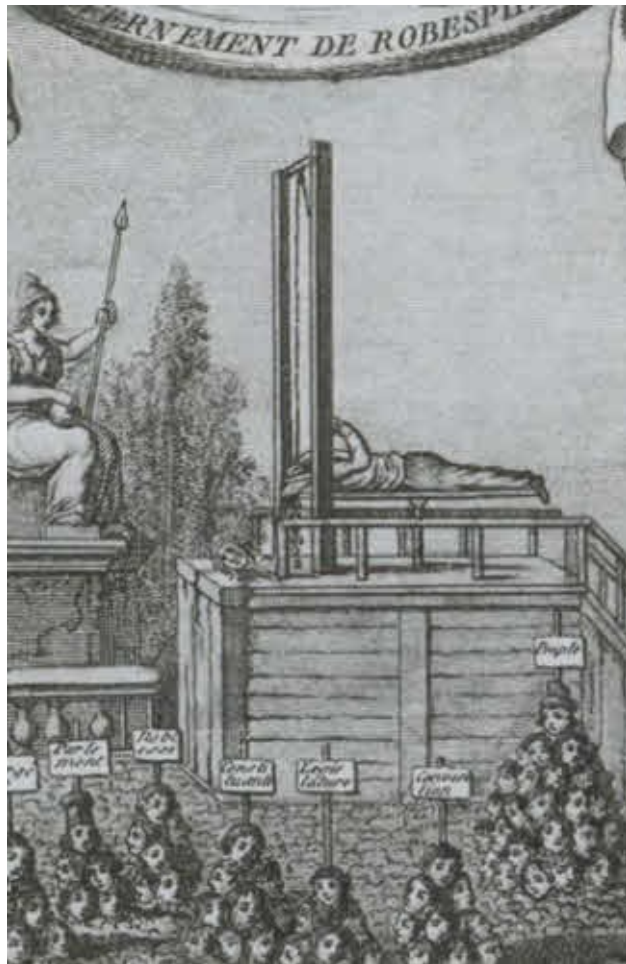
Сражение при Вальми. Сентябрь 1792 г.



Смерть Марата. Картина Ж. Л. Давида



Убийство Лепелетье де Сен-Фаржо



«Правление Робеспьера»: духовенство; парламент, дворяне; Конституанта, Законодательное собрание, Конвент, народ



Заседание Комитета общественной безопасности



Камилл Демулен



Жорж Кутон



«Вязальщицы Робеспьера»



Мастерские, где санкюлоты изготавливают оружие для революционной армии



Аллегория террора. В центре — Лебон, уроженец Арраса, депутат Конвента



Аллегория террора



Вандея. Столкновение «синих» и «белых»



Робеспьер, не найдя палача, сам исполняет его обязанности.

На пирамиде надпись: «Здесь покоится вся Франция»

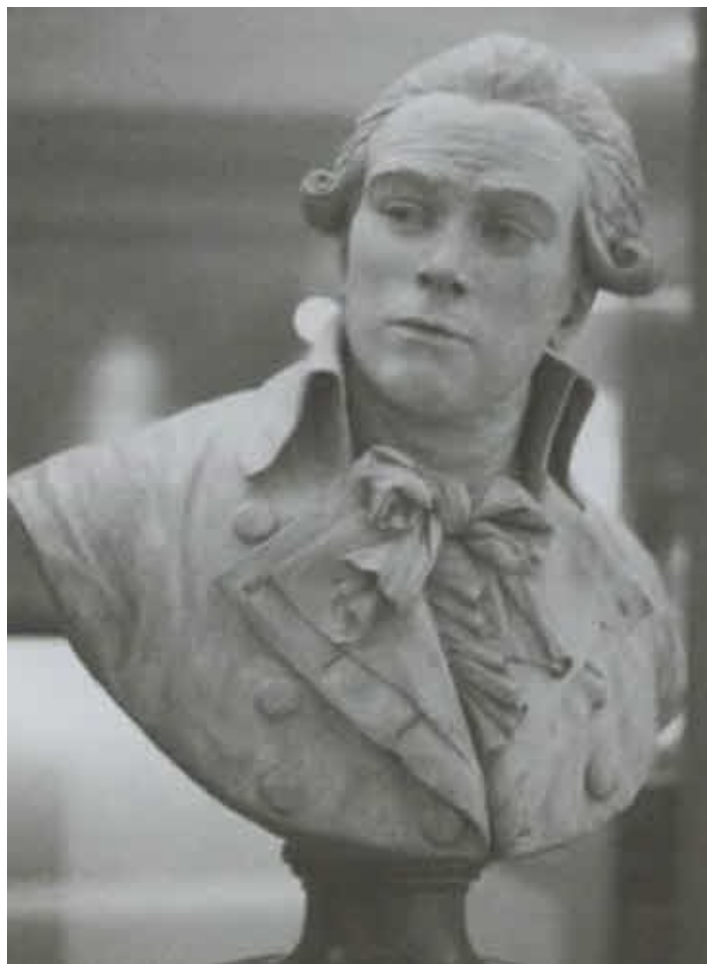


Жертвы гильотины



Арест Сесили Рено.

Гравюра Ж. Дюплесси-Берто



Робеспьер.

Терракотовый бюст работы Ш. А. Дезена



Казнь Людовика XVI



Робеспьер — член Конвента. 1793 г.



«Свобода или Смерть».

Картина Ж. Б. Реньо. 1795 г.



Арест Робеспьера 9 термидора 1794 года



Утро 10 термидора



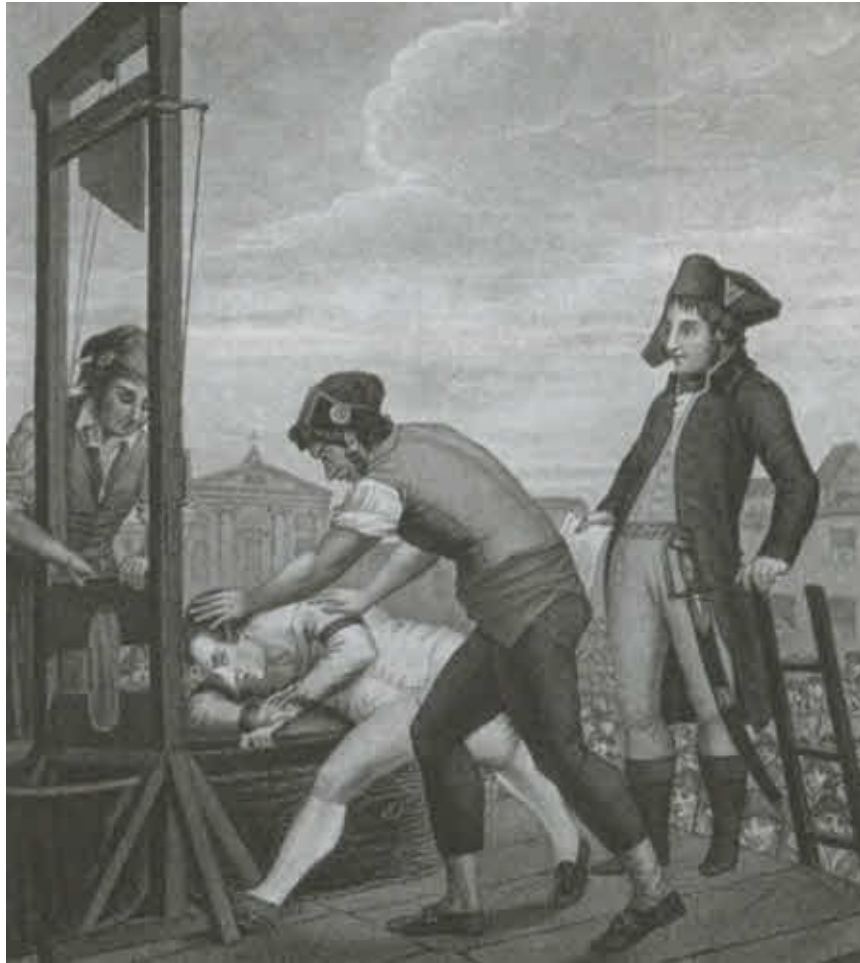
Робеспьера и его соратников везут на казнь



Умиравший Робеспьер. Скульптура К. Макса



Посмертная маска Робеспьера



Казнь Робеспьера 10 термидора II года. Гравюра 1799 г.

ЛИТЕРАТУРА

Блан Л. История Французской революции 1789 года/Пер. с фр. СПб.: Типография Суворина, 1908. Т. 1 — 11.

Генифе П. Политика революционного террора: 1789–1794 / Пер. с фр. А. В. Чудинова, Е. М. Мягковой, Д. Ю. Бовыкина. М.: УРСС, 2003.

Карлейль Т. Французская революция /Пер. с англ. Ю. В. Дубровина, Е. А. Мельниковой. М.: Мысль, 1991.

Левандовский А. П. Робеспьер. М.: Молодая гвардия, 1965.

Ленотр Ж. Повседневная жизнь Парижа во времена Великой революции /Пер. с фр. Н. А. Тэффи, Е. А. Лохвицкой. М.: Молодая гвардия, 2006.

Мерсье Л.-С. Картины Парижа. М.: Прогресс-Академия, 1995.

Молчанов Н. Н. Монтаньяры. М.: Молодая гвардия, 1989.

Ревуненков В. Г. История Французской революции. СПб., 2003.

Робеспьер М. Избранные произведения: В 3 т. М.: Наука, 1965.

Робеспьер М. Переписка /Пер. с фр. Л.: Прибой, 1925.

Робеспьер Ш. Воспоминания /Пер. с фр. М., 1925.

Руссо Ж.-Ж. Об общественном договоре /Пер. с фр. А. Д. Ха-ютина, В. С. Алексеева-Попова. М.: Канон-пресс, Кучково поле, 1998.

Руссо Ж.-Ж. Прогулки одинокого мечтателя //Руссо Ж.-Ж. Избранные сочинения: В 3 т. /Пер. с фр. Д. А. Горбова. М.: ГИХЛ, 1961. Т. 3.

Свобода. Равенство. Братство: Великая Французская революция /Пер. с фр. Л.: Детская литература, 1789.

Сен-Жюст Л. А. Речи. Трактаты/Пер. с фр. М. А. Бобович, О. С. Заботкиной, Э. Я. Купленной, Т. А. Черноверской. СПб.: Наука, 1995.

Токвиль А. Старый порядок и революция /Пер. с фр. Л. Н. Ефимова. СПб.: Алетейя, 2008.

Чудинов А. В. Французская революция: История и мифы. М.: Наука, 2007.

Шатобриан Ф. Р, де. Замогильные записки /Пер. с фр. О. Э. Гринберг, В. А. Мильчиной. М.: Изд-во имени Сабашниковых, 1995.

На французском языке

Adresse de Maximilien Robespierre aux Français. A Paris, 1791.

Artarit J. Robespierre. P.: CNRS éditions, 2009.

Aulard A. Histoire politique de la révolution française. P.: Armand Collin, 1921. T. 2.

Aulard A. Les grands orateurs de la révolution. Mirabeau-Vergniaud-Danton-Robespierre. Genève: Mégariotis Reprints, 1980.

Belissa M., Bosc Y. Robespierre. La fabrication d'un mythe. Ellipses, 2013.

Blanc O. Les hommes de Londres: histoire secrète de la terreur. P.: Albin Michel, 1989.

Brissot J.-P. Mémoires. P.: Picard, s. d. 3 vol.

Carnot H. Mémoires sur Carnot parson fils H. Carnot. P.: Pagnerre, 1861. T. 1.

Correspondance de Maximilien et Augustin Robespierre. P.: Librairie Nizet et Bastard, 1941. 2 vol.

Danton G. Discours civiques de Danton. P.: Eugene Fasquelle, 1920.

Danton R. La fin des Lumières. P.: Perrin, 1984.

Le Défenseur de la Constitution, par Maximilien Robespierre. S. 1, s. d.

Desmoulins Camille. Oeuvres. P.: Ebrard, libraire-éditeur, 1838. 2 vol.

Estree P. de. Le Père Duchesne. Hébert et la Commune de Paris. P.: Edition Moderne, s. d.

Galart de Montjoie. Histoire de la conjuration de Maximilien Robespierre. P.: Chez Maret, libraire, an IV-1796.

Goncourt E. et J., de. La société française pendant la révolution. P., 1880.

Gallo M. L'homme Robespierre. Histoire d'une solitude. P.: Perrin, 2008(1-ère éd. 1968).

Hamel E. Histoire de Robespierre: d'après des papiers de famille, les sources originales et des documents entièrement inédits. P.: Librairie international, 1865–1867. 3 vol.

Lacretelle P. L. Discours sur le préjugé des peines infamantes. P.: ChezCuchet, 1784.

La Tour du Pin marquise de. Journal d'une femme de cinquante ans. P.: Librairie Chapelot, 1914. T. I.

Le livre noir de la Révolution Française. P.: Editions du Cerf, 2008.

Lenotre G. Vieilles maisons, vieux papiers. P.: Texto, 2013.

Lenotre G. La Guillotine pendant la révolution. P.: Perrin, 1893.

Leuwers H. Robespierre. Fayard, 2014.

Louvet J.-B. Accusation contre Maximilien Robespierre. A Paris, de l'imprimerie nationale, 1792.

Mathiez A. Etudes Robespierriistes. La corruption parlementaire sous la terreur. P.: Armand Collin, 1917.

Mathiez A. Etudes Robespierriistes. La conspiration de l'étranger. P.:

Armand Collin, 1918.

Mémoires inédits de Petion et Mémoires de Buzot et de Barbaroux. P.: Plon, 1866.

Mémoires d'un detenu pour servir à l'histoire de la tyrannie de Robespierre. A Paris, Γαπ III de la Republique Française.

Mémoires de Sénart, secrétaire du Comité de sûreté générale, publiées par A. Dumesnil. P.: Baudouin frères, 1824.

Mémoires du marquis de Bouillé. P.: Firmin Didot, 1859.

Michelet J. Histoire de la révolution française. P.: Librairie international, 1869. T. 6.

Nodier Ch. Souvenirs, épisodes et portraits pour servir à l'histoire de la révolution et de l'empire. P.: A. Levasseur, 1831. T. 1.

Papiers de Chaumette. P.: Au Siège de la Société, 1908.

Papiers inédits trouvés chez Robespierre, Saint-Juste, Payan *etc.* / supprimés ou omis par COURTOIS, précédés du rapport de ce député à la Convention Nationale. P.: Baudouin frères éditeurs, 1828. 3 vol.

Paris J. A. La jeunesse de Robespierre et la convocation des Etats generaux en Artois. Arras: Rousseau-Leroy éditeur, 1870.

Pétion J. Observations de Jérôme Pétion sur la lettre de Maximilien Robespierre. A Paris, 1792.

Proyart L.-B. La vie de Maximilien Robespierre. Arras: ChezThery libraire, 1850.

Réponse a la justification de Maximilien Robespierre, adressée à Jérôme Pétion, par Olympe de Gouges. S. I, s. d.

Rivarol A. de. Au commencement de la révolution. Mémoires. P.: Editions du Trident, 1988.

Robespierre: Portraits croisés. P.: Armand Collin, 2013.

Robespierre M. Oeuvres. Avec une notice historique, des notes et des commentaires par A. Laponneraye. Paris: Chez l'éditeur, 1840. 3 vol.

Robespierre M. A la nation artésienne. S. 1., s. d.

Robespierre Ch. Mémoires, précédés d'une introduction par A. Laponneraye. P., 1935.

Schmidt J. Robespierre. Gallimard, 2011.

Solet B. Robespierre. Paris-Gembloux, Ed. Duculot, 1983.

Staël-Holstein de. Considérations sur les principaux événements de la révolution française. P.: Firmin-Didot, 1838.

Stefane-Pol. Autour de Robespierre. Le conventionnel Le Bas. P., Flammarion, [1901].

Vilate J. Causes secrètes de la révolution du 9 au 10 Thermidor. A Londres,

se vend chez de Boffe, s. d.

INFO

Морозова Е. В.

М 80 Робеспьер/ Елена Морозова. — М.: Молодая гвардия, 2016. — 255(1) с.: ил. — (Жизнь замечательных людей: сер. биогр.; вып. 1602).

ISBN 978-5-235-03918-6

УДК94(44)(092) "17"

ББК 63.3(4)52

знак информационной продукции 16+

Морозова Елена Вячеславовна
РОБЕСПЬЕР

Редактор *Е. В. Смирнова*
Художественный редактор *А. В. Никитин*
Технический редактор *М. П. Качурина*
Корректор *Г. В. Платова*

Сдано в набор 11.03.2016. Подписано в печать 07.06.2016.
Формат 84x108/32. Бумага офсетная № 1. Печать офсетная.
Гарнитура «Newton». Усл. печ. л. 13,44+1,68 вкл. Тираж 2500 экз.
Заказ № 1612090.

Издательство АО «Молодая гвардия». Адрес издательства:
127055, Москва, Сущевская ул., 21. Internet: <http://gvardiya.ru>. E-mail: dsel@gvardiya.ru

ARVATO BERTELSMANN

Отпечатано в полном соответствии с качеством предоставленного электронного оригинал-макета в ООО «Ярославский полиграфический комбинат» 150049, Ярославль,

ул. Свободы, 97

notes

Примечания

Жан Батист Луи Грессе (1709–1777) — поэт, драматург, один из основателей академии Амьена, к концу жизни ополчившийся на нравы света.

Луиза де Керальо (1757–1821) — литератор, феминистка; в августе 1789 года первой среди женщин стала издавать революционную газету.

3

Название общества является анаграммой названия провинции Артуа:
Rosati-Artois.

В этом доме Робеспьер прожил до своего отъезда в Версаль. Сегодня улица носит имя Робеспьера.

Согласно преданию, Жак Казотг накануне революции предсказал печальную участь королевской семьи и многих аристократических фамилий.

Фулон — королевский чиновник, которому приписывали фразу: «Если народу нечего есть, пусть жуёт траву»; *Бертъе* — его зять, королевский откупщик.

Олимпия де Гуж (1748–1793) — писательница и публицистка; автор Декларации прав женщины и гражданки, отвергнутой Национальным собранием.

Аристид (ок. 530–467 до н. э.) — афинский государственный деятель, занимавший позицию политика вне группировок. За все время своей политической активности сумел ни разу не вызвать недовольство демоса.

Жильбер Ромм (1750–1795) — философ-просветитель; якобинец, депутат Конвента, один из создателей республиканского календаря. До революции некоторое время жил в России в качестве гувернера молодого графа П. А. Строганова.

10

Легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем богачу войти в Царствие Небесное (Мф. 19:24; Лк. 18:25).

Перевод М. Гринберга.

Луи Блан в своей «Истории Французской революции» писал: «Что касается меня, если задать себе вопрос, кто более виновен, Дантон, который потворствовал убийствам, потому что их одобрял, или Робеспьер, который не препятствовал им, хотя он и скорбел о них, то я скажу не колеблясь, что виновнее Робеспьер».

Петион писал: «Можно связать дни 2, 3, 4 и 5 сентября с бессмертным днем 10 августа, равно как и можно сделать вывод, что они явились продолжением революции, свершившейся в тот день, первый день истории республики. Но я не могу решиться соединить славу и бесчестье и запятнать 10 августа бесчинствами 2 сентября».

В то время часть Бельгии входила в состав Священной Римской империи как Австрийские Нидерланды.

Для сравнения: при Старом порядке фунт хлеба стоил два су, после взятия Бастилии — три-четыре су за фунт, а ко времени описываемых событий — до восьми су за фунт.

Гай Марий (ок. 157—86 до н. э.) — древнеримский полководец и политический деятель. Глава народной партии, спровоцировавшей гражданскую войну со сторонниками Суллы. Считался самым могущественным человеком в Риме.

Изыскания историка О. Блана показали, что амбициозные устремления Эбера и ряда вожаков Коммуны щедро финансировались англичанами. Будущий термидорианец Камбон, ведавший в то время финансами Республики, говорил: «Когда я узнаю, что Питт получил пять миллионов на секретные расходы, я не удивлюсь, если он потратит их во Франции».

Слова А. И. Герцена.

Обращаясь к Бриссо и Гаде, упрекнувших его в демагогической лести народу, Робеспьер ответил: «Вы осмеливаетесь обвинять меня в намерении угождать народу и вводить его в заблуждение? Да как бы я мог это сделать? Я не льстец, не повелитель, не трибун, не защитник народа: я — сам народ».

Английский премьер-министр Уильям Питт Младший и командующий австрийскими войсками в Бельгии герцог Кобургский практически стали именами нарицательными, обозначавшими иностранных врагов Республики.

Когда химик Лавуазье, осужденный революционным трибуналом как бывший откупщик и притеснитель народа, попросил отсрочить исполнение приговора, чтобы закончить опыт, председатель трибунала ответил: «Республике не нужны ученые, правосудие должно свершиться».

Комиссары Конвента в Лионе постановили: «Так как богатство и бедность должны одинаково исчезнуть при господстве равенства, то запрещается производство хлеба из муки тонкого помола для богатых и хлеба с отрубями для бедных. Все булочники будут обязаны производить один и тот же сорт хорошего хлеба — «хлеба равенства». Парижская коммуна одобрила постановление и распространила его на всю страну. По воспоминаниям современников, «хлеб равенства» оставлял желать лучшего.